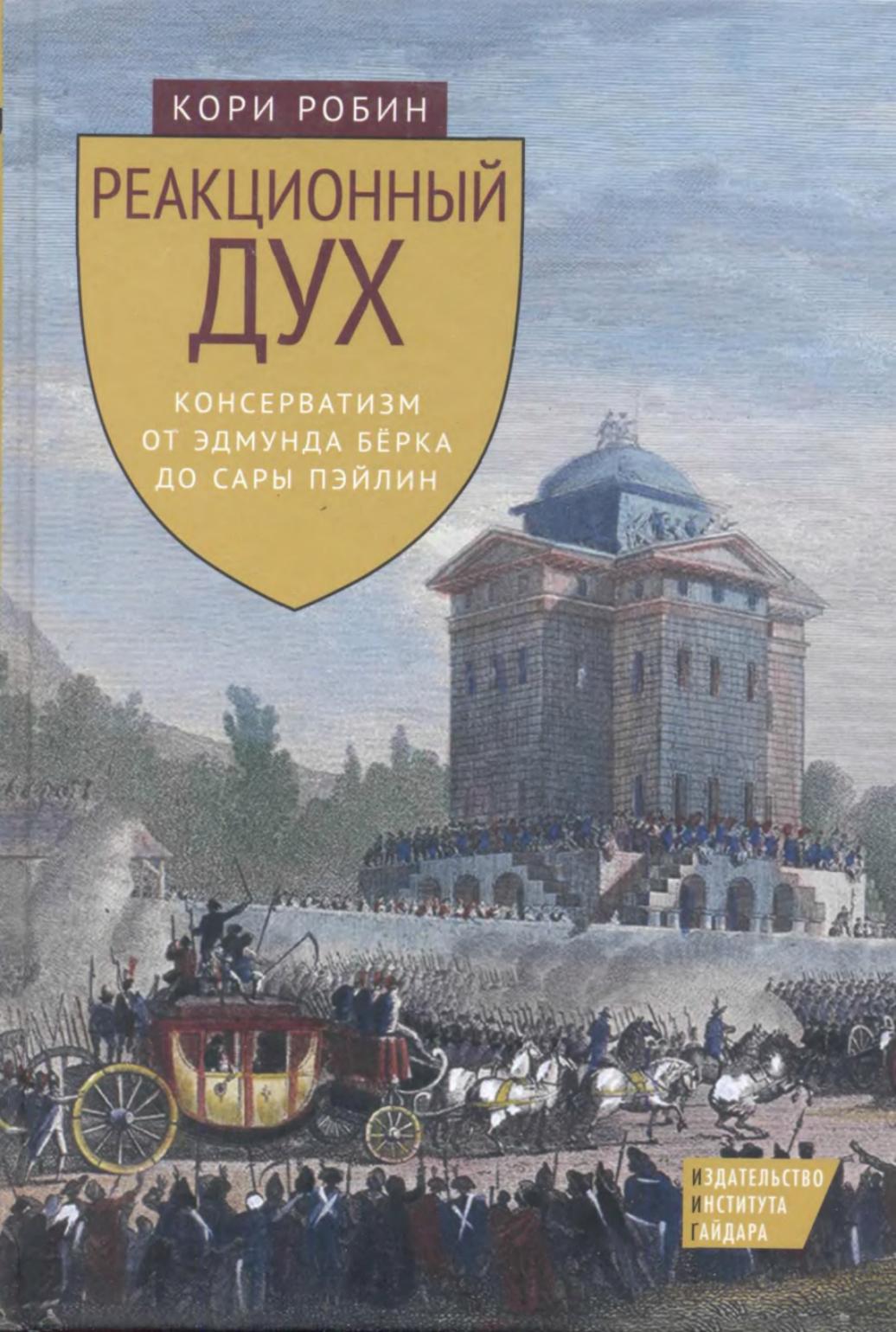


КОРИ РОБИН

РЕАКЦИОННЫЙ ДУХ

КОНСЕРВАТИЗМ
ОТ ЭДМУНДА БЁРКА
ДО САРЫ ПЭЙЛИН



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНСТИТУТА
ГАЙДАРА

РЕАКЦИОННЫЙ ДУХ

Corey Robin

The Reactionary Mind

Conservatism
from Edmund Burke
to Sarah Palin

OXFORD UNIVERSITY PRESS

2011

Кори Робин

Реакционный дух

Консерватизм
от Эдмунда Бёрка
до Сары Пэйлин

Перевод с английского
Михаила Рудакова

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНСТИТУТА ГАЙДАРА
МОСКВА · 2013

УДК 32.01
ББК 66.1
P58

Перевод с английского
Михаила Рудакова, Инны Кушнаревой (гл. 3)
и Константина Бандуровского (гл. 2)

Photo by Sasha Maslov for *The New York Times*

Робин, К.

P58 Реакционный дух. Консерватизм от Эдмунда Бёрка до Сары Пэйлин
[Текст] / пер. с англ. М. Рудакова, И. Кушнаревой, К. Бандуровского.
М.: Изд. Института Гайдара, 2013. — 312 с.

ISBN 978-5-93255-349-7

Что такое консерватизм сегодня? И какова его родословная? В своей новой книге политолог Кори Робин прослеживает истоки консерватизма в его реакции на Великую французскую революцию. Рассматривая таких разных мыслителей, как Эдмунд Бёрк и Антонин Скалиа, Джон Кэлхун и Айн Рэнд, Жозеф де Местр и Филис Шлафли, Робин утверждает, что, несмотря на все различия внутри правого движения, его объединяет общий «контрреволюционный опыт». Наблюдаемые различия между правыми во многом являются следствием тактического приспособления: правые всегда учились у левых. Отвергая все застойное, они предпочитали динамическое видение общества, предполагающее борьбу, насилие и войну. Эта способность к постоянному обновлению и страсти к насилию позволяют объяснить прочность позиций правых.

УДК 32.01
ББК 66.1

Copyright © 2011 by Oxford University Press Inc
© Издательство Института Гайдара, 2013

ISBN 978-5-93255-349-7

Содержание

А. Павлов. Кори Робин и американский консерватизм · 7

Предисловие к русскому изданию · 29

Благодарности · 32

Введение · 37

Часть I. Повествования о реакции · 83

Глава 1. Консерватизм и контрреволюция · 85

Глава 2. Первый контрреволюционер · 107

Глава 3. Мусор и авторитет · 123

Глава 4. Шиворот-навыворот · 145

Глава 5. Бывшие консерваторы · 158

Глава 6. Дитя позитивных действий · 180

Часть II. Добродетели насилия · 199

Глава 7. Геноцид с цветовым кодированием · 201

Глава 8. Память империй былого · 212

Глава 9. Этикет мачо · 239

Глава 10. Потомакская лихорадка · 258

Глава 11. Легко быть жестким · 276

Заключение · 307

Кори Робин и американский консерватизм

ПЕРЕВОД второй книги американского политического теоретика Кори Робина на русский язык — большое событие. Его первая работа «Страх: история политической идеи»¹ оказалась одной из самых интересных книг по политической философии, вышедших на русском языке в конце 2000-х. Новая книга Робина на этот раз посвящена консерватизму и имеет название «Реакционный дух: Консерватизм от Эдмунда Бёрка до Сары Пэйлин»². Само заглавие является «традиционным» для книг подобного рода и в некотором смысле отсылает нас к одному из первых текстов, посвященных новому американскому консерватизму, — «Консервативное мышление: От Бёрка до Элиота» Рассела Кирка³. Однако если работа Кирка была проконсервативной и основополагающей для этого политического движения, то Кори Робин пишет в антиконсервативном ключе. Подзаголовок же, как и у Кирка, абсолютно точно отражает содержание книги. С одной стороны, речь идет о политической философии и идеологии консерватизма, с другой — о конкретных политических вопросах, совершенно далеких от теории. Однако в отличие от кирковского названия у Кори Робина в подзаголовок закралась едкая ирония. Потому что если Бёрк сегодня считается одной из главных фигур в истории политической теории, то Сару Пейлин многие ее соотечественники не считают даже просто умным человеком.

Кори Робин выбрал, например, не Джона Маккейна, чтобы поместить его имя в подзаголовок книги. Это объясняется

1. См.: Робин К. *Страх: история политической идеи*. М.: Территория будущего, 2007.

2. См.: Robin C. *The Reactionary Mind. Conservatism from Edmund Burke to Sarah Palin*. Oxford: Oxford University Press, 2011.

3. См.: Kirk R. *The Conservative Mind: From Burke to Eliot*. Chicago: Regnery, 1986.

не только тем, что последний прежде всего не был истинным консерватором и по некоторым культурным и социальным вопросам — религия, аборт, исследование стволовых клеток и т. д. — являлся значительно либеральнее женщины, которую выбрал себе в напарники. Дело в том, как впоследствии выяснилось, что, несмотря на многие достоинства Пейлин, которая казалась ярким, уверенным в себе и даже агрессивным правым деятелем, она ничего не понимала в политике. Конечно, она была осведомлена в вопросах аборт и религии, но не России и Ирака и уж тем более экономического кризиса. Маккейну нужен был кто-то, кто бы переломил ход президентской кампании и позволил идти вровень с Обамой. Вот почему нашли Сару Пейлин. Однако ее выбрали практически наугад. На тщательную проверку времени не было, а решать нужно было быстро. Маккейн согласился рискнуть. В итоге Сара Пейлин явилась одной из главных причин краха сенатора Маккейна на президентских выборах 2008 года. Таким образом, имя Сары Пейлин в подзаголовке книги — как бы намек на то, что современный консерватизм является импульсивным, «недалеким» и вдобавок ко всему глупым.

В конце концов, Кори Робин, хотя и является академическим ученым, по политическим убеждениям — либерал. А потому даже «теоретическая» часть его книги окрашена некоторой неприязнью и иронией к правым. В определенном отношении та или иная идейная ангажированность обязательна для авторов, которые пишут на политические темы для широкой аудитории, потому что когда о консерваторах говорят сами консерваторы, это не может быть объективным по определению. Сам Кори Робин иногда нелестно отзывается об авторах, сочувствующих правым, например, называя Джорджа Нэша, написавшего серьезную книгу об американском консерватизме, «придворным историком»⁴. Вот почему книга Робина напоминает также работу британского «исследователя» Теда Хондерика, много сделавшего для «изобличения» идеологии консерватизма⁵.

Первая часть книги особенно актуальна в свете того, что за последние два года книжный рынок России оказался заваленным переводами текстов Айн Рэнд. Книг за ее авторством сейчас так много⁶, что создается ощущение настоящего куль-

4. См.: Nash G. *The Conservative Intellectual Movement in America since 1945*. Washington, Wilmington, DE: Intercollegiate Studies Institute, 1998.

5. См.: Honderich T. *Conservatism*. London: Pluto Press, 2005.

6. См.: Рэнд А. *Добродетель эгоизма*. М.: Альпина бизнес букс, 2011; Рэнд А.

та певца капитализма. Подобное отношение было характерно для западного читателя на протяжении XX века. На мой взгляд, глава о «политической философии» Айн Рэнд⁷ — лучшая в сборнике. Кори Робин не только указывает на место «мыслительницы» в истории политической философии, но и блестяще иронизирует по поводу популярности этого автора. Так что глава эта может стать прекрасным противоядием засилью той части либертарианской политической философии, что зовется «объективизмом». Здесь же следует упомянуть и книги Эдварда Люттвака, пачками появившиеся в магазинах России⁸. Чтобы понять этого автора лучше, опять же для начала необходимо прочитать главу из книги Кори Робина, посвященную Люттваку.

В целом, вся первая часть книги прекрасна и при чтении не вызывает никаких вопросов. Некоторая сложность, которая может возникнуть при чтении книги Кори Робина, связана с ее второй частью. Проблема Робина в том, что он пытается смотреть на консерватизм как на целостное явление, не просто даже объединяя консерваторов разных традиций, а рассуждая о правых вообще, не зависимо от национальных особенностей. Разумеется, Кори Робин находит общий знаменатель для всех правых мыслителей и движений в вопросе о *реакции* на что-то, почему книга и называется «Реакционный дух», но он является настолько общим, что в конце концов может показаться, что речь идет вообще о представителях любой идеологии.

Однако, без сомнения, первая часть книги будет интересна любому читателю, интересующемуся проблемами консерватизма как идеологии. Вторая же часть покажется любопыт-

Возвращение примитива. Антииндустриальная революция. М.: Альпина бизнес букс, 2011; Рэнд А. *Капитализм. Незнакомый идеал.* М.: Альпина бизнес букс, 2011; Рэнд А. *Романтический манифест. Философия литературы.* М.: Альпина бизнес букс, 2011; Рэнд А. *Искусство беллетристики.* М.: Альпина бизнес букс, 2011. Наконец, в очередной раз переиздали самый известный ее роман: Рэнд А. *Атлант расправил плечи.* М.: Альпина бизнес букс, 2011. Также только что была издана книга, посвященная философии Айн Рэнд. См.: Пейкофф Л. *Объективизм: философия Айн Рэнд.* М.: Альпина бизнес букс, 2012.

7. На русском языке этот текст был опубликован несколько лет назад. См.: Робин К. Мусор и авторитет // *Пушкин.* 2010. № 2.
8. См.: Люттвак Э. *Стратегии Византийской империи.* М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2011; Люттвак Э. *Государственный переворот.* М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2012; Люттвак Э. *Стратегия. Логика войны и мира.* М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2012.

ной скорее американистам или тем, кто глубоко интересуется американской политикой и современной историей, ведь речь там идет главным образом об американских правах. Вот почему, чтобы понять и оценить смысл второй части книги Кори Робина — и это же касается его предыдущей книги, — необходимо ввести русскоязычную аудиторию в контекст «американского консерватизма». Ведь то, что для американских читателей является само собой разумеющимся, отнюдь не является таковым для отечественной аудитории.

Американский консерватизм уже давно не представляет монолитного интеллектуального и политического движения. Собственно, он никогда таковым и не был. До недавнего времени интеллектуалы в США как правой, так и левой ориентации пребывали в иллюзии, будто, начиная с эпохи президента Рональда Рейгана, консерватизм в Америке сделался ведущим политическим трендом. Если не правые как таковые, так лидеры Республиканской партии, не редко считающейся оплотом консерватизма в Соединенных Штатах, занимали президентское кресло в Белом доме значительно чаще своих конкурентов из Демократической партии⁹. Пышным цветом расцвели различные периодические издания — как академические, так и политические. Наконец, некоторое время назад ключевые позиции в администрации президента США занимали так называемые неоконсерваторы — якобы сплоченная группа людей, исповедующая конкретные идеалы, прежде всего в области внешней политики, и стремящаяся к воплощению этих идеалов в жизнь.

Соответственно, внимание к консерватизму и его интеллектуальным истокам стало заметно повышаться в 2000-е: на суд публики были представлены фигуры, прежде вызывавшие интерес исключительно у академических исследователей, — Рассел Кирк, Эрик Фёгелин и Лео Штраус. О последнем до сих пор ведутся жаркие дискуссии, посвященные интригующему вопросу: стоял ли знаменитый политический философ во главе «неоконсервативного заговора», или это все-таки досужие домыслы некомпетентных журналистов¹⁰. Однако резкий взлет неоконсерватизма обнажил все существующие противоречия внутри американского консервативного движе-

9. Бьюкенен П. *На краю гибели*. М.: АСТ, 2007, с. 67–69.

10. О связи академического политического философа Лео Штрауса и неоконсерваторов см.: Павлов А. В. Прагматичные наследники политической философии Лео Штрауса // *История философии*. 2008. № 13; А также любопытные размышления у: Жижек С. *Ирак: история про чайник*. М.: Праксис, 2004, с. 198–218.

ния как такового. Обиженные популярностью неоконсерваторов их собратья по консервативному цеху стали критиковать более успешных товарищей, хотя до тех пор лишь оплакивали вневременную смерть консерватизма. Главным образом на этом поприще преуспели некоторые из традиционалистов, впоследствии выделившихся в сплоченную группу так называемых палеоконсерваторов¹¹, и религиозных правых.

Впрочем, кое-кто из ведущих традиционалистов почувствовал «консервативный момент» и выдал своим младшим братьям «мандат доверия». Несмотря на то, что после всего этого некоторые из правых, поначалу поддержавших неоконеров, разочаровались в своем решении и пожалели о своем выборе, сегодня можно утверждать совершенно точно: поддержка неоконсерваторов была единственным выходом сохранить видимое «единодушие» движения. В конце концов, процесс резкого взлета неоконеров и практически полного раскола правого лагеря начался лишь в самом начале 2000-х и с уходом Буша-младшего закончился.

С приходом в Белый дом Барака Обамы консерватизм в США сильно сдал позиции и, вероятнее всего, уже не оправится от столь сильного удара. Эпоха идиллии нуклеарной семьи, внешнего лоска американского пригорода, а также упивающегося свободой рынка — неотъемлемые черты рейгановских времен — подошла к своему концу. Вместе с тем некоторые утверждают, что консерватизм как таковой в США не умирает, но умер лишь тот консерватизм, который олицетворяла собой эпоха от Рейгана до Буша-младшего. Возможно, это и было бы верным, если бы не один очень примечательный факт. В США не было другого консерватизма.

Когда Рейган пришел к власти, ни один из правых — будь то сегодняшний христианский консерватор или грозный неокон — не посмел бы заявить, что это пиррова победа, и что он не собирается пожинать плоды, взошедшие из семян, посеянных правыми в 1950-е годы; плоды, полностью созревшие лишь в тот момент, когда Рональд Рейган занял президентское кресло. Консерватизм в США всегда оставался консервативной коалицией. Те же, кто в свое время предал идеалы правой идеологии, поднимают свой голос лишь сегодня, открестившись от всех негативных последствий рейгановского правления. А тогда, в далекие 50-е, когда консервативное движение в США только набирало обороты, все представи-

11. О палеоконсерватизме см.: Павлов А. В. Пол Готфрид — историк, ревизионист, палеокон // Готфрид П. *Странная смерть марксизма*. М.: ИРИСЭН, 2009, с. 221–240.

тели консервативных идей, зачастую несовместимых между собой, работали вместе, чтобы добиться определенных политических результатов.

В эпических обобщениях всех консерватизмов кроется одна из главных опасностей теории Кори Робина. Дело в том, что американский консерватизм, такой каким мы его знаем сегодня, родился не в конце XVIII столетия, как то было с европейским консерватизмом. Не восходит он своими корнями и в рейгановскую эпоху и даже в период некоторой популярности Барри Голдуотера, республиканца, пытавшегося стать президентом США в 1960-е годы. Известно, что современный американский консерватизм появился на свет в самом начале 1950-х годов. А так как до этого времени правая идеология в США уже существовала, стало обыкновением называть возникший консерватизм «новым». У его истоков стояло несколько примечательных личностей, которым консервативное движение обязано абсолютно всем — идеями, неутолимой творческой энергией, политическим задором.

Современный американский консерватизм — сложное явление. Сложное во многих отношениях, потому что по большому счету является очень и очень молодым движением, насчитывающим лишь шестьдесят лет существования. Главный импульс жизни современный американский консерватизм получил от книги, имевшей колоссальное влияние на культурный и интеллектуальный климат США второй половины XX столетия. Речь идет об упоминавшемся в самом начале «Консервативном мышлении» Рассела Кирка, выдержавшем более семи изданий¹². Ветераны интеллектуального консервативного движения в США до сих пор отдают честь этому эпохальному труду. Например, уже упоминавшийся Джордж Нэш в своей популярной книге «Консервативное интеллектуальное движение в Америке с 1945 года» пишет, что именно работа Кирка стала катализатором появления в США консервативного движения¹³. Вместе с тем не редко эта дань уважения Кирку остается лишь декларативной. Сегодня мало кто из «практикующих» правых опирается на его «традиционализм».

В начале 1980-х всемирно известный британский историк Эрик Хобсбаум и его коллеги выпустили книгу, в которую вошли материалы организованной ими конференции, посвященной «традиции». Хотя историки обсуждали

12. См.: Kirk R. Op. cit.

13. Nash G. *The Conservative Intellectual Movement in America since 1945*. Wilmington, DE: Intercollegiate Studies Institute, 1998, p. 61.

не обыкновенную традицию. О нетривиальности предмета говорит, собственно, название книги — «Изобретение традиции»¹⁴. Хобсбаум писал, что многие «„традиции“, которые кажутся старыми или претендуют на то, что они старые, часто оказываются совсем недавнего происхождения и нередко — изобретенными»¹⁵. Самое любопытное в том, что «традиционалистское» течение консервативной политической мысли в США — прекрасный пример именно такой традиции. Американский традиционализм, если использовать терминологию Хобсбаума, был основан именно на «изобретенной традиции».

Нельзя сказать, что до тех пор консерватизма в США не было вообще, но выше упомянутый традиционализм, появившийся после Второй мировой войны, действительно был новинкой. Авторы этой идеи хотели приспособить традиционалистский, беркианский консерватизм к общественно-политическому дискурсу США. Интеллектуалы, ассоциировавшие себя с этим течением в консервативной мысли, стали известны как «новые консерваторы», а самым видным представителем этих «новых» был Рассел Кирк. Хотя консерваторы и Кирк в особенности кичились своими «седидами», все же, как красиво заметил Хобсбаум, «новое не перестает быть новым из-за того, что ему удастся рядиться в одежды седой старины»¹⁶. Несмотря на то, что Кори Робин не часто обращается к Кирку, автор дает ему точную и емкую характеристику «самозванного беркианца, возжелавшего предаться консерватизму со страстью радикала»¹⁷.

Кирк совершил революционный перелом в консервативном мышлении американцев середины XX столетия. В противовес расхожему представлению о США как о продукте либерализма эпохи Просвещения, он заговорил о консервативных истоках американской культуры и американской политической традиции¹⁸. Что могло исполнять роль этих «истоков»? Идеалом правых перестали быть «большой бизнес» и буржуазное общество, о чем

14. Hobsbawm E. Introduction: Inventing Tradition // *The Invention of Tradition* / Hobsbawm E., Ranger T. (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 1983, p. 1-14.

15. *Ibid.*, p. 1.

16. *Ibid.*, p. 5.

17. Робин К. Наст. изд., с. 61.

18. Кизима М. П. Предисловие к публикации: Кирк Р. *Берки и политика*, основанная на праве давности // *Полит. воззр.* № 5.

постоянно и напоминает Кори Робин. Билл Бакли¹⁹ и Ирвинг Кристол, у которых Робин много раз брал интервью в начале 2000 года, то и дело жаловались на то, что тема «свободного рынка» не может быть главным пунктом повестки американского консерватизма и что они хотят чего-то еще. Это легко объясняется, если учесть, что еще в середине XX века идеалами американских консерваторов стали уважение к традиции и давним обычаям неписаного закона, а также прецедент, религия, общественные привычки и литература. Консерваторы стали требовать соответствия тому, что уже когда-то было, а такое требование «позволяет давать всякому желасмому изменению (или наоборот, сопротивлению новшествам) санкцию прецедента, социальной преемственности, естественного закона истории»²⁰.

Однако, подчеркнем, собственной консервативной политической традиции у США не существовало, и Кирку пришлось позаимствовать ее у британцев. «Консервативное мышление» состоит из портретов уважаемых им консерваторов, добрая половина которых происходила из Британии. Как пишет Хобсбаум: «Специфика „изобретенных“ традиций заключается в том, что их связь с историческим прошлым по большей части фиктивная. Говоря коротко, эти традиции представляют собой ответ на новую ситуацию в форме отсылки к ситуации старой»²¹. Примерно этим и занимался Рассел Кирк. Сегодня кажется само собой разумеющимся относить Джона Адамса, Дизраэли или Томаса Элиота к лагерю консерваторов. Более того, ни у кого не может закрасться и доли сомнения, что Бёрк является звездой первой величины в консервативной политической философии. Для американцев 1950-х годов эти вещи не были такими очевидными, и Кирк с большим мастерством и с еще большей любовью рисовал портреты этих консерваторов, чтобы изменить лицо американского консерватизма. Ему очень хотелось, чтобы интеллектуальная общественность восприняла данных мыслителей всерьез, и с помощью этих выдающихся людей Кирк стремился показать, что это такое — мыслить консервативно и что значит быть консерватором.

Кирк, как и многие другие консерваторы его эпохи, терпеть не мог идеологию. Он не устал подчеркивать, что

19. О нем см.: Павлов А. В. Уильям Фрэнк Бакли-младший и возникновение американского консерватизма // *Полис*. 2008. № 3.

20. Hobsbawn E. Op. cit., p. 2.

21. Ibid.

консерватизм — это не абстракция, столь любимая социалистами, и не идеология, обожаемая либералами. В большинстве своем консерваторы настаивают, что они руководствуются «мироощущением», а не «идеологией», что не мешает, подчеркивает Кори Робин, им любить насилие, войну и т. д., что берет начало еще у Бёрка. Так и Рассел Кирк поносил одну традицию, чтобы превознести другую. Когда он говорил о либерализме, то подразумевал прежде всего идеологию, коренящуюся в философских доктринах Просвещения, в учениях Бентама и Джона Стюарта Милля. Еще забавнее здесь то, что Кирк пытался доказать, будто государство, в принципе основанное на постулатах разума, на самом деле питалось идеями тех мыслителей, которых британский историк идей Исаяя Берлин окрестил «контрпросветителями». Если пойти в рассуждениях Кирка дальше, то консерватизм, с его точки зрения, представлял собой не что иное, как «отрицание идеологии»²². Искренне ненавидевший правую идею Тед Хондерик, о котором речь уже шла, чтобы доказать «реакционность» размышлений Кирка, с сарказмом цитирует следующий его пассаж, посвященный развенчанию идеологии: «Он проявляет большую проницательность, хоть и прибегает к несколько странному пониманию значения слов „невыносимый“ и „омерзительный“: „Человек, являющийся одновременно профессором и интеллектуалом, омерзителен. Если же он профессор, интеллектуал и идеолог в одном флаконе, то он просто невыносим“»²³.

Самое любопытное то, что эта кирковская «критика идеологии», которую, правда, можно обнаружить и у Майкла Оукшотта, и у других, позволила противникам новой правой в частности и вообще консервативной политической философии, таким как Хондерик, еще долго выставлять консерватизм в качестве объекта насмешек. Более поздним и проницательным консервативным авторам пришлось дорого заплатить за эту критику. В частности, на долю Роберта Нисбета²⁴ выпала участь реабилитировать в глазах общества и политически ангажированных интеллектуалов, недоуме-

22. Интересную книгу о проблеме идеологии и политической философии Рассела Кирка см.: McDonald W. W. *Russell Kirk and the Age of Ideology*. Columbia, MO: University of Missouri Press, 2004.

23. Цит. по: Honderich T. *Conservatism*. London: Pluto Press, 2005. На русском языке см.: Хондерик Т. Консерваторы и теория // *Неприкосновенный запас*. 2004. № 37.

24. О нем см.: Павлов А. В. У истоков американского консерватизма: Роберт Нисбет // *Политическая концептология*. № 4. 2011, с. 159–167.

вающих насчет кирковского поношения идеологии, и само понятие идеологии, и консерватизм в качестве этой идеологии. Хотя нужно отметить, что «идеологию» Кирк определял особенным образом. Он называл ее «совокупность фанатично исповедуемых априорно секулярных доктрин, цель которых — создание рая земного». Следовательно, политические идеи, сопутствующие идеям религиозным, идеологии уже как бы не являлись. Чтобы как-то оградить консерватизм от либерализма, понимаемого столь узко, Кирк наделил его эпитетом «мыслящий». Часто он называл консерватизм «политическими принципами», находящимися в оппозиции к идеологии, коей, несомненно, являлся либерализм.

Наряду с этим Кирк посеял семена, которые спустя многие годы дали хорошие всходы. Он обвинил правительство в том, что оно узурпировало прерогативы местных сообществ — пункт, стоящий на первом месте в программах многих консервативных групп. Опасаясь злоупотреблений властью центральным правительством, Кирк всегда отдавал предпочтение маленьким городам и сообществам, организованным на основе общих интересов. Эта и многие другие его «традиционные» идеи были взяты на вооружение и разработаны более поздними консерваторами. Этот пиетет перед «местечковостью» — типичная черта для всех консерваторов. Кори Робин называет это «демократическим феодализмом», в котором муж, городской глава или начальник играет роль господина²⁵.

Кирк не слишком-то был озабочен вопросами практической политики. Но вряд ли проект Кирка имел целью определять общественную политику того времени. Тогда, когда он писал, было необходимо сформулировать основные принципы движения и заложить для него крепкий интеллектуальный фундамент, и Кирк озаботился тем, чтобы дать определение консерватизму, «изобрести» этот самый фундамент, а также указать на преимущества консервативной политической философии для культурной и социальной жизни США. В начале своей карьеры Кирк «соблазнил» многих консервативных интеллектуалов. В частности, Уильям Фрэнк Бакли младший долгое время находился в рамках традиционалистского настроения консервативной мысли. С 1955 года журнал Бакли «National Review» декларировал необеркианские идеалы, а сам Рассел Кирк в течение долгого времени вел собственную колонку в этом издании.

25. Робин К. Наст. изд., с. 76.

Каждый внес свой вклад в создание монолитного движения; у каждого была своя область деятельности. В некотором смысле поддержку консерваторам в интеллектуальной и академической среде оказал немецкоязычный эмигрант, бежавший от нацистского режима, Эрик Фёгелин, ранние работы которого, написанные или переведенные на английский язык, также были использованы правыми с большим энтузиазмом. Правда, следует оговориться, что сам Фёгелин сторонился каких бы то ни было политических клише, не водил тесной дружбы с правыми и всегда позиционировал себя как политического теоретика, свободного от любого рода политических доктрин. Зато другой яркий представитель цеха академиков — социолог Роберт Нисбет — не придерживался типичного кредо всех социологов и большинства социальных ученых о ценностной нейтральности в науке — редкий случай для социолога той поры, а по большому счету для социолога вообще — и оказывал всяческую поддержку правым.

Однако главным радетелем за формирование здорового, зрелого и монолитного консерватизма в США стал интеллектуальный журналист Уильям Фрэнк Бакли-младший, сделавший для американских правых едва ли не больше, чем Рассел Кирк. Строго говоря, все заслуги в создании правого политического движения можно свести к заслугам Бакли и Кирка. Именно благодаря стараниям Бакли консервативное движение, до тех пор имеющее лишь интеллектуальный срез, смогло консолидироваться, чтобы стать движением политическим. Итогом чего и стало возможным, что Барри Голдуотер в 1964 году баллотировался в президенты, а Рональд Рейган двадцать лет спустя стал им. Когда Бакли начинал свой путь, правые уже существовали, но им, абсолютно непохожим друг на друга, необходимо было стать одним целым, а если говорить более точно, «интегрироваться».

Бакли приложил немало усилий, чтобы сторонники свободного рынка²⁶, только что возникшие традиционалисты, обратившие свой взор на политическую философию Эдмунда Бёрка, религиозные правые, впоследствии выродившиеся в «моральное большинство», и ненавистники коммуниз-

26. «Сторонников свободного рынка» тех времен не следует отождествлять с либертарианцами, которые тогда лишь начинали свою политическую и интеллектуальную карьеру. Новорожденным либертарианцам, ярким поклонникам Айн Рэнд, было трудно вступить в «консервативную коалицию», ведь ведущий журнал правых того периода, «National Review», редактируемый Биллом Бакли, сильно недолголюбил последнюю.

ма смогли долгое время оставаться под одной крышей. Хотя автором идеи «консервативного интегрализма» был не Билл Бакли, а один из его ближайших сподвижников по журналу «National Review» Фрэнк Мейер, именно Бакли сделал все возможное и невозможное, чтобы эта идея смогла реализоваться на практике. Создается впечатление, что все эти люди конкретных политических взглядов даже не считали друг друга правыми и, более того, думать не смели, что могут вступить в единый союз, пока Бакли в конце концов не указал им на «единство непохожих».

Вместе с тем консервативная коалиция оказалась лишь «временным» явлением, хотя, как совершенно справедливо написал один из американских публицистов, «то, что формировало американскую политику приблизительно в течение полувека, едва ли можно назвать „временным“». Очевидно, что по-другому и быть не могло. Содружество «антикоммунистов», традиционалистов, конституционалистов, религиозных правых и сторонников идеи свободного рынка могло быть жизнеспособным до тех пор, пока существовал их единый враг — Советский Союз, который удовлетворял всем требованиям того, чтобы вся компания могла ненавидеть, пусть и по разным причинам. Рональд Рейган — собственно, плод этой коалиции, предпринял массу усилий для борьбы с Советским Союзом. На этой борьбе, кстати, делает особый акцент Кори Робин, продолжая старый спор между правыми и левыми о фронтах холодной войны в Латинской Америке²⁷.

Религиозные фундаменталисты всегда находились в сложных отношениях с консерваторами-традиционалистами. Сегодня они совершенно непопулярны и находятся на самой обочине идейно-политической жизни США. Однако в свое время религиозные фундаменталисты играли серьезную роль в политической жизни Америки. Речь идет о 1980-х годах, когда претензии на то, чтобы стать «политическим мейнстримом», заявило «моральное большинство» религиозных правых. До середины 1970-х фундаменталисты — крайне консервативное протестантское течение, ведущее свою родословную еще с 1910-х — не стремились участвовать в политике. Однако, когда атмосфера духовной, культурной и политической жизни вдруг стала благоприятной для правых всевозможных мастей, фундаменталисты решили воспользоваться шансом и принять бой. Несмотря на то, что по некоторым программным вопросам они были близки неоконсерваторам — прежде

27. Робин К. Наст. изд., гл. 7.

всего их объединял антисоветизм и милитаризм, — с ними вступили в «сговор» и христианские правые, так как надеялись воспользоваться какой-либо выгодой от альянса. Правые политики оказывали религиозным консерваторам финансовую и организационную помощь, а те в свою очередь не скупились и публично благословляли все начинания своих союзников. Самым же видным и мощным течением фундаменталистов стало движение «моральное большинство», окончательно организационно оформившееся летом 1979 года и возглавленное проповедником Джерри Фолуэллом.

«Моральное большинство» — это яркий пример активности религиозных правых, оказавших серьезное влияние на внутреннюю политику США²⁸. В 1970-х они призывали бороться с «демоническими силами» в правительстве, но с избранием Рейгана стратегия религиозных правых изменилась, хотя риторика осталась прежней. Более они не могли критиковать правительство, потому что Белый дом возглавлял их союзник. Теперь лидеры «большинства» призывали христиан исправно платить налоги, молиться за тех, кто ими правил, а также вести активную пропаганду и отстаивать заповеди Бога и его законы в правительстве²⁹. Однако, как они сами заявляли, это не было «примитивным вмешательством в политику», а скорее «участием в духовной битве, в которой са-

28. Например, Джерри Фолуэлл по особому приглашению выступал на съезде Республиканской партии и принимал самое деятельное участие в предвыборной президентской кампании Рональда Рейгана. Впоследствии ближайший сподвижник проповедника Роберт Биллингс перешел на работу в аппарат Белого дома, став помощником Рейгана по связям с правохристианским движением. А Рейган, между прочим, выступал на одной из встреч «морального большинства» в качестве личного гостя Джерри Фолуэлла. Сам проповедник так отзывался о своем «союзнике», когда тот уже стал президентом США: «Я голосовал за него потому, что платформа, на которой он построил свою избирательную кампанию, очень близка той, которую разделяю я... я думаю, что мистер Рейган — это величайшее явление в нашей стране за всю мою жизнь». См.: Эльпорт М. С. «Моральное большинство»: пропаганда и деятельность // *Атеистические чтения*. 1985. № 14, с. 33.

29. Однако «моральное большинство» не было принято всеми консервативными традиционалистами. Так, Роберт Нисбет скорее был готов оказать поддержку неоконам, чем христианским правым, которых он окрестил «политическими теологами». См.: Nisbet R. *Conservatism: Dream and Reality*. Milton Keynes: Open University Press, 1986, p. 112.

тана сражается на политической арене»³⁰. Впоследствии они нашли «сатану» вне США и обратили свой взор на СССР, предложив безотлагательно приступить к плану рейгановской концепции военного превосходства над СССР, а также прекратить всякое технологическое, экономическое и научное сотрудничество с Советским Союзом³¹. Остается сказать, что борьба с «империей зла» была краеугольным камнем программы религиозных правых. Так один из правых экономистов Гэри Норт заявил, что «Сатана верит, что в основе господства лежит власть». «В наши дни наибольшая мирская власть сосредоточена в руках коммунистов». Поэтому правым ничего не остается, как бороться с сатаной, чтобы «разложившееся коммунистическое общество», эта «прогнившая развалина» отошла не гуманистической демократии или Исламу, а именно христианству³².

Однако сегодня приходится констатировать, что интегралистская повестка дня, одержав несколько блестящих политических побед, отжила свой срок. Это стало ясно уже в 1990-х годах, когда консервативное движение начало расползаться. Консервативный социолог Роберт Нисбет предсказывал крах «рейгановской коалиции» еще в середине 1980-х³³. В самом начале создания коалиции Бакли было трудно выбрать между религиозными фанатиками и либертарианцами-атеистами. Однако он сделал выбор, и, похоже, правильный. В 1950–1960-х годах он и его сподвижники сделали все, «чтобы дискредитировать Айн Рэнд и ведомое ею интеллектуальное течение, поскольку исповедуемый ими атеизм угрожал „интегрализму“, ведь религиозных правых на тот момент было гораздо больше, и они лишь набирали темп, что в конце концов и выразилось в возникновении движения „морального большинства“». Однако сегодня дело обстоит иначе, и христианским правым в конце 2000-х оставалось лишь произносить грозные филиппики в адрес отошедших от дел неоконков и постфактум критиковать якобы лишь внешне успешную деятельность Рональда Рейгана.

Тогда интегрализм отвращал от себя многих интеллектуалов, которые были способны влиться в консервативное движение. Сегодня дела обстоят так же. Очевидно, что члены

30. Эльпорт М. С. Указ. соч., с. 34.

31. Там же, с. 35–36.

32. Норт Г. *Марксова религия революции: возрождение через хаос*. Екатеринбург: Екатеринбург, 1994, с. 254, 252, 263.

33. Nisbet R. Op. cit., p. 110–113.

Либертарианской партии не хотят иметь ничего общего с такими строго религиозными консерваторами, как Митт Ромни — действующим членом Республиканской партии. Более того, христианских правых, как и традиционалистов, почти уже ушедших из реальной политики в сферу культуры, не устраивают и неокконы, которые ушли от заветов своего основателя Ирвинга Кристола сосредоточиться на решении внутривнутриполитических проблем Соединенных Штатов в пользу активной внешней политики, подразумевавшей распространение американских ценностей по всему миру. Но не могут ужиться под одной крышей не только рыночники и религиозные правые, но и палеокконы с «ястребами», а также либертарианцы с традиционалистами и т. д. Консерваторы в США расходятся по многим вопросам, и, кажется, единой основы им уже не найти. Единственной платформой, благодаря которой правые могли бы объединиться, может быть то, что Рассел Кирк описал в терминах «консервативного мышления», а Кори Робин как «реакционный дух».

Очевидно, что шестидесятилетняя традиция даже американского консерватизма слишком большая, чтобы о ней можно было написать вообще. Вот почему в книге Кори Робина встречаются пассажи, сделанные между делом, но которые требуют обстоятельного комментария. В частности, Робин называет Лео Штрауса, Карла Шмитта, Майкла Оукшотта и Фридриха фон Хайека «несгибаемыми правыми» вслед за Перри Андерсоном³⁴, а затем воспроизводит журналистский стереотип о Лео Штраусе, что странно, потому что такой серьезный исследователь должен был глубоко изучить этот вопрос: «Не случайно Пол Вулфовиц, наиболее мрачный из всех этих темных рыцарей пессимизма, был студентом Алана Блума [...]. Ведь Блум — как и многие другие влиятельные неоконсерваторы — был последователем Лео Штрауса, чьи спокойные оды классической добродетели и упорядоченной гармонии скрывали его ницшеанские видения мучительного конфликта и жестокой борьбы». Что касается преемственности, это так, но представления Робина о Штраусе не соответствуют действительности. Объясним почему. Большую часть жизни Алан Блум преподавал в Чикагском университете. Помимо Чикаго он был частым гостем в аудиториях Корнельского университета, университетов Тель-Авива и Торонто. Очевидно, за свою долгую преподавательскую карьеру он воспитал множество учеников, среди ко-

34. См.: Anderson P. *Spectrum: From Right to Left in the World of Ideas*. New York: Verso, 2005, p. 3–28.

торых значится и Пол Вулфовиц. Множество других способных учеников Блума занимали важные позиции в средствах массовой информации, правительстве и, конечно, научной среде. Однако преподавал Блум «неровно». В Корнельском университете он устраивал настоящие перформансы. Его лекции, на которых преподаватель освещал вопросы актуальной политики вместо заявленной темы, посещали где-то 400–500 человек, и после каждого выступления Блум срывал овации. В течение занятия, он замолкал в самый неожиданный момент, потом брал сигарету, опять говорил, вновь делал паузу, чтобы поджечь ее, и затем вновь начинал демонстрировать свое ораторское искусство.

Такие теплые воспоминания остались о Блуме у студентов, которые посещали его лекции в Корнельском университете. А вот в Чикаго все было совсем по-другому. Энн Нортона, учившаяся у учеников Лео Штрауса, а также у учеников учеников Лео Штрауса, воочию видела, как Блум преподавал в Чикаго. Она пишет, что в Чикаго не было ни овадий, ни больших залов. Были семинары, на которых обсуждались те или иные тексты. Нортон вспоминает, как на одном из курсов, посвященных политической философии Жан-Жака Руссо, Блум стал обсуждать одну из книг, не имеющих отношения к предмету занятий. Нортон долго ждала, когда же он все-таки начнет говорить о Руссо, но этого так и не произошло. В Чикаго семинары Блума студенты покидали один за другим. Даже на отделении политической науки студенты Чикагского университета хотели слушать о заявленных предметах, а не о том, что решит рассказать им профессор³⁵.

Учителя самого Блума еще в бытность того студентом неизменно отмечали присущие ему чувство юмора, некоторое презрение по отношению ко всему мелкому и пошлому, необычайную энергичность и огромный «литературный голлод» — качества, позволявшие ему без труда осваивать обширное наследие классических философов. И сегодня некоторые говорят, что Штраус делил людей на массы и элиту, что массы он презирал, а вот элиту — уважал, и поэтому писал для нее «между строк», обучая лжи и манипулированию массами³⁶.

35. См.: Norton A. *Leo Strauss and the Politics of American Empire*. New Haven and London: Yale University Press, 2004.

36. Так главным образом считает Шадиа Друри, исследовательница из Канады. См.: Drury S. *The Political Thought of Leo Strauss*. New York: Palgrave Macmillan, 2005. Такая точка зрения не могла взяться из ниоткуда. Сам Лео Штраус дал хороший повод рассуждать подобным образом благодаря своей публикации книги «Преследование и ис-

Вот почему он выбирал лучших из студентов, чтобы и те могли либо стать элитой, либо научить ее. Среди «этих лучших» учеников, обучившихся у Штрауса «правильно лгать», был и Алан Блум. Он с рвением и энтузиазмом исполнял все заветы мастера, часто превосходя в этих уроках «эзотерического письма» учителя. Однако именно Блум после смерти Штрауса в 1973 году написал о том, что по мере эволюции своих политических взглядов Штраус все больше и больше углублялся в «эзотерику», то есть рассказал правду о «культе штраусианства»³⁷. Вопрос о том, как бы отреагировал на это «почтение» сам Штраус, является интересным, хотя ответа на него мы не узнаем. Алан Блум гораздо сильнее повлиял на американскую политику, нежели его учитель Лео Штраус. Строго говоря, он был гораздо большим штраусианцем, чем сам Штраус, ведь во многом Блум изобрел «эзотерический» стиль интерпретации текстов, приписываемый Штраусу.

У истоков «штраусианства» — не в смысле последователей Штрауса в академии или тех ученых, которые принимали его метод анализа текстов или подход к политической философии, но тех, кто принял идеи «эзотеризма» и «элитизма» как руководство к действию, — стоял Алан Блум. Именно Блум воспитал огромное количество чиновников. Его почитателей и учеников можно найти в администрациях Рейгана и обоих Бушей. Сам Блум не только гордился своими связями с сильными мира сего, но и постоянно хвалился ими. Создается впечатление, что Блум так сильно заинтересовался «штраусианским Платоном» и «искусством письма» потому, что всю свою жизнь хотел проникнуть в элиту. Он сделал карьеру и стал преподавателем в двух не самых плохих университетах США, входящих в Лигу плюща. Однако все же это были не Йель и Гарвард.

А что же такое рассказывал Блум своим ученикам на лекциях, на которых он срывал овации? Среди его обличений релятивизма и нигилизма, Локка и Гоббса, студентов и пре-

кусство письма». См.: Strauss L. *Persecution and Writing of Art*. Chicago: University of Chicago Press, 1952.

37. Блум считает, что Лео Штраус начал применять особое «искусство письма» в начале 1940-х, когда опубликовал книгу о «Гиероне» Ксенофонта. Самыми же «эзотерическими» сочинениями Штрауса, с точки зрения Блума, являются его последние книги о Сократе. Подробнее см.: Bloom A. Leo Strauss // Bloom A. *Giants and Dwarfs: Essays 1960–1990*. New York: Simon and Schuster, 1990, p. 235–55. Об эзотерическом стиле письма см. также: Павлов А. В. Еще раз о тирании и искусстве письма // *Социологическое обозрение*. 2011. № 3.

подавателей, можно встретить и еще более опасную вещь — неполиткорректные рассуждения. В некрологе Блума, опубликованном в 1992 «National Review», было сказано: «Его обвиняли в элитизме, сексизме и даже расизме»³⁸. Эти обвинения на самом деле не были безосновательными. Лекции Блума полны зарисовок его фантастических желаний. Так, он мечтал о «мире без женщин». Хотя правильно было бы сказать о мире, где женщины остаются за пределами главного действия: занимаются домашней уборкой, готовят ужин, воспитывают детей. Феминистские призывы освободить женщину от домашнего рабства — призывы, стремящиеся устранить различия между мужчинами и женщинами во имя мнимого равенства, разрушают принципы, на которых строится семья. А ведь именно эта «нуклеарная семья», в которой женщина растит как минимум троих детей и занимается домом, а отец зарабатывает на хлеб, всегда была кирпичом американского общества. Ничего хорошего не сулит уравнение в других сферах жизни: социальное, имущественное, культурное. Преподаванием же, научными изысканиями и политикой должны заниматься лишь мужчины — мужчины, которые входят в закрытые клубы и имеют особые привилегии. Также Блум считал, что негры сами — именно негры, а не афроамериканцы — виноваты в том, что лишились своей свободы. Они отделяли себя от белого общества, а потому в политике сегрегации некого винить, за исключением самих же сегрегированных. А раз уж они настолько не ценили свободу, что стали рабами, почему белые должны были относиться к ним по-другому?

Самой читаемой книгой Алана Блума стала «Закртость американского сознания»³⁹, или «Духовный кризис в Америке», или «Интеллектуальный коллапс в Америке». Именно она сделала автора богатым и знаменитым. Сочинение было опубликовано в 1987 году и до сих пор остается интеллектуальным бестселлером. В своей книге Блум описал то, что происходило в то время в американских университетах, с его точки зрения. Возможно, именно по этой причине книга стала откровением для миллионов американцев. Как пишет Блум, американские университеты — это рассадники всепроникающего релятивизма, стирающего любые границы между добром и злом; это инфекция, которая заразила весь западный мир вирусом безграничной свободы и равнодушия. Аристо-

38. *National Review*. 1992. Vol. 44. November 2, p. 16.

39. См.: Bloom A. *The Closing of the American Mind*. New York: Simon & Schuster, 1988.

кратичность и снобизм, присущие престижным университетам вроде Гарварда и Принстона, лишь маскируют тяжелые хронические болезни в сфере американского образования. Блум утверждает, что именно подобный релятивизм породил радикальные политические установки, доминирующие тогда в университетской среде, причем не только среди учащихся, но и среди преподавателей, и левые движения, которые стремятся создать «нового человека свободы и равенства». Кроме того, реализация в США принципа свободы привела к тому, что научные технологии, вместо того чтобы служить обществу и природе, служат инструментом порабощения окружающей среды. Предпочтение комфорта в повседневной жизни в ущерб экологическому балансу говорит об утрате понимания людьми естественных ограничений не только в одной отдельно взятой области, но и во всех сферах жизни.

Книга Блума не только ставила вполне определенный диагноз интеллектуальных и нравственных болезней современного американского общества, но и предлагала способ исцеления, а именно чтение классических текстов, сочинений выдающихся исследователей человеческой души, жизни общества и государства. Своим студентам Блум советовал не бояться размышлять, проводить «философские опыты», ставить под сомнение очевидное и бороться за право быть настоящим хозяином своей жизни, свободным и ответственным. Философ настоятельно рекомендовал заниматься политической философией — дисциплиной, которая, с его точки зрения, не имеет ничего общего с абстрактными рассуждениями «на тему», а исследует фундаментальные вопросы жизни и смерти. Конечно, Блум был далек от наивной мысли о том, что чтение хороших классических текстов сможет кардинально изменить политическую и интеллектуальную жизнь в Америке. Но он серьезно полагал, что это поможет внести долю серьезности в процесс обучения, а значит, и вдохнуть смысл в жизнь людей. Хотя надежда эта и оставалась очень хрупкой. Алана Блума выслушали и прочли. Хотя даже то, что его прочли, остается под некоторым сомнением. Авторы книги «Правда о Лео Штраусе», написав о том, что философы и интеллектуалы вообще-то не очень обращали внимание на главное сочинение Блума, даже подтрунивали на этот счет, намекая на огромные и бесполовые тиражи книги: «Все ее читали (или, по крайней мере, у всех она была)»⁴⁰. Эта цитата — прекрасная иллюстрация для того,

40. Zuckert C., Zuckert M. *The Truth about Leo Strauss*. Chicago and London: University of Chicago Press, 2006, p. 232.

чтобы описать видимый успех, а не деле абсолютный провал политической философии консерватизма.

Одна из ключевых идей книги «Реакционный дух» состоит в том, что консерваторам нравится быть изгоями и неудачниками. Они любят переживать и оплакивать свои проигрыши. Любой проигрыш для правых — это победа и шанс продлить свое существование. Как пишет Кори Робин, правые «не понимают, что провал является неиссякаемым источником обновления консерваторов». Заканчивает он свою книгу сожалением об отсутствии сильных левых политических движений. Он заключает, что в настоящий момент американский консерватизм является дряблым и дряхлым, хотя и сильным политически, но интеллектуально отжившим. Кори Робин абсолютно прав. За тем лишь исключением, что американский консерватизм не силен даже политически. Но в этом и его сила.

*Александр Паалов,
к. ю. н., доцент философского
факультета НИУ ВШЭ*

Посвящается Лоре

Предисловие к русскому изданию

КОГДА осенью 2011 года моя книга появилась на прилавках книжных магазинов Америки, она сразу же вызвала острейшие споры. Причем не только в высоколобых изданиях, вроде *New York Review of Books* и *The New Republic*, но и в Интернете: в блогах университетских преподавателей, на политических форумах, среди ученых и журналистов, доктринеров и центристов. Споры были настолько острыми, что они даже получили освещение в *New York Times*.¹

Непонятно, отчего вдруг сборник статей вызвал столь жаркие дебаты, но мои критики чаще всего выдвигали следующие четыре возражения. Первое заключается в том, что, проводя различие между левыми и правыми, я прихожу к манихейскому разделению политического мира, в котором хорошие парни находятся на одной стороне (левые), а плохие — на другой (правые). Второе: я не принимаю правые идеи всерьез; вместо этого я свожу их к рационализациям власти и личного интереса, создавая тем самым лишь видимость объяснения. Третье: поскольку я сосредотачиваю внимание на элитарных аспектах правой мысли, я вынужден считать широкую поддержку правых разновидностью «ложного сознания». И, наконец, четвертое: я не замечаю расколов внутри самих правых, подавая разнородные течения в виде единого блока жестких убеждений.

Загвоздка в том, что я написал столь обширное введение к американскому изданию моей книги как раз затем, чтобы избежать подобного рода критики. Но поскольку это не сработало, похоже, правильно будет ответить на эти возражения здесь.

1. http://www.nytimes.com/2012/01/19/books/correy-robins-reactionary-mind-stirs-internet-debate.html?_r=0.

Хотя я действительно признаю существование разделения между левыми и правыми и прослеживаю, как оно сохранилось со времен Великой французской революции до наших дней, следует отметить, что большинство приводимых мной свидетельств в пользу этого разделения взято у самих правых. И речь идет не о каких-то крайне правых или правых радикалах, а о вполне уважаемых интеллектуалах, вроде американца Рассела Кирка, и умеренных политиках, вроде лорда Солсбери и Роберта Пиля, которые, в сущности, изобрели британскую консервативную партию. Но куда более важно, что, обвиняя меня в манихействе, мои критики упускали один важный момент в моих рассуждениях о различиях между левыми и правыми, а именно: что в своем противостоянии левым правые многое заимствовали и многому учились у левых. И это, как я показываю в первой главе, невозможно объяснить чисто стратегическими соображениями: зачастую правые даже не осознавали того, какое влияние оказывали на них левые. Вовсе не проводя простую прямую линию посередине политического спектра, я показываю, что существует синергия и взаимный обмен идеями между правыми и левыми. И, как я объясняю, заимствование у левых является одним из важнейших источников могущества правых.

Утверждение, что я не воспринимаю идеи правых всерьез, несколько озадачивает. Как ясно видно из введения, я выступаю против многих комментаторов — левых и правых, от Томаса Пейна до Лайонела Триллинга, — которые отказывались видеть силу идей правых. Говоря, что консервативные идеи реакционны, я ни в коей мере не умаляю силу или автономию этих идей; напротив, я пытаюсь восстановить политический контекст этих идей и показать, как они возникли и работали в генеральном сражении. И не упомянуть об этих политических баталиях и контекстах было бы насильем над консервативными идеями, ибо важным источником гордости правых, в отличие от левых, является то, что их идеи возникают из непосредственных социальных обстоятельств. Консерваторы говорят, что левые — утописты, ищущие вдохновение в отвлеченных рассуждениях и философии, тогда как правые крайне практичны и прочно стоят обеими ногами на земле. Для столь приземленной и практичной теории было бы странно не реагировать на политические баталии и текущие события.

Вовсе не умаляя и не отрицая популистские элементы у правых, я пытаюсь показать, насколько важны они для консервативной традиции. Я обнаруживаю эти популистские элементы уже в реакции Жозефа де Местра на Великую французскую революцию, и я показываю, насколько важными они были, например, для защиты рабства на Юге. Вовсе не считая правый популизм разновидностью «ложного сознания», я показываю, что простые люди немало выигрывали — материально и символически — от своей поддержки консервативных движений элит. В случае с рабством, бедные белые становились господами, надсмотрщиками, охотниками за рабами или просто белыми — и все позиции в обществе наделяли их значительной властью, статусом и потенциальным богатством. Некоторым из моих критиков, похоже, мешает их убеждение, что элитизм и популизм — это разные формы политики, никогда друг с другом не пересекающиеся. Но, как я показываю в своей книге, консерватизм первым открыл такую форму политики, в которой смешивались и элитизм, и популизм; благодаря популизму консерваторам удалось сделать привилегии доступными для многих.

Я действительно пытаюсь рассматривать все правые и консервативные убеждения как нечто единое. Вопреки распространенной среди современных исследователей и журналистов склонности подчеркивать различия между правыми — например, между культурными традиционалистами и либертарианцами; или между последователями Бёрка XIX века и неоконсерваторами XXI столетия, — я показываю, что все эти проявления находятся на одной стороне спектра и черпают свою силу из этого сосуществования. Разумеется, я прекрасно сознаю многообразие правых. Я лишь пытаюсь объяснить, как, несмотря на это многообразие, всем этим группам удается находиться на одной стороне спектра: что их объединяет, почему они сохраняются как коалиции с течением времени. И я обнаружил, что эти силы объединяет и удерживает вместе именно реакционный императив, независимо от того, идет ли речь о либертарианской, фашистской, религиозной или традиционалистской политике.

Но это не конец истории; как вы теперь увидите, это только начало.

Октябрь 2012

Благодарности

БОЛЬШАЯ часть этой книги уже была опубликована в различных периодических изданиях. Если бы не редакторы Алекс Стар, Пол Лэйти, Мэри-Кэй Уилмерс, Пол Мейерскоф, Адам Шац, Джон Палаттелла и Джексон Лирз, я бы никогда и не написал о правых. Принято считать, что ученые, публикующиеся в ненаучных изданиях, просто тиражируют свои научные исследования для массового потребителя, упрощая сложные идеи, которые изначально были разработаны в научных лабораториях. Для меня процесс написания данной книги оказался обратным: консерватизм заинтересовал меня как исследователя благодаря моим неакадемическим публикациям, а большинство моих идей о правых были сформулированы в беседе и переписке с упомянутыми выше редакторами, в особенности с Алексом и Джоном.

В интеллектуальном плане вдохновителями книги стали Арно Майер и Карен Оррен. Больше других исследователей в осмыслении «стойкости старого порядка» в Европе и Соединенных Штатах мне помогли Карен и Арно. Вопреки общепринятым взглядам левых и правых, согласно которым с наступлением Нового времени от Средневековья не осталось и следа, Карен и Арно открыли мне глаза на «задержавшийся феодализм» нашего постфеодального мира. Хотя они, несомненно, не согласятся с моей интерпретацией консерватизма, я не смог бы прийти к ней без опоры на огромный объем проделанной ими работы.

При написании и доработке этих статей меня поддерживал широкий круг читателей: историков и политологов, поэтов и эссеистов, теоретиков и философов, литературных критиков и социологов, журналистов и редакторов. Вот те, кого я хотел бы поблагодарить за вклад в работу над одним

или более эссе: Джек Абрахамян, Брюс Экерман, Джоэл Аллен, Гастон Алонсо, Джойс Эпплби, Мустафа Баюми, Сейла Бенхабиб, Маршалл Берман, Сара Берштель, Акил Билграми, Норман Бирнбаум, Стив Броннер, Дэн Брук, Себастиан Баджен, Джош Коэн, Питер Коул, Пэйсли Карра, Лиззи Донахью, Джей Дрискелл, Том Дамм, Джон Данн, Сэм Фарбер, Лайза Фезерстоун, Джейсон Франк, Стив Фрейзер, Джош Фримен, Пол Фраймер, Сэм Голдман, Ману Госвами, Алекс Гуревич, Пит Холуорд, Харри Харутюнян, Крис Хэйз, Даг Хенвуд, Дик Ховард, Дэвид Хьюз, Джуди Хьюз, Аллен Хантер, Джек Джейкобс, Айра Кацнельсон, Гордон Лэйфер, Джилл Лепор, Пенни Льюис, Джо Лоундес, Стивен Льюкс, Киско Маттесон, Кевин Мэттсон, Джон Медейрас, Кати Ньюмен, Молли Нолан, Энн Нортон, Джоли Олкотт, Кристиан Паренти, Ди Пейтон, Рик Перлстайн, Росс Печески, Ким Филипс-Фейн, Кейта Поллитт, Азиз Рана, Энди Рич, Эндрю Росс, Кристин Росс, Саскиья Сассен, Эллен Шрекер, Джордж Шьялабба, Ричард Сеймур, Нихил Сингх, Квентин Скиннер, Джим Слипел, Роджерс Смит, Катрина ванден Хейвель, Джон Уоллеч, Ив Уайнбаум, Кит Уиттингтон, Дэниель Уилкинсон, Уэсли Янг, Брайан Янг и Мэрилин Янг.

Значительная часть данного материала была представлена на семинарах в университетах по всей стране. Я признателен за комментарии и предложения, которые во всех этих случаях мне давали Араш Абизаде, Энтони Аппия, Бану Баргу, Сейла Бенхабиб, Акил Билграми, Элизабет Коэн, Джош Коэн, Джули Коэн, покойный Джек Диггинз, Мэтт Эванс, Нэнси Фрэйзер, Марк Грэйбер, Нан Кеохейн, Стив Маседо, Каруна Мантена, Эндрю Марч, Том Медвец, Эндрю Мерфи, Эндрю Норрис, Энн Нортон, Джошуа Обер, Филип Петтит, Энди Полски, Роберт Рейч, Остин Сарат, Питер Сингер, Роджерс Смит, Миранда Спилер, София Стемповска, Надя Урбинати и Лео Зайберт.

Я бы хотел поблагодарить следующие учреждения, которые предоставили на время моего исследования столь необходимый творческий отпуск: Американский совет научных обществ; Центр гуманитарных ценностей Принстонского университета; отдел проректора в Бруклинском колледже; Съезд научных сотрудников Университета города Нью-Йорка.

Выражаю особую благодарность моему «кухонному кабинету» первых читателей: Грегу Грэндину, Адине Хоффман,

Роберту Перкинсону и Скотту Солу; Марко Роту, придумавшему название книги; Чарльзу Питерсену, уникальному литературному редактору; моим студентам из Бруклинского колледжа и Центра последипломного обучения Университета города Нью-Йорка, работавшим со мной над текстами и томами о правах; Александре Долер и Марку Шнейдеру из Издательства Оксфордского университета; а также Дэвиду Макбрайду, моему редактору в этом издательстве, неизменному источнику прекрасных советов, верившему в этот проект с момента его замысла и направлявшему его с истине непринужденной грацией, мудростью и терпением.

Моя безмерная благодарность Лоре Брам, выслушивавшей эти идеи на стадии набросков и прочитавшей их вчерне. Эти статьи многим обязаны ее неусыпному вниманию и безукоризненному вкусу. Она всегда была тем единственным читателем, которому я хочу угодить.

Разве вы не знаете, что «Нет» — самое **безумное** слово, которое мы подарили языку?¹

Эмили Дикинсон

1. Эмили Дикинсон. *Стихотворения. Письма*. М.: Наука, 2007, с. 184.

Введение

Политическая партия может считать, что у нее уже есть история, даже когда она еще не пришла к полному пониманию и согласию относительно своих базовых принципов; она могла сформироваться после серии метаморфоз и этапов адаптации, в ходе которой одни вопросы устаревали, а новые — возникали. Что представляют собой ее базовые принципы, вероятно, можно определить лишь при внимательном рассмотрении ее образа действий на протяжении ее истории и посредством изучения того, что было сказано от ее имени ее самыми глубокими и философскими умами; и лишь точные знания истории и трезвый анализ помогут установить различие между постоянным и временным; между теми доктринами и принципами, которым партия должна всегда, при любых условиях, следовать либо притворяться в этом, и теми, что вызваны особыми обстоятельствами и лишь в свете подобных обстоятельств могут быть приняты и оправданы.

Т. С. Элиот. Литература политики.

С НАЧАЛОМ современной эпохи низы перешли в решительное наступление против верхов — в государстве, церкви, на рабочем месте и в прочих иерархических институтах. Они выступали под разными знаменами — рабочего движения, феминизма, аболиционизма, социализма — и с разными лозунгами: свободы, равенства, права, демократии, революции. И не было момента, когда бы верхи им не сопротивлялись, с применением силы и без, на основании закона и без оно, открыто и скрыто. Это наступление демократии и составляет историю современной политики или, по крайней мере, одну из ее историй.

Это книга о второй части этой истории, о выступлениях и политических идеях — называемых консервативными, реакционными, реваншистскими, контрреволюционными, — которые вырастают из нее и служат толчком к ее развитию.

Эти идеи, занимающие правое крыло политического спектра, выковывались в боях. Они всегда, по крайней мере с момента их возникновения в качестве формальных идеологий во время Французской революции, были боями между социальными группами, а не между странами — грубо говоря, между теми, у кого было больше власти, и теми, у кого ее было меньше. Чтобы понять эти идеи, нам необходимо понять и саму эту историю, а она и есть то, что представляет собой консерватизм — осмысление и теоретическое изложение пережитого опыта обладания властью, наблюдения за угрозами этой власти и попыток ее вернуть.

Несмотря на серьезные различия между ними, заводские рабочие похожи на секретарей в офисе, крестьян в поместье, рабов на плантации — даже жен в замужестве — в том, что они живут и трудятся в условиях неравной власти. Они подчиняются и повинуются, внимая требованиям своих менеджеров и владельцев, мужей и господ. За ними надзирают и их наказывают. Они много работают и мало получают. Свою судьбу они часто выбирают сами — рабочие заключают контракт с нанимателями, жены с мужьями, — но редко — ее последствия. Да и какой контракт, в принципе, может оговорить все подробности, ежедневные тяготы и постоянную несправедливость работы или брака? На протяжении всей американской истории контракт зачастую служил средством не предусмотренного заранее принуждения и притеснения, в особенности в таких институтах, как рабочее место и семья, где люди проводят большую часть жизни. Трудовые и брачные контракты всегда истолковывались судьями, склонными защищать интересы работодателей и мужей, в таком ключе, словно они уже содержали в себе всевозможные неписанные и непредусмотренные нормы рабства, с которыми жены и рабочие молчаливо соглашались, даже не зная о существовании оных или желая оговорить новые¹.

1. В конце XX века 98% прореспубликанского — и антипрофсоюзного — корпуса федеральных судей происходили «из самых верхов национальной классовой иерархии». William E. Forbath, *Law and the Shaping of the American Labor Movement* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1991), 33.

Например, до 1980 года в каждом американском штате муж мог законно изнасиловать свою жену². Законное основание этого восходит к трактату 1736 года, написанному английским юристом Мэттью Хэйлом. Когда женщина выходит замуж, утверждал Хэйл, подразумевается, что она готова полностью «подчиняться в этом [сексуальном] отношении своему мужу». Тем самым она давала свое молчаливое, пусть и неосознанное, согласие, «от которого она не может отказаться», на все время замужества. Однажды сказав «да», она уже не сможет сказать «нет». Еще в 1957 году — во время эпохи суда Уоррена³ — в любом стандартном юридическом труде можно было прочесть, что «мужчина не совершит изнасилования, вступив в половое сношение со своей законной супругой, даже если при этом он применит силу и будет действовать против ее воли». Если женщина или мужчина пытались вписать в брачный контракт требование получения прямого согласия для вступления в половой акт, судьи были обязаны игнорировать или отвергать подобную инициативу. Молчаливое согласие было структурной составляющей контракта, который ни одна из сторон не могла изменить. С альтернативой развода, не распространенного вплоть до второй половины XX века, брачный контракт обрекал женщин на роль сексуальной услуги своих мужей⁴. Сходная практика характеризовала и трудовые контракты: работники соглашались быть нанятыми работодателями, но до XX столетия это согласие истолковывалось судьями

-
2. Даже сегодня изнасилование в браке наказывается менее строго — и требует от истцов преодолевать больше препятствий, чем внебрачное изнасилование. По мнению одного исследователя, «освобождение от обвинений в супружеском изнасиловании широко распространено в большинстве штатов». Jill Elaine Hasday, «Contest and Consent: A Legal History of Marital Rape», *California Law Review* 88 (October 2000): 1375, 1490; Rebecca M. Ryan, «The Sex Right: A Legal History of the Marital Rape Exemption», *Law & Social Inquiry* 20 (Autumn 1995): 941–942, 992–995; Nancy F. Cott, *Public Vows: A History of Marriage and the Nation* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000), 211.
 3. Суд Уоррена — председательство Эрла Уоррена в Верховном суде США (1953–1969). — Прим. перев.
 4. Следует отметить, что до тех пор, пока изнасилование в браке не было наделено иммунитетом, сексуальное насилие считалось одним из немногих законных оснований для развода. Hasday, «Contest and Consent», 1397–1398, 1475–1484; Ryan, «Sex Right», 941; Cott, *Public Vows*, 195, 203.

в таком ключе, будто оно предполагало принятие неявных и не подлежащих отмене кабальных условий; между тем, вопреки мнению многих, опция «выхода», прекращения действия контракта, в большинстве случаев не предусматривалась⁵.

Однако время от времени в этом мире низы перестают довольствоваться своей участью. Они протестуют против условий своего существования, пишут письма и петиции, вступают в движения и выдвигают свои требования. Их цели могут быть минимальными и умеренными — улучшение техники безопасности при работе на заводских станках, прекращение изнасилований в браке, но, озвучивая их, они будили призрак более фундаментальных изменений во власти. Они переставали быть слугами или просителями и становились активной силой, говоря и действуя от своего собственного имени. Больше чем сами реформы, это заявление низов о своей самостоятельности — и появление настойчивого и требовательного голоса — раздражало верхи. Аграрная реформа 1952 года в Гватемале перераспределила полтора миллиона акров земли среди 100 000 крестьянских семей. Но, с точки зрения правящего класса страны, это было мелочью по сравнению с необузданным распространением разговоров о политике, вызванным этим законопроектом. Прогрессивные реформаторы, жаловался архиепископ Гватемалы, посылали местных крестьян, «наделенных даром слова», в столицу, где у них появлялась возможность «выступать публично». И это было главным злом Аграрной реформы⁶.

5. Karen Orren, *Belated Feudalism: Labor, the Law, and Liberal Development in the United States* (New York: Cambridge University Press, 1991); Robert J. Steinfeld, *Coercion, Contract, and Free Labor in the Nineteenth Century* (New York: Cambridge University Press, 2001); Forbath, *Shaping of the American Labor Movement*.

6. Greg Grandin, *The Last Colonial Massacre: Latin America in the Cold War* (Chicago: University of Chicago Press, 2004), 56–57. Стремительное распространение политических речей среди безвластных было также, согласно письму недовольного демократа либеральному сенатору Полу Дугласу в 1960-х, величайшим злом Великого общества: «Я чувствую, что мистер Джонсон несет большую ответственность за настоящее восстание и постоянное подталкивание негров к принятию мер, нацеленных на самоутверждение и реализацию их прав». Rick Perlstein, *Nixonland: The Rise of a President and the Fracturing of America* (New York: Scribner, 2008), 117.

В своем последнем значительном обращении к Сенату Джон К. Кэлхун, бывший вице-президент и главный идеолог американского Юга, назвал решение Конгресса в середине 1830-х принять петиции аболиционистов тем моментом, когда страна встала на необратимый путь конфронтации по вопросу о рабовладении. За его сорокалетнюю карьеру, в ходе которой ему удалось повидать немало всякого, став очевидцем таких ударов по рабовладению, как «гнусный тариф», нуллификационный кризис и Закон о применении силы, простой факт произнесения речи о рабовладении в столице страны стал для умирающего оратора знаком начала революции⁷. А когда полвека спустя последователи Кэлхуна попытались загнать джинна аболиционизма обратно в бутылку, своей мишенью они сделали все то же представление о способности темнокожих действовать самостоятельно. Объясняя распространенность конституционных конвентов в штатах Юга в 1890–1900-х, ограничивающих право голоса, делегат одного из таких конвентов заявил: «Основопологающим принципом нашего движения конвентов... было отстранение негров от политики этого Штата»⁸.

История рабочего движения в Америке полна сходных жалоб со стороны класса работодателей и их союзников из правительства: не то чтобы профсоюзные рабочие были опасными, необузданными или невыгодными; проблема была в том, что они становились независимыми и организованными. И их самоорганизация была настолько мощной, что, в глазах верхов, она угрожала сделать работодателя и государство совершенно ненужными. Во время Великой железнодорожной забастовки 1877 года железнодорожные рабочие в Сент-Луисе взяли на себя управление поездами. Опасаясь, что общественность решит, будто рабочие способны сами управлять железной дорогой, владельцы попытались остановить их — начав свою собственную забастовку, чтобы доказать, что именно владельцы и только они мо-

7. John C. Calhoun, «Speech on the Admission of California — and the General State of the Union» (March 4, 1850), in *Union and Liberty: The Political Philosophy of John C. Calhoun*, ed. Ross M. Lence (Indianapolis: Liberty Fund, 1992), 583–585.

8. Alexander Keyssar, *The Right to Vote: The Contested History of Democracy in the United States* (New York: Basic, 2000), 112.

гут заставить ходить поезда точно по расписанию. Во время всеобщей забастовки в Сиэтле 1919 года рабочие даже пошли на осуществление основных государственных услуг, включая обеспечение соблюдения закона и поддержание правопорядка. И это удавалось им настолько хорошо, что мэр пришел к заключению, что наибольшую угрозу представляла как раз эта способность рабочих своими силами не допускать проявления насилия и анархии.

Так называемая забастовка солидарности в Сиэтле была попыткой революции. И то, что она не сопровождалась проявлениями насилия, не изменяет самого факта... Да, действительно не было ни стрельбы, ни бомб, ни убийств. Но революция, я повторюсь, не нуждается в насилии. Всеобщая забастовка, как это показал Сиэтл, сама по себе есть оружие революции, тем более опасное из-за своего спокойного характера... Иными словами, она выводит правительство из игры. А в этом и заключается цель мятежа, и неважно какие использованы средства⁹.

В XX столетии судьи регулярно осуждали профсоюзных рабочих за то, что они формулировали свои собственные определения прав и составляли свои собственные перечни производственных условий. Такие рабочие, утверждал один федеральный судья, считали себя «представителями некоего высшего закона, чем тот... который отправлялся в судах». Они осуществляли «полномочия, принадлежавшие лишь правительству», заявлял Верховный суд, считая себя «самозванным органом» правосудия¹⁰.

Консерватизм представляет собой теоретическое обоснование неприятия самостоятельности низших классов. Он приводит самые последовательные и глубокие доводы относительно того, почему низшим классам нельзя позволять проявлять свою независимую волю, почему их нельзя допускать к самоуправлению или к управлению государством. Повиновение — их первейшая обязанность, а проявления воли и самостоятельности — прерогатива элиты.

9. Jeremy Brecher, *Strike!* (Cambridge, Mass.: South End Press, 1997), 34, 126.
См. также: Kim Phillips-Fein, *Invisible Hands: The Businessmen's Crusade against the New Deal* (New York: Norton, 2009), 87–114.

10. Forbath, *Shaping of the American Labor Movement*, 65.

Хотя часто говорят, что левые выступают за равенство, а правые — за свободу, подобное представление искажает действительные причины разногласий между правыми и левыми. История показывает, что консерваторы стремились обеспечить свободу для высших классов и ограничить ее для низших. Иными словами, консерваторы видят и не приемлют в равенстве не угрозу свободе, а ее расширение. Ведь в подобном расширении они усматривают ущемление своей собственной свободы. «Мы все согласны относительно своих свобод, — заявлял Сэмюель Джонсон, — но мы не согласны в отношении свобод других: ведь столько, сколько мы берем, другие должны терять. Полагаю, едва ли мы желаем, чтобы толпа могла свободно управлять нами»¹¹. Именно эту угрозу Эдмунд Бёрк видел во Французской революции: не просто экспроприацию собственности или вспышки насилия, но перевертывание обязанностей почтительного отношения и господства. «Уравнители, — утверждал он, — только искажают естественный порядок вещей».

Профессии парикмахера или фонарщика, как и многие другие, не могут ни для кого быть предметом почета. Государство никоим образом не должно угнетать этот класс людей; но если такие, как они, индивидуально или коллективно, начнут управлять государством, оно будет испытывать серьезные трудности¹².

Благодаря принадлежности к государству, признавал Бёрк, люди обладали многими правами — на плоды своего труда, их наследование, образование и т. д. Но единственным правом, которое он отказывался предоставлять всем, была «часть власти», которая, как они могли бы подумать, должна им принадлежать в «руководстве государственными делами»¹³.

Даже когда требования левых сместились в область экономики, угроза расширения свобод никуда не исчезла. Если

11. James Boswell, *Life of Johnson*, ed. R. W. Chapman and J. D. Fleeman (New York: Oxford University Press, 1998), 1017.

12. Edmund Burke, *Reflections on the Revolution in France*, ed. J. C. D. Clark (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2001), 205–206; Эдмунд Бёрк. *Размышления о революции во Франции*. М.: Рудомино, 1993, с. 113.

13. *Ibid*, 217–218; там же, с. 117.

предоставить женщинам и рабочим экономические ресурсы для независимого выбора, они могут перестать повиноваться своим мужьям и работодателям. Вот почему Лоуренс Мид, один из ведущих интеллектуальных оппонентов государства всеобщего благосостояния в 1980–1990-х заявлял, что получателя благ «в некоторых отношениях следует сделать *менее*, а не более свободным»¹⁴. Для консерватора равенство знаменует собой нечто большее, чем просто распределение ресурсов, возможностей и прибыли — хотя все это тоже определено ему не нравится¹⁵. Ведь в конце концов равенство означает ротацию тех, кто находится у власти.

И консерватор не ошибается, описывая так угрозу со стороны левых. Незадолго до смерти Дж. А. Коэн, один из наиболее выдающихся современных марксистских мыслителей, показал, что программу экономического распределения левых следует воспринимать по большей части не как стремление пожертвовать свободой ради равенства, а как попытку распространить свободу от немногих на многих¹⁶. И великие современные освободительные движения — от аболиционизма до феминизма и до борьбы за гражданские права и за права рабочих — всегда увязывали равенство со свободой. Начиная с семьи, завода, полей, где несвобода и неравенство — две стороны одной медали, они сделали свободу и равенство не сводимыми друг к другу, но тесно взаимосвязанными и усиливающими друг друга частями единого целого. Взаимосвязь между свободой и равенством все не сделала доводы в пользу перераспределения более убедительными для правых. Как сетовал один консервативный остряк по поводу взглядов Джона Дьюи на социал-демократию, «определения свободы и равенства настолько затасканы, что оба сводятся примерно к одному и тому

14. Цит. по: Daniel T. Rodgers, *Age of Fracture* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2011), 207.

15. Friedrich Hayek, *Law, Legislation and Liberty*, vol. 2, *The Mirage of Social Justice* (Chicago: University of Chicago Press, 1976), 84–85; Robert Nozick, *Anarchy, State, and Utopia* (New York: Basic Books, 1974), 235–238; Роберт Нозик. *Анархия, государство и утопия*. М.: ИРИСЭН, 2008, с. 294–297.

16. G. A. Cohen, *Self-Ownership, Freedom, and Equality* (New York: Cambridge University Press, 1995), 28–32, 53–59, 98–115, 236–238.

же»¹⁷. Вовсе не будучи каким-то новомодным фокусом, данный синтез свободы и равенства тем не менее представляет собой центральный постулат политики освобождения. Соответствует ли политика сути идеи — это, конечно, совсем другой вопрос. Но для консерватора проблему представляет не предательство идеи свободы, а ее осуществление.

Одна из причин, почему пробуждение низов так будоражит воображение консерватора, состоит в том, что оно происходит в привычной обстановке. Каждое великое политическое событие — падение Бастилии, взятие Зимнего дворца, марш на Вашингтон — начинается с частных требований: борьбы за права и положение в семье, на заводе, в поле. Политики и партии говорят о конституции и поправках, естественных правах и унаследованных привилегиях. Но реальным предметом их дискуссий является частная жизнь власти. «Вот, в чем причина противодействия равноправию женщин в государстве, — писала Элизабет Кейди Стэнтон. — Мужчины не готовы признавать его дома»¹⁸. За бунтом на улице или за дебатами в парламенте стоят горничная, перечашая хозяйке, рабочий, не слушающий босса. Вот почему наши политические рассуждения — не только о семье, но и о государстве всеобщего благосостояния, гражданских правах и многом другом — могут быть взрывоопасны: они затрагивают глубоко интимные властные взаимоотношения. Вот также почему нашим романистам так часто приходилось объяснять нам нашу политику. На пике борьбы за гражданские права Джеймс Болдуин приехал в Таллахасси, где, совершив воображаемое рукопожатие, он обнаружил свидетельство конституционного кризиса¹⁹.

17. Цит по: Friedrich A. Hayek, *The Constitution of Liberty* (Chicago: University of Chicago Press, 1960), 424; см. также: p. 16–19.

18. Elizabeth Cady Stanton, «Home Life», in *The Elizabeth Cady Stanton—Susan B. Anthony Reader*, ed. Ellen Carol DuBois (Boston: Northeastern University Press, 1981, 1992), 132. См. также: Cott, *Public Vows*, 67; Amy Dru Stanley, *From Bondage to Contract: Wage Labor, Marriage, and the Market in the Age of Slave Emancipation* (New York: Cambridge University Press, 1998), 177–178.

19. Иногда записки не прячут. «Четвертый пункт» платформы 1948 года Демократической партии прав штатов Строма Термонда — диксикратов — сплетает публичное и частное в единое зримое целое: «Мы выступаем

Я — единственный чернокожий пассажир в кутерьме Таллахасского аэропорта. Стоит гнетуще солнечный день. Ведущий на поводке собачку чернокожий шофер встречается со своей белой хозяйкой. Он внимателен к собаке, но осторожно наблюдает за мной, и почитителен, с поразительной бдительностью и выжидательностью, с хозяйкой. Она средних лет, сияющая и напудренная, довольная видеть обоих существ, делающих ее жизнь приятной. Уверен, с ней никогда не случалось, чтобы кто-то из них был с ней грубым или резко осуждал ее. Когда она приближается к шоферу, можно даже подумать, что она приветствует друга. Да ни один друг не сделал бы ее лицо счастливее. Если бы она мне так же улыбнулась, я был бы готов пожать ей руку. Но если бы я протянул руку, тотчас же паника, недоумение и страх овладели бы этим лицом, атмосфера бы омрачилась, и опасность, даже угроза смерти, немедленно повисла бы в воздухе.

От таких мимолетных сигналов и символов зависит вся южная каббалистика²⁰.

Конфликт вокруг американского рабства — угрожающий прецедент данному эпизоду воображения Болдуина — представляет поучительный наглядный пример. Одной из характерных черт рабства в Соединенных Штатах было то, что в отличие от рабов на Карибах и от крепостных в России, многие рабы на Юге жили в небольших имениях вместе со своими хозяевами. Хозяева знали рабов по именам, следили за их рождением, женитьбой и смертью; а также отмечали эти события. Личная взаимосвязь хозяина и раба была беспрецедентной, что заставило путешествующего Фредерика Лоу Олмстеда обратить внимание на «совместное про-

за сегрегацию рас и расовую чистоту каждой расы; конституционное право избирать своих представителей; сохранение частного найма без правительственного вмешательства, и любой законный заработок. Мы выступаем против отмены сегрегации, законоположений о смешанных браках, контроля над частным наймом со стороны федеральных бюрократов, призванных по так называемой программе о гражданских правах. Мы за автономию, местное самоуправление и минимум вмешательства в наши частные права». *The Rise of Conservatism in America, 1945–2000: A Brief History with Documents*, ed. Ronald Story and Bruce Laurie (Boston: Bedford/St. Martin's, 2008), 39.

²⁰ James Baldwin, «They Can't Turn Back», in *The Price of the Ticket: Collected Nonfiction, 1948–1985* (New York: St. Martin's Press, 1985), 215. Благодарю Джейсона Фрэнка, указавшего данное эссе.

живание и связь черных и белых» в Виргинии, «фамильярность и тесные отношения, которые были бы встречены с удивлением, если не с явным неудовольствием, практически в каждой компании на Севере»²¹. Только «взаимоотношения мужа и жены, родителя и ребенка, брата и сестры», писал апологет рабства Томас Дью, обеспечивали «более глубокую связь», чем отношения господина и раба; последние взаимоотношения, заявлял Уильям Харпер, другой поборник рабства, были «одними из самых тесных в обществе»²². После отмены рабства многие белые сетовали на охлаждение отношений между расами. «Я обожаю негров, — сказал один миссисипец в 1918 году, — но связь между нами не такая, как была между моим отцом и его рабами»²³.

Конечно, по большей части подобные разговоры были просто пропагандой и самообманом, но в одном отношении были точны: близость хозяина к рабу действительно создавала уникальный, персональный тип управления. Хозяева придумывали и навязывали «необычно детализированные» правила своим рабам, диктуя, когда им надо вставать, есть, работать, спать, общаться и молиться. Хозяева принимали решения о том, с кем рабам дружить и на ком жениться. Они давали имена их детям, а когда того требовал рынок, разделяли детей и родителей. И в то время, как хозяева — а также их сыновья и надсмотрщики — распоряжались телами рабынь по своему усмотрению, они считали должным пресекать любые сексуальные контакты между рабами и наказывать за них²⁴. Живя со своими рабами, они обладали прямыми средствами контроля их поведения и в точности представляли, что именно следует контролировать.

21. Peter Kolchin, *American Slavery 1619–1877* (New York: Hill and Wang, 1993, 2003), 100–102, 105, 111, 115, 117.

22. Thomas Roderick Dew, *Abolition of Negro Slavery*, and William Harper, *Memoir on Slavery*, in *The Ideology of Slavery: Proslavery Thought in the Antebellum South, 1830–1860*, ed. Drew Gilpin Faust (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1981), 65, 100.

23. Neil R. McMillen, *Dark Journey: Black Mississippians in the Age of Jim Crow* (Urbana: University of Illinois Press, 1989), 7.

24. Kolchin, *American Slavery*, 118–120, 123–124, 126; Ira Berlin, *Many Thousands Gone: The First Two Centuries of Slavery in North America* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998), 94–95, 112, 128–132, 149–150, 174–175, 188–189.

Последствия подобной близости проживания ощущались не только рабом, но и самим хозяином. Ежедневно пребывая в статусе рабовладельца, он начинал полностью отождествлять себя с этим статусом. И это отождествление было настолько полным, что любой признак неповиновения раба, не говоря уже о его освобождении, рассматривался как недопустимый плевок в лицо хозяина. Когда Кэлхун заявлял, что рабство «выросло вместе с нашим обществом и институтами и настолько переплелось с ними, что разрушить его — значило разрушить нас как народ», под обществом он подразумевал не просто какую-то совокупность людей или некую абстракцию²⁵. Он думал об отдельных людях, поглощенных ежедневным опытом управления другими людьми. Убери подобный опыт, и уничтожишь не только хозяина, но человека — и множество людей, стремившихся стать, или считавших, что они уже стали, хозяином.

Вследствие того что хозяин устанавливал предельно малую дистанцию между собой и своим хозяйством, своей властью над другими, он был готов на все, чтобы сохранить ее. Рабовладельцы по всей Америке защищали свои привилегии, но только рабовладельческий класс Юга отстаивал их с такой силой и страстью. За пределами Юга, как писал С. Вэнн Вудворд, конец рабовладения был воспринят как «утрата инвестиции». На Юге же это был «конец общества»²⁶. А когда после Гражданской войны класс рабовладельцев отчаянно боролся за восстановление своих привилегий и власти, то его представителей больше всего заботило возвращение непосредственной власти, которой они некогда обладали. Как сказал в 1871 году Генри МакНил Тернер, темнокожий республиканец из Джорджии: «Их не так уж беспокоит, допустит ли Конгресс негров в свои залы... но они не хотят, чтобы негры указывали им у них дома».

Сто лет спустя один темнокожий арендатор из Миссисипи все еще прибегал к совершенно домостроевской по духу идиоме при описании отношений между черными и белы-

25. Calhoun, «Speech on the Reception of Abolition Petitions» (February 6, 1837), in *Union and Liberty*, 473; см. также: Dew, «Abolition of Negro Slavery», 23–24, 27; Kolchin, *American Slavery*, 170, 181–182, 184, 189.

26. Цит. по: Kolchin, *American Slavery*, 198.

ми: «Мы должны помнить о них, как наши дети помнят о нас»²⁷.

Когда консерватор оценивает демократическое движение, вот что (помимо независимых действий тех, от кого он не ожидал никаких проявлений независимости) ему представляется: ужасный переворот в частной жизни власти. Во время избрания Томаса Джефферсона в 1800 году президентом Теодор Седжвик сокрушался: «Аристократия добродетели уничтожена; личному влиянию пришел конец»²⁸. Иногда консерватор и сам ведет такую жизнь, иногда — нет. В любом случае именно его предчувствие и боязнь утраты чего-то очень личного в результате общественных волнений придает его теории почти физическую осязаемость и видимость праведного гнева. «Настоящая цель» Французской революции, говорил Бёрк Парламенту в 1790 году, состоит в том, чтобы «разбить все связи, естественные и гражданские, управляющие и скрепляющие сообщество цепью иерархии; поднять солдат против их офицеров; слуг против их господ; торговцев против клиентов; ремесленников против их нанимателей; арендаторов против землевладельцев; викариев против епископов и детей против родителей»²⁹. Персональное нарушение иерархии и субординации быстро стало традиционной темой высказываний Бёрка о событиях, разворачивавшихся в революцию. Годом позже он пишет в письме, что по вине революции «ни один дом не защищен от прислуги, офицер — от своих солдат, а государство или конституция — от заговора и восстания»³⁰. В другой парламентской речи 1791 года он заявил, что «конституция, основанная на том, что называют правами человека» открыла ящик Пандоры для всего мира, включая Гаити: «Черные

27. Steven Hahn, *A Nation under Our Feet: Black Political Struggles in the Rural South from Slavery to the Great Migration* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003), 218; McMillen, *Dark Journey*, 125.

28. Patrick Allitt, *The Conservatives: Ideas & Personalities throughout American History* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2009), 19.

29. Edmund Burke, «Speech on the Army Estimates» (February 9, 1790), in *The Portable Edmund Burke*, ed. Isaac Kramnick (New York: Penguin, 1999), 413–414.

30. Edmund Burke, letter to Earl Fitzwilliam (1791), цит. по: Daniel L. O'Neill, *The Burke-Wollstonecraft Debate: Savagery, Civilization, and Democracy* (University Park: Pennsylvania State University Press, 2007), 211.

восстали против белых, белые — против черных, и все — друг против друга в убийственной вражде; иерархия была уничтожена»³¹. Ничто для якобинцев, заявлял он в конце жизни, не было достойно «имени общественной добродетели, если оно не требовало насилия над частной жизнью»³².

И такие образы низвержения частной жизни оказываются настолько сильными, что они способны превратить сторонника реформ в сторонника реакции. Получивший образование в эпоху Просвещения, Джон Адамс полагал, что «согласие народа» было «единственным нравственным основанием правительства»³³. Но когда его жена предположила, что смягченная версия этих принципов должна распространяться и на семью, он не пришел от этого в восторг. «Да, кстати, — писала ему Абигаиль, — в новом своде законов, который, как я считаю, ты обязательно должен написать, я желаю, чтобы ты вспомнил о женщинах и был более великодушен и благосклонен к ним, чем твои предки. Не отдавай такую неограниченную власть в руки мужей. Помни, все мужчины были бы тиранами, если бы могли»³⁴. Ответ ее мужа:

Нам говорили, что наша борьба повсюду ослабила узы правления; что дети и подмастерья стали непослушными; что школы и колледжи пришли в волнение; что индейцы вырезали свою стражу, а негры стали дерзить хозяевам. Но твое письмо было первым указанием того, что и другое племя, более многочисленное и сильное, чем все остальные, полно недовольства.

Хотя он и смягчил свой ответ добродушным подтруниванием, он молился о том, чтобы Джордж Вашингтон защитил его от «диктата юбки»³⁵, а Адамс вне всяких сомнений был напуган этим пришествием демократии в частную сфе-

31. Цит. по: Conor Cruise O'Brien, *The Great Melody: A Thematic Biography of Edmund Burke* (Chicago: University of Chicago Press, 1992), 418–419.

32. Edmund Burke, *Letters on a Regicidal Peace* (Indianapolis: Liberty Fund, 1999), 127.

33. John Adams, letter to James Sullivan (May 26, 1776), in *The Works of John Adams*, vol. 9, ed. Charles Francis Adams (Boston: Little Brown, 1854), 375.

34. Abigail Adams, letter to John Adams (March 31, 1776), in *The Letters of John and Abigail Adams* (New York: Penguin, 2004), 148–149.

35. John Adams, letter to Abigail Adams (April 14, 1776), in *Letters*, 154.

ру. В письме Джемсу Салливану он выражал беспокойство по поводу того, что революция «смешает и уничтожит все различия», распространяя в обществе настолько сильный дух неповиновения, что весь порядок в нем будет нарушен. «И конца этому не будет»³⁶. Неважно, насколько демократичным было то или иное государство, общество все равно должно было оставаться объединением частных владений, в которых мужья правили женами, мастера управляли подмастерьями, и каждый «должен был знать свое место и стремиться его сохранить»³⁷.

Традиционно консерваторы старались предотвратить наступление демократии как в общественной, так и частной сфере, исходя из того, что успехи ее на одном направлении неизбежно повлекут за собой продвижение вперед на другом. «Чтобы оградить государство от рук народа, — писал французский монархист Луи де Бональд, — необходимо оградить семью от рук женщин и детей»³⁸. Даже в Соединенных Штатах это усилие периодически приносило свои плоды. Несмотря на наш виговский нарратив постепенного возвышения демократии, историк Александр Кейссар продемонстрировал, что борьба за расширение избирательного права в Соединенных Штатах была не только историей прогресса и расширения, но и историей ограничений и сдерживания, «с классовыми противоречиями и предубеждениями» со стороны политических и экономических элит, составлявших «единственное важнейшее препятствие на пути всеобщего избирательного права... с конца XVIII века по 1960-е»³⁹.

Тем не менее более основательной и пророческой позицией у правых оказалась позиция Адамса: уступите общественную сферу, если вы вынуждены это сделать, но сохраните сферу частной жизни. Позвольте всем стать демократически критиками государства; но убедитесь, что они остаются

36. John Adams, letter to James Sullivan (May 26, 1776), in *Works*, 378.

37. John Adams, *A Defense of the Constitutions of Government of the United States of America*, and *Discourses on Davila*, in *The Political Writings of John Adams*, ed. George A. Peck Jr. (Indianapolis: Hackett, [1954] 2003), 148–149, 190.

38. Цит. по: Susan Moller Okin, *Justice, Gender, and the Family* (New York: Basic Books, 1989), 18.

39. Keyssar, *Right to Vote*, xxi.

феодальными подданными в семье, на заводе, в поле. Приоритет консервативной позиции состоит в поддержании частных режимов власти — пусть и ценой силы и целостности государства. Подобная политическая арифметика прослеживается в постановлении Федералистского суда в Массачусетсе о том, что лоялистка, бежавшая от революции, была адьютантом у своего мужа и таким образом не может быть ответственной за бегство, так что государство не должно конфисковывать ее имущество; в отказе рабовладельцев Юга отдавать своих рабов в армию конфедератов; и в совсем недавнем требовании Верховного Суда — о том, что женщин нельзя по закону обязать заседать в коллегии присяжных, поскольку они «все еще считаются центром домашней и семейной жизни» со своими «специфическими обязанностями»⁴⁰.

В этом случае консерватизм не означает приверженность ограниченному правлению и свободе или недоверие к изменениям, веру в эволюционные реформы или политику «добродетели». Они могут быть побочными продуктами консерватизма, одной или несколькими исторически специфическими и изменчивыми формами его выражения. Но они не являются его вдохновляющей целью. Не является консерватизм и временной коалицией капиталистов, христиан и вояк, поскольку подобное объединение стимулируется более стихийной силой — противостоянием освобождению людей от оков, в которые их заковали те, кто стоят над ними, в особенности в частной сфере. Может показаться, что подобный взгляд удивительно далек от либертарианской защиты свободного рынка, с его прославлением атомистичного и автономного индивида. Но это не так. Когда либертарианец смотрит на общество, он не видит изолированных индивидов; он видит отдельные, часто иерархические группы, в которых отец управляет своей семьей, а собственник предприятия — своими работниками⁴¹.

40. Linda K. Kerber, *No Constitutional Right to be Ladies: Women and the Obligations of Citizenship* (New York: Hill and Wang, 1998), 3–46, 124–220; Ira Berlin, Barbara J. Fields, Steven F. Miller, Joseph P. Reidy, and Leslie S. Rowland, *Slaves No More: Three Essays on Emancipation and the Civil War* (New York: Cambridge University Press, 1992), 5, 15, 20, 48, 54–59.

41. «Конечной функциональной единицей нашего общества является не индивид, а семья». Milton Friedman, *Capitalism and Freedom* (Chicago: Universi-

Не является консерватизм и простой защитой своего положения и привилегий — консерватор, как уже упоминалось, может или не может быть непосредственно вовлечен в защищаемые им практики правления или извлекать из них выгоду; про многих, как мы увидим, такого сказать нельзя — позиция консерватора исходит из подлинной убежденности в том, что мир, освобожденный таким образом будет уродливым, грубым, примитивным и безрадостным. В нем не будет совершенства того мира, в котором лучший командует худшим. Когда Бёрк добавляет в вышеупомянутом письме, что «великой Целью» революции является «искоренение того, что называется *Аристократ*, или *Дворянин* и *Джентльмен*», он не просто имеет в виду власть знати; он также имеет в виду исключительность, которую эта власть придает миру⁴². Если власть уходит, исключительность исчезает вместе с ней. Понимание связи между совершенством и правлением и есть то, что формирует в послевоенной Америке невероятный альянс либертарианца, с его видением неограниченной власти работника на своем рабочем месте; традиционалиста, с его представлениями о патриархальном правлении в кругу семьи; и этатиста, с его видением героического лидера, гордо стоящего на земле. Каждый по-своему подписывается под типичным выражением консерва-

ty of Chicago Press, 1962, 1982, 2002), 32; Милтон Фридман. *Капитализм и свобода*. М.: Новое издательство, 2006, с. 58; см. также: *Ibid*, 13; там же, с. 37. «Было бы огромной ошибкой считать, что правовые нормы являются доминирующей силой в деле формирования индивидуального характера; вероятнее всего, семья, школа и церковь обладают гораздо большим влиянием. Люди, управляющие данными институтами, используют свое влияние для продвижения собственных представлений о благе, независимо от состояния права». Richard A. Epstein, «Libertarianism and Character», in *Varieties of Conservatism in America*, ed. Peter Berkowitz (Stanford, Calif.: Hoover Institution Press, 2004), 76. О более ранних высказываниях, см.: William Graham Sumner, «The Family Monopoly», in *On Liberty, Society, and Politics: The Essential Essays of William Graham Sumner*, ed. Robert C. Bannister (Indianapolis, Liberty Fund, 1929), 136; William Graham Sumner, *What the Social Classes Owe to Each Other* (Caldwell, Idaho: Caxton Press, 2003), 63; Ludwig von Mises, *Socialism: An Economic and Sociological Analysis* (Indianapolis: Liberty Fund, 1981), 74–91; Людвиг фон Мизес. *Социализм. Экономический и социологический анализ*. М.: Catallaxy, 1994, с. 63–75. По данной теме см. также: Okin, *Justice, Gender*, 74–88.

42. Edmund Burke, letter to Earl Fitzwilliam (1791), in O'Neill, *Burke-Wollstonecraft Debate*, 211.

тивного кредо XIX века: «Повиноваться вышестоящему... есть одна из важнейших добродетелей — добродетель, абсолютно необходимая для достижения всего, что является великим и неизменным»⁴³.

Представление о том, что консервативные идеи являют собой форму контрреволюционной практики, вероятно, заставит кого-то приподнять брови в удивлении, а кого-то — и ошестиниться. Долгое время левые считали само собой разумеющимся, что защита власти и привилегий — предприятие, лишенное идей. «История идей», как предполагается в недавнем исследовании американского консерватизма, «всегда приветствуется», но она «не является наиболее подходящим инструментом для объяснения силы консерватизма в Америке»⁴⁴. Либеральные авторы всегда изображали правых политиков как эмоциональное болото, а не как движение с твердыми убеждениями: по утверждению Тома Пейна, контрреволюция влечет за собой «уничтожение знания»; Лайонел Триллинг описывал американский консерватизм как смесь «раздраженных психических жестикующих, пытающихся походить на идеи»; Роберт Пэкстон назвал фашизм «делом печени», а не «мозга»⁴⁵. Со своей стороны консерваторы были склонны соглашаться с этим⁴⁶. В конце концов, именно Пальмерстон, когда он еще был тори, первым наклеил на Консервативную партию ярлык «тупая». Играя роль тупоумного помещика, консерваторы ухватились за позицию Ф. Дж. С. Херншо, которая заключалась в том, что «как правило, в практических целях достаточно, если консерваторы, не говоря ничего, просто сидели

43. James Fitzjames Stephen, *Liberty, Equality, Fraternity*, ed. Stuart D. Warner (Indianapolis: Liberty Fund, 1993), 173.

44. David Farber, *The Rise and Fall of Modern American Conservatism: A Short History* (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2010), 10.

45. Thomas Paine, *Rights of Man, Part I*, in *Political Writings*, ed. Bruce Kuklick (New York: Cambridge University Press, 2000), 130; Lionel Trilling, *The Liberal Imagination* (Garden City, N. Y.: Doubleday Anchor, 1950), 5; Robert O. Paxton, *The Anatomy of Fascism* (New York: Knopf, 2004), 42.

46. Michael Freedен, *Ideologies and Political Theory* (New York: Oxford University Press, 1996), 318.

и думали или даже просто сидели»⁴⁷. Хотя аристократические нотки в подобных рассуждениях больше не встречали одобрительного отклика, консерваторы не были готовы отказаться от ярлыка неискушенных и необразованных; они используют его в популистских целях, показывая свою близость к народу. Как замечает консервативная *Washington Times*, республиканцы «часто называют себя тупой партией»⁴⁸. Но ничто, как мы увидим, не могло быть дальше от истины. Консерватизм — это зацикленная на идее практика, и никакие попытки прихорашивания справа или полемики слева не могут повлиять на содержимое его повестки.

Сами консерваторы вряд ли согласятся с этим утверждением по другой причине: оно угрожает чистоте и основательности консервативных идей. Для многих слово «реакция» несет в себе коннотацию бездумной и низкопробной борьбы за власть⁴⁹. Но реакция — это не рефлекс. Она начинается с определения принципа, что кто-то подходит для того, чтобы управлять другими, и потому должен ими управлять, а затем отлаживает данный принцип с учетом демократического давления снизу. Подобная отладка — непростая задача, поскольку такое давление по самой своей природе направлено против этого принципа. В конце концов, если правящий класс действительно подходит для управления, почему и как он допустил то, что его власти был брошен вызов? Что появление такого вызова говорит о пригодности для управления другого?⁵⁰ Консерваторы сталкиваются с дополнительным препятствием: как же защитить принцип правления в мире, где ничто не ста-

47. Цит. по: Russell Kirk, «Introduction», in *The Portable Conservative Reader*, ed. Russell Kirk (New York: Penguin, 1982), xxiii.

48. Mark F. Proudman, «'The Stupid Party': Intellectual Repute as a Category of Ideological Analysis», *Journal of Political Ideologies* 10 (June 2005): 201–202, 206–207.

49. George H. Nash, *The Conservative Intellectual Movement in America since 1945* (Wilmington, Del.: Intercollegiate Studies Institute), xiv; Roger Scruton, *The Meaning of Conservatism* (London: Macmillan, 1980, 1984), 1.

50. «Проблема — как истощенные достигли того, чтобы стать законодателями ценностей? Или иначе — как достигли власти те, которые — последние?» Friedrich Nietzsche, *The Will to Power*, trans. Walter Kaufmann and R. J. Hollingdale (New York: Vintage, 1968), 34; Фридрих Ницше. *Воля к власти*. М.: Культурная революция, 2005, с. 55.

бильно и все находится в постоянном движении? С момента появления консерватизму приходилось сопротивляться упадку древних и средневековых идей об упорядоченном мироздании, в котором постоянная иерархия власти отражала вечный вселенский порядок. Свержение старого порядка обнаружило не только слабость и некомпетентность его лидеров, но и куда более важную истину об отсутствии замысла в устройстве мира. (Идея о том, что консерватизм отражает откровение, согласно которому в мире не существует естественных иерархий, может показаться странной в наш век теории «разумного замысла». Но, как отмечают Кевин Мэттсон и другие, разумный замысел не основывается на том же типе средневекового предположения о неизменной и вечной структуре вселенной, и речь идет не просто о толике релятивизма и скептицизма в отношении этих аргументов. В действительности, один из ведущих защитников теории Разумного замысла утверждал, что хотя он «далеко не постмодернист», он «многому научился» у постмодернизма⁵¹.) Перестройка старого порядка в условиях упадка веры в устойчивые иерархии оказалась нелегким делом. Неудивительно, что она породила несколько наиболее замечательных трудов современной мысли.

Но есть и другая причина, по которой нам нельзя пренебрегать реакционным аспектом консерватизма, и причиной этой являются свидетельства самой этой традиции. Со времени Бёрка предметом гордости консерваторов было представление о том, что их тип мышления носит непредвиденный, зависящий от обстоятельств характер. В отличие от своих оппонентов слева, они не разрабатывают детальный план до самих событий. Они «читают» ситуации и обстоятельства, а не книжные тома; и в этом «чтении» они отдают предпочтение адаптации и намеку, а не декламации и утверждению. В этом, как мы увидим, есть определенная доля истины: консервативный ум — ум чрезвычайно настороженный, восприимчивый к изменениям контекста и фортуны задолго до того, как эти перемены смогут заметить другие. При свойственном ему глубоком понимании

51. Kevin Mattson, *Rebels All! A Short History of the Conservative Mind in Postwar America* (Newark, N. J.: Rutgers University Press, 2008), 121–125.

течения времени консерватор обладает тактической виртуозностью, которой мало кто может похвастаться. Кажется совершенно логичным, что консерватизм тесно связан с вышеупомянутыми движениями противников и сторонников власти, раз он так чувствительно на них реагирует. В них, как я сказал, и заключается история современной политики, и было бы странно, если бы ум, настолько готовый ко всем случайностям, ее окружающим, не был хорошо знаком с этой историей. Не просто знаком с ней, а растревожен и взволнован ею как никакой другой историей.

На самом деле начиная с утверждения Бёрка о том, что в связи с Французской революцией «тревога погружает нас в размышления», до признания Рассела Кирка, что консерватизм является «системой идей», которая «поддерживала людей... в их сопротивлении радикальным теориям и социальной трансформации с начала Французской революции», консервативная партия неустанно подтверждала, что ее знание возникло в результате реакции на левых⁵². (Бёрк согласился бы признать своим «фундаментальным» тезисом утверждение, что никогда не видел зла большего, чем Французская революция)⁵³. Иногда об этом говорилось открыто. Трижды премьер-министр Солсбери написал в 1859 году, что «непрестанная и непримиримая враждебность к радикализму есть главное определение консерватизма. Страх, что радикалы могут добиться триумфа, — единственная окончательная причина, которую в качестве оправдания своего существования может назвать консервативная партия»⁵⁴. Более полвека спустя его сын Хью Сесил — среди прочего свидетель на свадьбе Уинстона Черчилля и проректор Итон-

52. Burke, *Reflections*, 243; Бёрк. *Размышления...*, с. 160; Russell Kirk, «The Conservative Mind», in *Conservatism in America since 1930*, ed. Gregory L. Schneider (New York: New York University Press, 2003), 107. И совсем недавно Харви Мэнсфилд заявил: «Я понимаю консерватизм как реакцию на либерализм. Это не позиция, которую занимают с самого начала, но лишь когда ощущают угрозу со стороны людей, стремящихся отнять или навредить вещам, которые следует сохранять». *The Point* (Fall 2010), <http://www.thepointmag.com/archive/an-interview-with-harvey-mansfield>, accessed April 9, 2011.

53. Burke, *Regicide Peace*, 73.

54. Цит. по: John Ramsden, *An Appetite for Power: A History of the Conservative Party since 1830* (New York: Harper Collins, 1999), 5.

ского университета — подтвердил позицию отца: «Я думаю, что правительство в конце концов поймет, что существует лишь один способ победить революционную тактику и он заключается в формировании организованной традиции неревolutionного мышления. Подобную традицию я называю консерватизм»⁵⁵. Другие, подобно Пилю, пришли к тому же обходными путями:

На протяжении нескольких лет моей целью, которую я предельно ответственно старался выполнить, было закладывание фундамента великой партии, которая, находясь в палате общин и черпая свою силу в воле народа, снизила бы риск и смягчила бы трения между двумя палатами парламента — что позволило бы нам сдерживать рвение благонамеренных людей к необдуманному и поспешным изменениям в конституции и законах страны и сказать властным голосом беспокойному духу революционных изменений: «Вот твои узы, и тут твои метания прекращаются»⁵⁶.

Чтобы читатель не подумал, что подобные сантименты и многословность свойственны англичанам, рассмотрим, как один придворный историк американских правых подходил к изучению сего предмета в 1976 году. «Что такое консерватизм?» — спрашивал Джордж Нэш в ставшей классической книге «Консервативное интеллектуальное движение в Америке с 1945 года». После страницы, отданной колебаниям — ведь консерватизм не поддается определению и «чрезвычайно варьируется во времени и пространстве» (а с какой политической идеей этого не происходит?), и его не следует «смешивать с радикальными правыми», — Нэш останавливается на ответе, который могли бы дать (и действительно дали) Пиль, Солсбери и сын, Кирк и большинство мыслителей радикальных правых. Консерватизм, говорит он, определяется «сопротивлением определенным силам, которые рассматриваются как левые, революцион-

55. *The Faber Book of Conservatism*, ed. Keith Baker (London: Faber and Faber, 1993), 6; см. также Hugh Cecil, *Conservatism* (London: Thornton Butterworth, 1912), 39–44, 241, 244.

56. Robert Peel, speech at Merchant Taylor Hall (May 13, 1838), in *British Conservatism: Conservative Thought from Burke to Thatcher*, ed. Frank O'Gorman (London: Longman, 1986), 125.

ные и крайне губительные для того, что консерваторы считали тогда заслуживающим заботы, защиты, а возможно, и самопожертвования»⁵⁷.

Таковы недвусмысленные заявления контрреволюционного кредо. Еще интереснее менее эксплицитные формулировки, в которых антипатия к радикализму и реформе воплощена в самом строении утверждений. Возьмем, к примеру, знаменитое определение Майкла Оукшотта в его эссе «Быть консерватором»: «Быть консерватором значит предпочитать знакомое неизведанному, опробованное неопробованному, факт загадке, действительное возможному, ограниченное безграничному, близкое далекому, достаток изобилию, просто удобное совершенному, радость сегодняшнего дня блаженству, обещанному где-то в утопическом будущем». Как будто нельзя радоваться одновременно и факту и загадке, близкому и далекому, радости и блаженству. Выбор обязателен. Вовсе не будучи утверждением простой иерархии предпочтений, предлагаемый Оукшоттом выбор «или — или» сигнализирует о том, что мы вступили на экзистенциальную почву, на которой выбор происходит не между чем-то и его противоположностью, а между чем-то и его отрицанием. Консерватор готов радоваться привычным вещам в отсутствие сил, стремящихся к их разрушению, признает Оукшот, но его радость «была бы намного полнее» от «опасений ее утраты». Консерватор — это «человек, который остро сознает, что ему есть что терять». И хотя Оукшот говорит, что подобные потери могут быть следствием действия целого ряда сил, складывается впечатление, что над этим всегда работали левые. (Маркс и Энгельс «принадлежат к числу титанов нашего политического рационализма», пишет он в другой работе. «Ничто... не сравнится» с их абстрактным утопизмом.) По этой причине «нет никакого противоречия в том, чтобы быть консерватором в отношении к правительству и радикалом в отношении к любому другому виду деятельности»⁵⁸. Нет

57. Nash, *Conservative Intellectual Movement*, xiv.

58. Michael Oakeshott, «Rationalism in Politics» and «On Being Conservative», in *Rationalism in Politics and Other Essays* (Indianapolis: Liberty Press, 1991), 31, 408, 435; Майкл Оукшот. *Рационализм в политике*. М.: Идея-Пресс, 2002, с. 30, 66, 89.

никакого противоречия, или это просто необходимо? Радикализм — это разумное основание существования консерватизма; если он исчезнет, консерватизм также исчезнет⁵⁹. Даже когда консерватор стремится уйти от диалога с левыми, ему это трудно сделать, поскольку его самые лирические мотивы — органическое изменение, неявное знание, упорядоченная свобода, осмотрительность, а также прецедент — едва слышны без обращения к левым и отклика с их стороны. Как выяснил в своем «В защиту английской конституции» (1835) Дизраэли, лишь в контрасте с предположительно революционным рационализмом эти отсылки к древней и молчаливой мудрости могут оказать хоть какое-то воздействие на современные умы.

Формирование свободного правительства на широкой основе, хотя и является одной из самых интересных проблем человечества, также, без сомнений, представляет собой и величайшее достижение человеческого ума. Возможно, я даже должен назвать его сверхчеловеческим достижением; поскольку оно требует столь утонченной предусмотрительности, таких всесторонних знаний и такой прозорливости, наряду с такими же, почти неограниченными, способностями комбинирования, что практически нельзя надеяться на сочетание столь редких качеств в отдельно взятом уме. Несомненно, это наивысшее благо нельзя обнаружить за революционной баррикадой или в залитых кровью канавах города, полного ненависти. Его нельзя найти и в каракулях письма, составленного поутру каким-то монархом, возомнившим себя законодателем, или в полной самонадеянных банальностей книге утилитаристского мудреца⁶⁰.

59. В своем эссе Оукшот вводит данное понятие, правда, лишь чтобы отвергнуть его: «Соответствовала ли бы эта предрасположенность к консерватизму иным обстоятельствам, имело бы консервативное отношение к правительству такое же значение, будь мы народом не склонным к авантюризму, пассивным и бездуховным, — на эти вопросы нечего даже пытаться искать ответ, ибо для нас важны мы сами, такие, какие мы есть». Почему — он не объясняет. Oakeshott, «On Being Conservative», 435; там же.

60. Benjamin Disraeli, *The Vindication of the English Constitution*, in *Whigs and Whiggism: Political Writings by Benjamin Disraeli*, ed. William Hutcheon (New York: Macmillan, 1914), 126.

Речь идет об отмеченной антагонистической структуре полемики, а не о простых антиномиях различных типов партийной политики и формировании оппозиционных платформ, что является необходимым требованием победы на выборах. Как утверждал Карл Мангейм, отличие консерватизма от традиционализма — универсальной «вегетативной» склонности сохранять привязанность к привычному положению вещей, что выражается в таких проявлениях неполитического поведения, как отказ покупать новую пару брюк, пока старая не будет заношена до дыр, — состоит в том, что консерватизм есть взвешенное и осознанное усилие сохранить или вернуть «те формы опыта, которые не могут быть далее сохранены в их аутентичности». Консерватизм «становится сознательным и рефлектирующим тогда, когда на сцену выходят альтернативные образы жизни и мышления, против которых консерватизм вынужден начать идейную борьбу»⁶¹. Там, где традиционалист может принимать объекты желания как данность, может наслаждаться ими, словно они есть у него под рукой, потому что они и есть у него под рукой, консерватор себе этого позволить не может. Он стремится наслаждаться ими так, будто их у него отнимают или уже отняли. Если он и надеется насладиться ими снова, ему придется побороться против их передачи в общественный оборот. Он должен говорить о них на политически понятном и убедительном языке. Но как только упомянутые объекты попадают в сферу политического дискурса, они перестают быть предметами пережитого опыта и становятся идеологическими событиями. Они включаются в нарратив утраты, в котором революционеры либо реформисты играют необходимую роль, и включаются в программу восстановления. Неявное становится

61. Karl Mannheim, «Conservative Thought», in *Essays on Sociology and Social Psychology*, ed. Paul Kecskemeti (London: Routledge & Kegan Paul, 1953), 95, 115; Карл Мангейм. *Диагноз нашего времени*. М.: Юрист, 1994, с. 593, 612–613; см. также: Freedен, *Ideologies and Political Theory*, 335ff. Свидетельство о подобной борьбе с точки зрения консерваторов, можно найти у: Frank Meyer, «Freedom, Tradition, Conservatism», in *In Defense of Freedom and Related Essays* (Indianapolis: Liberty Fund, 1996), 17–20; Mark C. Henrie, «Understanding Traditionalist Conservatism», in *Varieties of Conservatism in America*, 11; Nash, *Conservative Intellectual Movement*, 50; Scruton, *Meaning of Conservatism*, 11.

явным, а изменчивое — формальным, а практика — полемической⁶². Даже если теория — своего рода хвалебная песнь практике (чем зачастую и является консерватизм), она не может избежать этапа полемики. Самого привередливого консерватора, соблаговолившего выйти на улицу, левые принудят взять бульжник и швырнуть его в баррикады. Как сказал об этом Лорд Хейлшэм в «Обосновании консерватизма» (1947):

Консерваторы не верят, что политическая борьба — самая важная вещь в жизни. В этом они отличаются от коммунистов, социалистов, нацистов, фашистов, сторонников социального кредита и большинства членов британской лейбористской партии. Самые простые среди них предпочитают лисью охоту — мудрейшую религию. Для большей части консерваторов религия, искусство, наука, семья, природа, дружба, музыка, веселье, долг, все радости и богатства существования, бессменными обладателями которых являются бедные в не меньшей степени, чем богатые, все они выше в ценностной шкале, чем их служанка — политическая борьба. Это делает их крайне уязвимыми — вначале. Однако однажды потерпев поражение, они схватятся за эти убеждения с фанатизмом крестоносца и упрямством англичанина⁶³.

Поскольку существует так много путаницы в том, что касается противостояния консерватизма левым партиям, важно прояснить, против чего именно в левых движениях выступает консерватизм, а против чего — нет. Речь здесь не идет

62. Таким образом, когда Ирвинг Кристол утверждает в своих «Размышлениях неоконсерватора», что неоконсерватизм «стремится наполнить американскую буржуазную ортодоксию новой, сознательной интеллектуальной силой», он не отступает от консервативных норм; он четко их формулирует. Как пишет консервативный социолог и теолог Питер Бергер в своей работе «Священный покров», «данности социального мира или любой его части достаточно для самолегитимации до тех пор, пока не возникнет вызов. А когда он появляется, в какой угодно форме, данность уже нельзя будет принимать как нечто само собой разумеющееся. Теперь обоснованность социального порядка требует объяснения и для обвинителей, и для тех, кто им отвечает... Серьезность вызова будет определять степень продуманности ответных легитимаций». *Conservatism: An Anthology of Social and Political Thought from David Hume to the Present*, ed. Jerry Muller (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1997), 4, 360.

63. Quintin Hogg, *The Case for Conservatism*, in *British Conservatism*, 76.

об абстрактных изменениях. Ни один консерватор не выступает против изменений как таковых и не защищает порядок как таковой. Консерватор защищает определенные порядки — иерархические, иногда частные режимы правления, — отчасти основываясь на предположении, что иерархия и есть порядок. «Порядок нельзя подорвать, — заявлял Джонсон, — разве что нарушением субординации»⁶⁴. Для Бёрка было аксиомой, что «когда низы не находятся под руководством более мудрых, опытных и состоятельных», о «них вряд ли можно сказать, что они принадлежат гражданскому обществу»⁶⁵. Кроме того, отстаивая подобные порядки, консерватор неизменно запускает программу реакции и контрреволюции, часто требующую перестройки того самого режима, который она отстаивает. Согласно классической формуле Лампедузы, «если мы хотим, чтобы все осталось по-старому, нужно все поменять»⁶⁶. Для сохранения режима, как я покажу в части I, консерваторы должны реконструировать режим. Эта программа не ограничивается клише о «сохранении посредством обновления»: ради сохранения режима она может потребовать от консерватора самых радикальных мер.

Некоторые наиболее закоснелые сторонники порядка из правых с удовольствием (когда это было в их интересах) потворствовали беспорядкам и безумию. Кирк, самозванный беркианец, возжелал «предаться консерватизму со страстью радикала. Сегодня мыслящий консерватор должен на самом деле перенять некоторые внешние характеристики радикала: он должен рыться в поисках корней общества, в надежде вернуть силы старому дереву, задыхающемуся в буйной поросли современных страстей». Это было в 1954 году. Пятнадцать лет спустя, на пике студенческого движения, он написал: «Пробыв на протяжении двух десятилетий едким критиком того, что по глупости принято называть высшим образованием в Америке, я призна-

64. Boswell, *Life of Johnson*, 1018.

65. Edmund Burke, *An Appeal from the New to the Old Whigs, in Further Reflections on the Revolution in France*, ed. Daniel F. Ritchie (Indianapolis: Liberty Fund, 1992), 167.

66. Giuseppe di Lampedusa, *The Leopard* (New York: Pantheon, 2007), 28; Джузеппе Лампедуза. *Гепард*. М.: Инностранка, 2006, с. 48.

юсь, что испытываю определенное наслаждение от того, что мои предсказания сбываются, а образовательный истеблишмент оказался в бедственном положении. До известной степени я даже признаюсь в тайной симпатии революционерам из кампусов». В книге «Бог и человек в Йеле» Уильям Ф. Бакли объявил консерваторов «новыми радикалами». По прочтении первых выпусков *National Review* Дуайт Макдональд был склонен согласиться: «родись [Бакли] поколением ранее, он был бы завсегдаем кафетериев на 14-й улице с марксистской диалектикой»⁶⁷. Даже сам Бёрк писал, что «безумие мудрых» — «лучше здравомыслия глупцов»⁶⁸.

Есть довольно простая причина для обращения правых к радикализму, и она связана с реакционным императивом, лежащим в сердце консервативной доктрины. Консерватор не только противостоит левым; он также верит, что левые играют ведущую роль, начиная с Французской революции или Реформации — в зависимости от того, кто от чего ведет отсчет⁶⁹. Если ему предстоит защитить то, чем он дорожит, консерватор должен объявить войну культуре как таковой. Хотя дух воинствующего противостояния пронизывает весь консервативный дискурс, Динеш Д'Соуза высказался об этом яснее остальных.

Обычно консерватор пытается сохранить, удержать ценности существующего общества. Но... что если существующее общество внутренне враждебно консервативным убеждениям? Для консерватора было бы глупо пытаться сохранить такую культуру. Скорее, он должен стремиться подорвать ее, разрушить ее, искоренить. Это также означает, что консерватор должен... быть консерватором в философском смысле, а по характеру — радикалом⁷⁰.

67. Mattson, *Rebels All!* 23, 35–36, 62.

68. Burke, *Regicide Peace*, 142.

69. Kirk, «The Conservative Mind», 109; Oakeshott, «On Being Conservative», 414–415.

70. Цит. по: Allitt, *Conservatives*, 242; см. также: Arthur Moeller van den Bruck, *Germany's «Third Empire»*, in *The Nazi Germany Sourcebook: An Anthology of Texts*, ed. Roderick Stackelberg and Sally A. Winkle (New York: Routledge, 2002), 77–78; Артур Меллер ван ден Брук. Третья империя // Артур Меллер ван ден Брук, Андрей Васильченко. *Миф о вечной империи и Третий рейх*. М.: Вече, 2009, с. 112–133.

Следует также пояснить, что консерватор противостоит не стилю и не темпу изменений. Консервативные теоретики любят проводить «очевидное различие» между эволюционной реформой и радикальным изменением⁷¹. Первая — медленная, поэтапная и адаптивная; второе — быстрое, всестороннее и спланированное. Но это различие, столь дорогое Бёрку и его последователям, на практике часто оказывается гораздо менее ясным, чем в теории⁷². Политическая теория должна быть абстрактной, но какая абстракция вызвала появление столь диаметрально противоположных политических программ, как предпочтение реформы, а не радикализма, эволюции, а не революции? Во имя медленного, органичного, адаптивного изменения самозванные консерваторы выступили против «Нового курса» (Роберт Нисбет, Кирк и Уиттэкер Чемберс) и за него (Питер Вирек, Клинтон Росситер и Уитэкер Чемберс)⁷³. Вера в эволюционную реформу могла привести к принятию защиты свободного рынка Хайека или демократического социализма Эдуарда Бернштейна. «Даже фабианские социалисты, — едко замечает Нэш, — верившие в неизбежность постепенного подхода, могли быть прозваны консерваторами»⁷⁴. И наоборот, как отметил Авраам Линкольн, левые с такой же легкостью, как и правые, могли претендовать на роль «охранителей». «Вы называете себя консерваторами», — заявлял он рабовладельцам.

Вы — образец консерватизма, тогда как мы — революционеры, разрушители и все такое. Что же такое консерватизм? Разве это не верность старому и испытанному, в противопо-

71. Edmund Burke, *Letter to a Noble Lord*, in *On Empire, Liberty, and Reform: Speeches and Letters*, ed. David Bromwich (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2000), 479.

72. Сесил — один из немногих консерваторов, признающих, насколько тяжело разграничить реформу и революцию (Cecil, *Conservatism*, 221–222). Полезную критику см. в: Ted Honderich, *Conservatism: Burke, Nozick, Bush, Blair?* (London: Pluto, 2005), 6–31.

73. Peter Kolozi, «Conservatives against Capitalism: The Conservative Critique of Capitalism in American Political Thought», Ph.D. dissertation, CUNY Graduate Center, 2010, 138–172; Clinton Rossiter, *Conservatism in America: The Thankless Persuasion* (New York: Vintage, 1955, 1962), 241–242; Sam Tanenhaus, *Whittaker Chambers: A Biography* (New York: Modern Library, 1997), 165, 466, 488.

74. Nash, *Conservative Intellectual Movement*, xiv.

ложность новому и неиспытанному? Мы придерживаемся все той же старой позиции, которую занимали «наши отцы, создавшие правительство, с которым мы живем»; в то время как вы единодушно отвергли, пренебрегли и наплевали на эту старую политику и настояли на замене ее чем-то новым... Ни один из ваших многочисленных планов не может указать на прецедент или сторонника из тех времен, когда возникло наше правительство. Задумайтесь же, имеют ли ваши притязания на то, чтобы называть себя консерваторами, и ваши обвинения в том, что мы несем с собой разрушения, ясные и прочные основания!⁷⁵

Чаще, однако, размытость различий позволяла консерватору противодействовать реформе на том основании, что она приведет либо к революции, либо, в сущности, уже является революцией. (В действительности, за исключением Пия и Болдуина, ни один лидер тори никогда не следовал стабильной программе сохранения посредством реформ, и даже Пиль не мог убедить свою партию пойти за ним⁷⁶.) Сам Бёрк не был свободен от утверждения того, что реформа ведет к революции. Даже хотя лучшую часть десятилетия, предшествующего Американской революции, он провел оспаривая этот аргумент, он все еще удивлялся: «Когда вы открываете [политику] для обсуждения в одной части», что, по-видимому, служит определением медленной реформы, «на чем такое обсуждение остановится?»⁷⁷ Другие консерваторы утверждали, что любое требование со стороны или от имени низших классов, — не важно, насколько запоздалое и нейтральное — уже является чрезмерным, слишком торопливым и поспешным. Реформа — это рево-

75. Abraham Lincoln, address at Cooper Institute (February 27, 1860), in *The Portable Abraham Lincoln*, ed. Andrew Delbanco (New York: Penguin 1992), 178–179. Типичное консервативное видение реформ, отмечает один исследователь, «может быть частью других политических идеологий вследствие — по крайней мере, на первый взгляд — своей очевидной разумности. Само по себе оно является чисто «относительным» или «позиционным», а потому может применяться к любой идеологии или использоваться ею». Jan-Werner Muller, «Comprehending Conservatism: A New Framework for Analysis», *Journal of Political Ideologies* 11 (October 2006): 362.

76. Ramsden, *Appetite for Power*, 28.

77. Цит. по: С. В. Macpherson, *Burke* (New York Hill and Wang, 1980), 22; см. также: Burke, *Regicide Peace*, 381.

люция, улучшение — восстание. «Она может быть хорошей или плохой, — писал угрюмый лорд Карнарвон по поводу закона о реформе избирательной системы 1867 года, который разрабатывался в течение двадцати лет и предусматривал трехкратное увеличение числа избирателей, — но это революция». Если не принимать в расчет оговорку в начале фразы, это было повторением слов, сказанных Веллингтоном о первой парламентской реформе⁷⁸. По ту сторону Атлантики современник Веллингтона Николас Биддл осуждал вето Эндрю Джексона в отношении Второго банка США (которое было по большому счету соответствующим конституции использованием предоставленных ею полномочий) в подобных же выражениях: «В этом чувствуется ярость прикованной пантеры, грызущей прутья своей клетки. Это действительно манифест анархии — подобный тому, что могли выдать толпе Марат или Робеспьер»⁷⁹.

Сегодняшний консерватор, возможно, смирился с одними формами освобождения, произошедшими в прошлом; другие, например профсоюзы и право на совершение аборта, он еще оспаривает. Но это не меняет того факта, что когда эти освободительные движения только начинались (в контексте реформы или революции), тогдашние консерваторы, скорее всего, выступали против них. Майкл Герсон,

78. Ramsden, *Appetite for Power*, 46, 95. Позиция Карнарвона была позицией меньшинства среди британских правых; под руководством Дерби и Дизраэли консерваторы занимались проведением реформы. Однако не следует воспринимать это в качестве свидетельства влияния Бёрка среди правых. На всем протяжении дебатов Дизраэли занимал позицию, противоположную позиции Гладстона. Если Гладстон был «за», то Дизраэли — «против», и наоборот. Если за всем этим и стоял какой-то план, он был недалеким, включая явно неберковскую тактику. Объясняя свою поддержку целого ряда мер, более радикальных, нежели все, что первоначально получало поддержку либералов, Дизраэли сказал Дерби: «Дерзость безопаснее». См.: Ramsden, *Appetite for Power*, 91–99. Иную точку зрения см. в: Gertrude Himmelfarb, «Politics and Ideology: The Reform Act of 1867», in *Victorian Minds* (New York: Knopf, 1968), 333–392.

79. Allitt, *Conservatives*, 48. Другие примеры см. в: Allan Bloom, *The Closing of the American Mind* (New York: Simon and Schuster, 1987), 101; Calhoun, «Speech on the Oregon Bill», in *Union and Liberty*, 565; Adams, *Discourses on Davila*, in *Political Writings*, 190–192, 201; *Theodore Roosevelt: An American Mind*, ed. Mario R. DiNunzio (New York: Penguin, 1994), 116, 119; Phillips-Fein, *Invisible Hands*, 82.

бывший спичрайтер Джорджа Буша-младшего, один из немногих современных консерваторов, признающих, что история консерватизма — это история противостояния разного рода освободительным движениям. Там, где другие консерваторы были рады претендовать на славу аболиционистов и борцов за гражданские права, Герсон говорит о том, «что честность требует признания, что многие консерваторы порой были враждебны религиозно мотивированной реформе» и что «консервативный склад ума в прошлом выступал против большинства этих изменений»⁸⁰. И, как утверждал полвека тому назад Сэмюель Хантингтон, противостояние подобным движениям в реальном времени может быть тем, что позднее делает человека консерватором⁸¹.

Изобретенный как ответ на давление низших классов консерватизм совершенно не обладает спокойствием или самообладанием, которыми сопровождается длительное наследование власти. Напрасно искать в каноне правых непоколебимую веру в Великую цепь бытия. Заявления консерваторов об органическом единстве либо имеют вид тихой — или не слишком — скорби, либо, как в случае с Кирком, им недостает текстуры, опыта длительного наблюдения прочной власти. Даже заявления де Местра о божественном провидении не могут скрыть или обуздать непокорную демократию, их породившую. Призванные противостоять освободительным тенденциям, подобные заявления не от-

80. Michael J. Gerson, *Heroic Conservatism: Why Republicans Need to Embrace America's Ideals (And Why They Deserve to Fail If They Don't)* (New York: Harper Collins, 2007), 261, 264.

81. Хотя Хантингтон справедливо отмечает «ситуативное» или «позиционное» измерение консерватизма — то, что он возникает в ответ на системные вызовы сложившемуся порядку, — он ошибочно утверждает, что консерватор защищает сложившийся порядок просто потому, что это сложившийся порядок. Консерватор защищает определенный тип порядка — иерархический институт личного правления, — потому что он искренне верит, что неравенство является необходимым условием превосходства. Иногда он готов оспорить сложившийся порядок, если он считает его слишком эгалитарным; так, например, обстояло дело с последующим консервативным движением в Америке. Samuel Huntington, «Conservatism as an Ideology», *American Political Science Review* 51 (June 1957): 454–473.

крывают нам мощную природу сдерживания, а напротив, обнаруживают некую разреженность. Консерватизм — это история осажденной власти и власти охраняемой. Это активистская доктрина для активистских времен. Она растет в ответ на движения снизу и идет на спад с их исчезновением, как признают Хайек и другие консерваторы⁸².

Вовсе не компрометируя картину совершенства, в соответствии с которой прерогативы правящих должны приносить элемент величия в тусклый и бесцельный мир, активистский императив лишь усиливает его. «Свет и совершенство, — писал Мэтью Арнолд, — заключаются не в пребывании и бытии, а в росте и становлении, в вечном движении, в красоте и мудрости»⁸³. Для консерватора власть на покое есть власть в состоянии упадка. «Простое, даже самое разумное, использование уже имеющихся средств, — писал Йозеф Шумпетер о промышленных династиях, — каким бы усердным оно ни было, всегда характерно для состояния упадка»⁸⁴. Если власть собирается достичь совершенства, приписываемого ей консерватором, она должна быть использована⁸⁵. И нет лучшего способа использования власти, чем ее защита от врагов снизу. Другими словами, контрре-

82. Защита свободного рынка «начинала буксовать, когда он пользовался наибольшим влиянием» и «продвигалась вперед», когда «он подвергался атакам» слева (Hayek, *Constitution of Liberty*, 7). «Ирония состоит в том, что, не будучи чем-то исторически беспрецедентным, подобный всплеск созидательной энергии на интеллектуальном уровне [у правых] случился одновременно с энергичным распространением влияния либерализма в сфере политической практики» (Frank Meyer, «Freedom, Tradition, Conservatism», in *Defense of Freedom*, 15). «Во времена кризиса, — замечает Скратон, — консерватизм старается изо всех сил» (Scruton, *Meaning of Conservatism*, 11). О «диалектических» взаимоотношениях между правыми и левыми в недавнем американском прошлом см.: Julian E. Zelizer, «Reflections: Rethinking the History of American Conservatism», *Reviews in American History* 38 (June 2010): 388–389.

83. Matthew Arnold, *Culture and Anarchy*, in *Culture and Anarchy and Other Writings*, ed. Stefan Collini (New York: Cambridge University Press, 1993), 95.

84. Joseph Schumpeter, «Social Classes in an Ethnically Homogenous Environment», in *Conservatism: An Anthology*, 227.

85. Достижение и сохранение реальной экономической власти, добавляет Шумпетер, требует постоянной «отстраненности от рутины». Schumpeter, «Social Classes», 227. «Мы должны уяснить себе, что для нас не существует остановок и удовлетворенности, но лишь поступательное либо обратное движение, и что удовлетворенность данностью равно-

волюция — один из способов, которым консерватор может заставить феодализм выглядеть свежим, а средневековый дух — современным.

Но это не единственный способ. Консерватизм также предлагает защиту власти, которая, несмотря на всю его контрреволюционность, является состязательной и динамичной и обходится без степенного традиционализма и гармоничного устройства иерархий прошлого. А теперь мы подходим к самым сокровенным чаяниям консерватора, его мечтам о хорошей жизни, к реакционной утопии, которую тот надеется однажды осуществить. В отличие от феодального прошлого, когда власть воспринималась как нечто само собой разумеющееся, а привилегии наследовались, консервативное воображение будущего рисует мир, в котором притязания на власть нужно еще подтвердить, а привилегии — заслужить, причем не в стерильных и безобидных залах меритократии, допуск в которые дается легко — «путь от неизвестности к уважению и власти не должен быть слишком легким»,⁸⁶ — а в напряженной борьбе за превосходство. В подобной борьбе ничто не имеет значения — ни наследственность, ни социальные связи или экономические средства, — кроме природного ума и врожденной силы. Подлинное превосходство обязательно обнаруживается и получает должное вознаграждение, а истинное благородство сохраняется. «*Nitor in adversum* [я преодолеваю трудности] — девиз для такого, как я», заявляет Бёрк после того, как он высмеял одного политика, которого с самого рождения «пеленали, укачивали и с которым цацкались вплоть до попадания его в парламент»⁸⁷. Даже беззаветно верящий в биологический детерминизм расист считает, что члены высшей расы должны лично добиться привилегии править посредством подчинения и истребления низших рас.

Признание того, что раса представляет собой основу любой цивилизации, не должно, однако, никого заставить думать,

сильна perpeccu». Friedrich von Bernhardt, *Germany and the Next War*, trans. Allen Powles (London: Edward Arnold, 1912), 103.

86. Burke, *Reflections*, 207; Бёрк, *Размышления...*, с. 113. См. также: Justus Möser, «No Promotion According to Merit», in *Conservatism: An Anthology*, 74–77.

87. Burke, *Letter to a Noble Lord*, 484.

что членство в высшей расе является чем-то вроде удобного ложа, на котором он может спокойно почивать... биологическое наследие ума не более нетленно, чем биологическое наследие тела. Если мы продолжим проматывать это биологическое интеллектуальное наследие, как мы делали это на протяжении последних десятилетий, пройдет совсем немного поколений, и мы станем похожи на монголов. Наши этнологические исследования должны вести нас не к высокомерию, а к действию⁸⁸.

Поле боя, как мы увидим в части II, служит естественным испытательным полигоном для превосходства; там есть лишь солдат со своей смекалкой и оружием, который сам определяет свое место в этом мире. Со временем, однако, консерватор обнаружит еще один такой полигон — свободный рынок. Хотя большинство первых консерваторов расходились в своих оценках капитализма,⁸⁹ их последователи пришли к убежденности в том, что воины иного типа могут проявить себя в промышленности и торговле. Такие люди добывают ресурсы, забирая, что им нужно и тем самым устанавливая свое превосходство над другими. Великие богачи не рождаются с привилегиями и правом быть богатыми; они присваивают себе богатства, без спроса и позволения⁹⁰. «Свобода — это завоевание», — писал Уильям Грэм Самнер⁹¹. Первичный акт трансгрессии — требующий смелости, видения и способности к насилию и нарушению⁹² — вот что делает капиталиста воином, давая ему право не только на богатство, но в конечном итоге и на то, чтобы отдавать приказы другим. Ведь это и есть капиталист: не богач царь Мидас, а правитель людей. Право на собственность — это право распоряжаться имуществом, и если кто-то имеет право на труд

88. Fritz Lens, *Psychological Differences between the Leading Races of Mankind*, in *Nazi Germany Sourcebook*, 75.

89. Muller, *Conservatism*, 26–27, 210.

90. Sumner, *What the Social Classes Owe to Each Other*, 59–60, 66–67.

91. Sumner, «Liberty», in *On Liberty, Society, and Politics*, 246.

92. «Вся собственность имеет начало в захвате и насилии... мы можем спокойно признать, что все права имеют своим первоисточником насилие, что вся собственность есть наследие присвоения или грабежа». Mises, *Socialism*, 32; Мизес. *Социализм...*, с. 33.

другого, у него есть право распоряжаться им, то есть распоряжаться телом живого человека, по своему усмотрению.

Таких называли «капитаны индустрии». Аналогия с военными лидерами, которую предполагало подобное название, не является случайной или ошибочной. Крупнейшим лидерам развития промышленной организации необходимо обладать исполнительным и управленческим талантом, способностью командовать, смелостью и силой духа, обычно востребованных в военных делах и редко где-то еще. Индустриальная армия так же зависит от своих капитанов, как и воинская часть от генералов... В данных обстоятельствах крайне востребованы были люди, обладающие необходимыми способностями для выполнения данной функции... Обладание требуемой способностью является естественной монополией⁹³.

Воин и бизнесмен станут двойной иконой эпохи, в которой членство в правящем классе должно быть заработано, как предвидел Бёрк, часто посредством самой болезненной и унижительной борьбы. «На каждом шагу к успеху (поскольку на каждом шагу мне мешали и препятствовали) и на каждой заставе я обязан был предъявлять свой паспорт и вновь и вновь доказывать свое единственное право быть полезным моей Стране... Иначе не видать мне было ни чина, ни даже терпимости»⁹⁴.

Хотя война и рынок — современные арены демонстрации власти (причем Ницше выступает теоретиком первой, а Хайек — второго), приятие капитализма правыми никогда не было безоговорочным. По сей день, как я покажу в части II, консерваторы с недоверием относятся к ничтожному и пустому деланию денег, к политическому аутизму, который, по-видимому, вызывает рынок в правящих классах, и к глупости и легкомысленности потребительской культуры. Для этого крыла движения война всегда будет оставаться единственным видом деятельности, где лучшие могут действительно доказать свое право властвовать. Конечно же это кровавый бизнес, но как еще быть аристократом, когда

93. Sumner, «The Absurd Effort to Make the World Over», in *On Liberty, Society, and Politics*, 254.

94. Burke, *Letter to a Noble Lord*, 484.

«веками освященные представления и воззрения разрушаются, [а] все возникающие вновь оказываются устарелыми, прежде чем успевают окостенеть»?

За последние два десятилетия интерес к американским правым резко возрос, что вылилось в целый ряд исследований, по большей части написанных молодыми историками левых взглядов, и эти исследования серьезно изменили наше понимание консерватизма в Соединенных Штатах⁹⁵.

В значительной степени моя интерпретация консервативной мысли сформировалась благодаря именно этой литературе с ее акцентом на живых реалиях расы, класса и пола в том виде, в каком они проявлялись в партийных столкновениях последнего полувека; синкретизмом высокой политики и массовой культуры; а также творческим напряжением между элитами и активистами, бизнесменами и интеллектуалами, жителями пригородов и южанами, различными движениями и СМИ. Полагая вместе с Т. С. Элиотом, что консерватизм можно лучше всего понять посредством «внимательного рассмотрения его образа действий на протяжении его истории и посредством изучения того,

95. С каждым месяцем число книг об американском консерватизме растет. Среди наиболее заметных за последнее десятилетие: Rick Perlstein, *Before the Storm: Barry Goldwater and the Unmaking of the American Consensus* (New York: Hill & Wang, 2001); Lisa McGrirr, *Suburban Warriors: The Origins of the New American Right* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2001); Donald Critchlow, *Phyllis Schlafly and Grassroots Conservatism: A Woman's Crusade* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2005); Kevin Kruse, *White Flight: Atlanta and the Making of Modern Conservatism* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2005); Jason Sokol, *There Goes My Everything: White Southerners in the Age of Civil Rights, 1945–1975* (New York: Vintage, 2006); Matthew Lassiter, *The Silent Majority: Suburban Politics in the Sunbelt South* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2006); Joseph Lowndes, *From the New Deal to the New Right: Race and the Southern Origins of Modern Conservatism* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2008); Allan J. Lichtman, *White Protestant Nation: The Rise of the American Conservative Movement* (New York: Grove Press, 2008); Mattson, *Rebels All!*; Steven Teles, *The Rise of the Conservative Legal Movement: The Battle for Control of the Law* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2008); Bethany Moreton, *To Serve God and Wal-Mart: The Making of Christian Free Enterprise* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2009); Phillips-Fein, *Invisible Hands*. Обзор этой литературы и возможных направлений, которые она может принять в будущем, см. в: Zelizer, «Rethinking the History of American Conservatism», 367–392.

что было сказано от его имени его самыми глубокими и философскими умами»⁹⁶, я осмыслил его теорию в свете практики (а практику рассмотрел в свете теории). При помощи этих знаний я смог услышать «метафизический пафос» консервативной мысли — гул его подтекстов, предположений, которые он выдвигает, и ассоциации, которые он вызывает, внутреннюю жизнь описываемого им движения⁹⁷. Ощутимое присутствие такой исследовательской работы и есть то, что, как я надеюсь, отличает мою интерпретацию консервативной мысли от других, которые обычно прочитывают теорию в отрыве от практики либо в связи с крайне стилизованным описанием и объяснением данной практики⁹⁸.

Какой бы передовой ни была современная литература о консерватизме, она страдает от трех недостатков. Первый — это нехватка сравнительной перспективы. Исследователи американских правых редко рассматривают движение в связи с европейскими правыми. И многие авторы убеждены в том, что, как и все американское, консерватизм в Соединенных Штатах исключителен. «Есть что-то чисто американское в Буше и его интеллектуальных защитниках», — пишет Мэттсон. «Консерватизм, восходящий к Эд-

96. T. S. Eliot, «The Literature of Politics», in *To Criticize the Critic and Other Writings* (Lincoln: University of Nebraska Press, 1965), 139.

97. «Примером „метафизического пафоса“ является любое описание природы вещей, окружающего мира, в таких понятиях, которые пробуждают, подобно стихотворным строкам, своими ассоциациями, своего рода эмпатией конгениальное расположение духа или строй чувств у философа или его читателей». Arthur O. Lovejoy, *The Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea* (New York: Harper & Brothers, 1936), 11; Артур Лавджой. *Великая цепь бытия: история идеи*. М.: Дом интеллектуальной книги, 2001, с. 16.

98. Ср.: Bruce Frohnen, *Virtue and the Promise of Conservatism: The Legacy of Burke and Tocqueville* (Lawrence: University of Kansas Press, 1993); Nash, *Conservative Intellectual Movement*; Allitt, *Conservatives*; Scruton, *Meaning of Conservatism*; Berkowitz, *Varieties of Conservatism*. В числе более полезных работ см.: Robert Nisbet, *Conservatism: Dream and Reality* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986); Stephen Holmes, *The Anatomy of Antiliberalism* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993); Albert O. Hirschman, *The Rhetoric of Reaction: Perversity, Futility, Jeopardy* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1991); Альберт О. Хиршман. *Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность*. М.: ГУ-ВШЭ, 2010; Mannheim, «Conservative Thought»; Карл Манхейм. Консервативная мысль // Карл Манхейм. *Диагноз нашего времени*; Muller, *Conservatism*; Femia, *Against the Masses*.

мунду Бёрку, консерватизм мудрости и традиции, глубоко укорененный в европейском контексте», — это тот «тип консерватизма, который никогда не приживался в Америке»⁹⁹. Представляется, что приверженность капитализму свободной конкуренции по эту сторону Атлантики отличает американский консерватизм от традиционализма Бёрка или Дизраэли; врожденный прагматизм делает американский консерватизм невосприимчивым к пессимизму и фанатизму Бональда; демократия и популизм делают несостоятельными аристократические предрассудки Токвиля. Но это предположение основывается, как я покажу, на неверных представлениях о европейских правах: даже Бёрк не был таким традиционным, каким его сделали исследователи, тогда как взгляды де Местра на экономику были — как и многое другое в его реваншистских сочинениях — удивительно современными¹⁰⁰. Действительно, между правыми радикалами в Европе и такими фигурами, как Кэлхун, Тедди Рузвельт, Барри Голдуотер и неоконсерваторы, существуют явные точки соприкосновения — в особенности по вопросам расы и насилия. В послевоенную эпоху многие из светил консерватизма в смущении обратились к Европе в поисках руководства и наставлений, и европейские эмигранты — в особенности Хайек, Людвиг фон Мизес и Лео Штраус — с радостью готовы были им услужить¹⁰¹. И при всем том внимании, которое было приковано к Франкфуртской школе и Ханне Арендт, представляется, что единственным политическим движением в послевоенной Америке, которое действительно испытало на себе влияние европейской мысли, были правые.

Вторым недостатком является отсутствие исторической перспективы. Неважно, насколько глубоко, по мнению исследователей, уходят корни современного консерватизма

99. Mattson, *Rebels All!*, 3, 11–12, 42, 79. См. также: Sam Tanenhaus, *The Death of Conservatism* (New York: Random House, 2009), 16–19, 49–51.

100. Cara Camcastle, *The More Moderate Side of Joseph de Maistre: Views on Political Liberty and Political Economy* (Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press, 2005); Isaiah Berlin, «Joseph de Maistre on the Origins of Modern Fascism», in *The Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas*, ed. Henry Hardy (New York: Vintage, 1992), 91–174; Исайя Берлин. Жозеф де Местр и истоки фашизма // Исайя Берлин. *Философия свободы. Европа*. М.: Новое литературное обозрение, 2001, с. 76–108.

101. Nash, *Conservative Intellectual Movement*, 69–70.

(в одной из недавних работ говорится о длительной преемственности консервативного движения, объединяющей «движение чаепития» с 1920-ми годами),¹⁰² в новейших исследованиях преобладает представление о том, что современный консерватизм фундаментально отличается от более ранних циклов. Согласно этой точке зрения, в определенный момент американский консерватизм порвал со своими предшественниками, став популистским, идеологизированным и т. д., и именно этот разрыв, в зависимости от позиции, занимаемой автором, либо спас его, либо стал ему смертным приговором¹⁰³. Но подобное утверждение игнорирует преемственность между такими фигурами, как Адамс и Кэлхун и более современные голоса американских правых. Вовсе не будучи новинкой последних десятилетий, популизм «движения чаепития» и футуризм Рейгана или Гингрича можно обнаружить в голосах первых консерваторов по обе стороны Атлантики. Так же как и авантюризм, расизм и склонность к идеологизированию.

Третий недостаток связан со вторым. Чем глубже в прошлое уходят исследователи в поисках истоков современного консерватизма, тем меньше они готовы верить, что это политика реакции или ответного удара. Если черты современного консерватора обнаруживаются в произведениях Алберта Джей Нока или Джона Адамса, то, как утверждают эти исследователи, идеи консерватизма должны отражать нечто большее, нежели просто противостояние «Великому обществу»¹⁰⁴. Но признание того, что американские правые име-

102. Изданная в июне 2008 года книга Личтмана «Нация белых протестантов» увидела свет до возникновения «движения чаепития» — как раз перед избранием Барака Обамы, но ее анализ преемственности между консерватизмом, возникшим после Первой мировой войны, и консерватизмом Джорджа Буша-младшего может быть экстраполирован и на сегодняшнюю ситуацию.

103. Mattson, *Rebels All!*, 7, 15; Farber, *Rise and Fall of Modern American Conservatism*, 78; Donald T. Critchlow, *The Conservative Ascendancy: How the GOP Right Made Political History* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2007), 6–13; Tanenhaus, *Death of Conservatism*, 29, 32, 104, 109, 111, 114.

104. «Политическая философия правых, мобилизующая стратегия и привлекательность на низовом уровне не ограничиваются ее враждебностью к либерализму. У современного консерватизма есть собственная жизнь, история и логика». Lichtman, *White Protestant Nation*, 2. Иную точку зрения см. в: Lowndes, *New Deal to the New Right*, 3–5, 92–93, 160–162.

ют долгую историю, не противоречит утверждению о том, что современный консерватизм представляет собой реакционную политику. Такая длительная перспектива позволяет лучше распознать природу и динамику, а также крайне нетипичные и случайные черты таких ответных реакций консерватизма. И мы сможем осознать своеобразие современных правых, лишь рассматривая их на фоне предшественников.

В противовес трем данным предположениям, зацикленным на различии и специфике, я рассматриваю правых как единство, единое целое теории и практики, превосходящее все разделения, которые так часто подчеркиваются исследователями и знатоками¹⁰⁵. Для меня слова консерватор, реакционер и контрреволюционер равноценны: не все контрреволюционеры консерваторы — на ум сразу приходит Уолт Ростоу, — но все консерваторы, так или иначе, контрреволюционеры. Я усаживаю за один стол философов, политиков, рабовладельцев, графоманов, католиков, фашистов, евангелистов, бизнесменов, расистов и журналюг: Гоббса с Хайеком, Бёрка напротив Пэйлин, Ницше между Айн Рэнд и Антонином Скалиа, с Адамсом, Кэлхуном, Оукшоттом, Рональдом Рейганом, Токвилем, Теодором Рузвельтом, Маргарет Тэтчер, Эрнстом Юнгером, Карлом Шмиттом, Уинстоном Черчиллем, Филлис Шлафли, Ричардом Никсоном, Ирвингом Кристолом, Фрэнсисом Фукуямой и Джорджем Бушем-младшим вперемешку.

Все это не значит, что консерватизм неизменен во времени и пространстве. Если консерватизм есть специфическая реакция на специфическое освободительное движение, то вполне логично, что каждая реакция будет нести черты того движения, против которого она направлена. Как я показываю в главе 1, правые не только выступали против левых, но в ходе этой реакции они также неизменно заимствовали у левых. Таким образом по мере изменения левых движений — от Французской революции к отмене рабовладения, от всеобщего избирательного права к праву на создание профсоюзов, от Октябрьской революции до борьбы за свободу темнокожего населения и движения за права женщин — менялась и реакция правых.

105. Cp.: Zelizer, «Rethinking the History of American Conservatism», 371–374.

Кроме подобных, непредвиденных изменений мы можем заметить более длительные структурные изменения в воображении правых, а именно постепенное принятие факта выхода масс на политическую сцену. Начиная с Гоббса до рабовладельцев и неоконсерваторов, правые все больше осознавали, что любая успешная защита старого порядка требует привлечения низших классов, причем не только в качестве прислужников и благоговейных почитателей. Массы должны либо символически связывать себя с правящим классом, либо иметь реальную возможность самим стать псевдоаристократами в семье, на заводе и в поле. Первый путь обычно приводит к популизму, перевернутому с ног на голову, когда низы из низов узнают себя в самых высоких; второй — приводит к демократическому феодализму, в котором муж или начальник играет роль господина. Первый путь был проложен Гоббсом, де Местром и различными пророками расизма и национализма, второй — рабовладельцами Юга, европейскими империалистами, а также апологетами «позолоченного века». (А также поборниками Нового позолоченного века: «В Америке не существует элиты, — пишет Дэвид Брукс. — Каждый может быть аристократом на своем Олимпе»¹⁰⁶.) Иногда, как, например, в сочинениях Вернера Зомбарта, оба пути сходились: обычные люди начинали видеть себя в правящем классе благодаря принадлежности к великому народу и начинали управлять слабыми мира сего с помощью имперского правления.

Мы, немцы, тоже должны пройти сквозь современность тем же путем, с высоко поднятой головой, преисполненные уверенности в том, что мы — народ Божий. Так же, как орел, птица германцев, высоко парит над другими тварями на этой земле, так и немец должен стоять над другими народами, которые его окружают, и смотреть на них свысока.

Но у аристократии есть свои обязанности, что верно и здесь. Идея о том, что мы избранный народ, налагает на нас серьезные обязательства — и только обязательства. Прежде всего мы должны оставаться сильнейшим народом мира¹⁰⁷.

106. Цит. по: Mattson, *Rebels All*, 112.

107. *Handler und Helden. Patriotische Besinnungen, in Nazi Germany Sourcebook*, 36.

Хотя данные исторические различия правых и реальные, существует глубокое сходство, сближающее эти различия. Это родство невозможно заметить, фокусируясь на разногласиях по поводу политики или случайных заявлениях относительно той или иной практики (прав штатов, федерализма и т. д.); необходимо обратить внимание на основные аргументы, идиомы и метафоры, прозрения и метафизический пафос, сквозящие в каждом возражении и утверждении. Одни консерваторы критикуют свободный рынок, другие его защищают; одни противостоят государству, другие — принимают; одни верят в Бога, другие нет. Одни — локалисты, другие — националисты, а третьи — интернационалисты. Четвертые, как Бёрк, объединяют в себе всех троих предыдущих. Но это все лишь исторические — тактические и реальные — импровизации на тему. Только сопоставляя эти голоса — сквозь время и пространство — мы сможем различить основную тему посреди всех импровизаций.

Для многих представление о единстве правых будет наиболее спорным утверждением данной книги. Даже если мы продолжаем использовать термин «консервативный» в нашем повседневном общении (а политическая дискуссия без него и вовсе была бы невообразима); даже если консерватизм и в Европе, и в Соединенных Штатах смог более чем на век привлечь и удержать сплоченную коалицию традиционалистов, военных и капиталистов; даже если противостояние между правыми и левыми оказалось устойчивым «политическим отличительным признаком» современной эпохи (несмотря на попытки, практически каждого поколения, отвергнуть или преодолеть подобное противостояние с помощью «третьего пути»),¹⁰⁸ — многие продолжают считать, что различия в стане правых настолько велики, что о правых вообще невозможно хоть что-то сказать¹⁰⁹. Однако если о правых невозможно ничего сказать — ни определить, ни описать, ни объяснить, ни проанализировать или истол-

108. Noberto Bobbio, *Left & Right: The Significance of a Political Distinction* (Chicago: University of Chicago Press, 1996).

109. Muller, «Comprehending Conservatism», 359; Muller, *Conservatism*, 22–23; J. G. A. Pocock, introduction to *Burke, Reflections on the Revolution in France* (Indianapolis: Hackett, 1987), xlix.

ковать их как особое образование, — как же тогда мы можем утверждать, что они вообще существуют?

Надеясь избежать подобного радикального скептицизма, который бы сделал бессмысленной большую часть того, что творится в нашей политике, некоторые исследователи отступили к номиналистской позиции: консерваторы — это люди, которые называют себя консерваторами, или, более замысловато, консерваторы — это люди, которых люди, называющие себя консерваторами, называют консерваторами¹¹⁰. Здесь возникает лишь один вопрос — что эти люди, которые называют себя консерваторами или которых другие, называющие себя консерваторами, называют консерваторами — подразумевают под словом «консерваторы»? Почему они предпочли называть себя именно так, а не либералами, социалистами или, к примеру, муравьедами-трубказубами? Если только эти люди не думают, что речь идет о совершенно особых идентичностях — в этом случае мы вернулись бы к скептической позиции, — нам необходимо понять, что означает этот термин, независимо от его употребления. Как еще мы сможем понять, почему индивиды из разных мест и времен, занимая различные позиции по различным вопросам, называли себя и себе подобных консерваторами? Хотя не каждый читатель обязательно примет мое мнение о том, что объединяет правых, необходимым условием здравого обсуждения представляется наше согласие относительно того, что существует нечто под названием «правые» и что оно обладает неким набором черт, которые делают его правым.

Одиннадцать глав данной книги были отобраны из трудов целого десятилетия, посвященных правым. Одни главы первоначально выходили в виде объемных обзорных статей и рецензий в изданиях, вроде *The Nation* и *The London Review of Books*; другие представляют собой научные статьи, доклады или самостоятельные эссе. Я внес некоторые изменения в эти работы, учитывающие изменение или развитие моих взглядов. Иногда я убирал целые разделы, поскольку они

110. Nash, *Conservative Intellectual Movement*, xiv–xv.

уже не казались мне уместными или имеющими отношение к делу. Но в целом я попытался оставить все неизменным в надежде, что разнообразие подходов отразит исследуемое понятие правых как набор исторических импровизаций на неизменно актуальную тему.

Книга разделена на две части. Часть I открывается с общего утверждения касательно контрреволюционной сущности консервативной политики со времен Французской революции по сегодняшний день. Данная глава сфокусирована не столько на целях и намерениях контрреволюции, сколько на ее шагах и маневрах: как она порывает с самим защищаемым ею порядком и обращается к левым в попытке возродить правых. Я продвигаюсь в хронологическом порядке, от рассмотрения Томаса Гоббса и гражданской войны в Англии до заключительного анализа судьи Скалиа и его оригинализма. Попутно я обсуждаю Рэнд, Голдуотера, новых правых и консерваторов после окончания холодной войны. В части II рассматривается такой непростой предмет, как насилие в консерватизме. Хотя я начинаю этот раздел с краткой ретроспективы холодной войны в Латинской Америке и завершаю его более общими размышлениями о том, как правые, начиная с Бёрка, подходили к насилию, основное внимание в этих главах уделяется событиям прошедшего десятилетия: 11 сентября, война против терроризма, война в Ираке. Подобные события и неразбериха, которую они вызвали в стане консерваторов, больше чем что-либо другое побудили меня начать размышлять и писать о правых. Как я понял — и как это показано в главе II, — одержимость сегодняшних правых насилием вовсе не является отклонением от нормы; она — неотъемлемая часть самой традиции.

Часть I

Повествования о реакции

Глава 1.

Консерватизм и контрреволюция¹

Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем.

Фридрих Ницше. По ту сторону добра и зла

КОГДА Джон Маккейн объявил Сару Пэйлин кандидатом на пост вице-президента во время президентской кампании 2008 года, в стане консерваторов ощущалось удивление, даже шок. И дело было не просто в том, что Маккейн выбрал на эту роль новичка в политике, инженеру и непрофессионалу, несведущего в хитростях управления нижними 48² штатами, а в том, как он ее выбрал: практически без проверки, уверовав в превосходство интуиции и порыва (своего и ее) над разумом и рефлексией. Казалось, это было самым неконсервативным решением: импульсивным, необдуман-ным, неосторожным.

Однако едва ли впервые знаменосец консерватизма не сумел соответствовать представлениям консерваторов о самих себе. Весной 2003 года несколько консерваторов выразили обеспокоенность в связи с решимостью Джорджа Буша-младшего ввязаться в войну, которая по сути не была необходимой, неизбежной или вынужденной. Они также указали на либеральную основу одного из обоснований и оправданий войны в Ираке: распространение демократии и прав человека. И здесь снова складывается впечатление, что консервативный лидер действовал совершенно не консервативно, отбросив реализм своего отца и партии ради

1. Впервые опубликовано в: Corey Robin, «Conservatism and Counterrevolution», *Raritan* 30, no. 1 (Summer 2010), p. 1–17.

2. Нижние 48 — распространенное среди жителей штата Аляска название остальных континентальных штатов США — так называемых смежных штатов. — *Прим. перев.*

интернационализма, который долгое время считался отличительной особенностью левых, и развернув историческое наступление на статус-кво на Ближнем Востоке.

С тех пор как Эдмунд Бёрк изобрел идею консерватизма, консерватор преподносит себя как осмотрительного и умеренного человека, а свое дело как трезвое и отрезвляющее понимание границ. «Быть консерватором, — как мы слышали от Майкла Оукшотта во введении, — значит предпочитать знакомое неизведанному, опробованное неопробованному, факт загадке, действительное возможному, ограниченное безграничному, близкое далекому».³ Однако политические усилия, побудившие консерватора к самым глубоким раздумьям — и реакциям на Великую французскую и Октябрьскую революции; защите рабства и расовой сегрегации; атаке на социал-демократию и государство благоденствия; а также серии выпадов против «Нового курса», «Великого общества», гражданских прав, феминизма и прав геев — были чем угодно, только не этим. В Европе или Соединенных Штатах, в нынешнем столетии или в предыдущих консерватизм был поступательным движением неуклонных и непрестанных изменений, отличающимся идеологическим авантюризмом и готовностью идти на риск, воинственным по выправке и популистским по манерам, дружественным к парвеню и повстанцам, аутсайдерам и новичкам. Хотя консерватор-теоретик заявляет, что его традиция олицетворяет собой осторожность и умеренность, в действительности ей же присуща и не такая уж скрытая черта безрассудства и неумеренности — черта, которая, каким бы странным это ни казалось, и объединяет Сару Пэйлин с Эдмундом Бёрком.

Изучение данной глубинной черты консерватизма помогает нам яснее понять, в чем же заключается специфика консерватизма. Хотя консерватизм является идеологией реакции — изначально направленной против Французской революции, а затем против освободительных движений 1960-х и 1970-х — данная идеология еще не получила должного осмысления. Вовсе не являясь рефлексорной защитой

3. Michael Oakeshott, «On Being Conservative», in *Rationalism in Politics and Other Essays* (Indianapolis: Liberty Press, 1991), 408; Майкл Оукшотт. *Рационализм в политике*. М.: Идея-Пресс, 2002, с. 66.

неизменности старого порядка или созерцательным традиционализмом, реакционный императив заставляет идти консерватизм в двух довольно непохожих направлениях: во-первых, в направлении критики и перестройки старого порядка, а во-вторых, в направлении усвоения идей и тактики самой революции или реформы, против которой она выступает. С помощью перестройки старого и усвоения нового консерватизм стремится сделать привилегии доступными, преобразовать шаткий старый порядок в динамичное, идеологически связанное массовое движение. То есть в новый старый порядок, который привнесет энергию и динамику улицы в древние косные устои обветшалого хозяйства.

По мере того как сорокалетнее господство правых подходит к концу, пусть и судорожному, такие авторы, как Сэм Таненхауз, Эндрю Салливан, Джеффри Харт, Сидни Блюменталь и Джон Дин, заявляют, что консерватизм пришел в упадок, когда Пэйлин, Буш, Рейган, Голдуотер, Бакли или кто-то еще пустили все под откос. Они утверждают, что консерватизм изначально был ответственной дисциплиной правящих классов, но в какой-то момент — между Жозефом де Местром и Джо Водопроводчиком⁴ — все пошло не так. Он стал склонным к авантюрам, фанатичным, популистским и идеологизированным. Эта история упадка, независимо от того, рассказывают ли ее правые или левые, упускает из виду то, что все эти предполагаемые пороки современного консерватизма присутствовали в нем с самого начала, в сочинениях Бёрка и Местра, только вот они не рассматривались как пороки. Они воспринимались как добродетели. Консерватизм всегда был более необузданным и экстравагантным движением, чем думают многие, — и именно эта необузданность и экстравагантность была одним из источников его неизменной привлекательности.

В утверждении, что консерватизм возник как реакция на Французскую революцию, нет ничего провокативного.

4. Сэмюэль Джозеф Вурцелбахер, также известный как Водопроводчик Джо (англ. *Joe the Plumber*) — американский водопроводчик, который был использован в качестве представителя среднего класса в ходе избирательной кампании президентских выборов США в 2008 году.

Большинство исторически подкованных консерваторов согласились бы с этим⁵. Но если мы внимательнее посмотрим на два символических голоса данной реакции — Бёрка и Местра — мы найдем несколько удивительных и часто не замечаемых элементов. Первый — антипатия, граничащая с презрением, как раз к старому порядку, делу их жизни. Первые главы «Рассуждений о Франции» Местра представляют собой безжалостную атаку на три столпа старого режима: аристократию, церковь и монархию. Местр разделяет дворянство на две категории: изменников и невеж. Духовенство коррумпировано и ослаблено своим богатством и распущенностью. Монархия обмякла и утратила свою карающую волю. Местр отвергает все три строкой из Расина: «Итак, взирая на печальные плоды ваших заблуждений, Признайтесь в ударах, которые вы направляли»⁶.

В случае с Бёрком критика тоньше и глубже. (Хотя к концу жизни он говорил с той же категоричностью, что и Местр⁷.) Например, в своем описании штурма Версальского дворца и захвата королевской семьи из «Размышлений о революции во Франции» Бёрк выводит Марию-Антуанетту как «существо столь восхитительное... подобная утренней звезде, излучающая жизнь, счастье и радость». Бёрк преподносит ее красоту как символ очарования старого режима, в котором феодальные манеры и нравы «делали власть великодушной», а «повиновение добровольным, придавали

5. Russell Kirk, «Introduction», in *The Portable Conservative Reader*, ed. Russell Kirk (New York: Penguin, 1982), xi–xiv; Robert Nisbet, *Conservatism: Dream and Reality* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986); Peter Viereck, *Conservatism: From John Adams to Churchill* (Princeton, N.J.: D. Van Nostrand, 1956), 10–17.

6. Joseph de Maistre, *Considerations on France*, trans. and ed. Richard A. Lebrun (New York: Cambridge University Press, 1974, 1994), 10; Жозеф де Местр. *Рассуждения о Франции*. М.: РОССПЭН, 1997, с. 21. См. также критику старых порядков других европейских стран де Местром в: Jean-Louis Darcel, «The Roads of Exile, 1792–1817», and Darcel, «Joseph de Maistre and the House of Savoy: Some Aspects of his Career», in *Joseph de Maistre's Life, Thought, and Influence: Selected Studies*, ed. Richard A. Lebrun (Montreal: McGill-Queen's University Press, 2001), 16, 19–20, 52.

7. Edmund Burke, *Letter to a Noble Lord*, in *On Empire, Liberty, and Reform: Speeches and Letters*, ed. David Bromwich (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2000), 500–501; Burke, *Letters on a Regicide Peace* (Indianapolis: Liberty Fund, 1999), 69–70, 74–76, 106, 108–111, 158–160, 167, 184, 205, 218, 218, 222, 271, 304–305.

гармонию разнообразным жизненным оттенкам, внушали чувства, украшающие и смягчающие частную жизнь»⁸.

Со времени написания данных строк Бёрк подвергался осмеянию за свою сентиментальность. Но читатели более ранней работы Бёрка по эстетике «Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного» знают, что красота для Бёрка вовсе не показатель жизненной силы власти, но всегда признак упадка. Красота порождает удовольствие, которое вызывает равнодушие или ведет к полному растворению личности. «Красота действует тем, что расслабляет твердые части всего организма», — пишет Бёрк⁹. Именно это расслабление и растворение тел — физических, социальных, политических — делает красоту таким мощным символом и средством вырождения и смерти. «Наши наиболее почетные и прекрасные учреждения не производят ничего, кроме пыли и копоти»¹⁰.

Эти два исходных положения системы убеждений консерваторов, по сути, предполагают, что величайшим врагом старого порядка является не революционер и не реформатор, а сам старый режим или, точнее, защитники старого порядка¹¹. Им попросту недостает идеологических средств отстаивать дело порядка с необходимой энергией, ясностью и целеустремленностью. Как писал Бёрк о Джордже Гренвиле, хотя и совершенно в ином контексте британских отношений со своими американскими колониями:

Поистине можно сказать, что люди, прекрасно сведущие в своем деле, редко отличаются широким кругозором... дела людей, занимающихся привычными для них вещами, идут прекрасно, до тех пор пока все идет своим чередом; но когда проторенные дороги портятся, а воды выходят из берегов, когда открывается новая и беспокойная перспектива, а в ар-

8. Edmund Burke, *Reflections on the Revolution in France*, ed. J. C. D. Clark (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2001), 239; Эдмунд Бёрк. *Размышления о революции во Франции*. М.: Рудомино, 1993, с. 116.

9. Edmund Burke, *A Philosophical Enquiry into the Origins of Our Ideas of the Sublime and the Beautiful*, ed. David Womersley (New York: Penguin, 1998), 177; Эдмунд Бёрк. *Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного*. М.: Искусство, 1976, с. 172.

10. Burke, *Regicide Peace*, 75.

11. Хотя иногда это сам старый порядок. Ср.: Burke, *Regicide Peace*, 384–385.

хиве нет никаких прецедентов, тогда требуется гораздо большее знание человечества и куда более широкое понимание вещей, чем то, которое всегда давало или могло бы дать занятие привычным делом¹².

Позже консерваторы будут высказывать эту мысль по-разному. Иногда они будут обвинять защитников старого порядка в трусости перед революционным либо реформаторским вызовом. Согласно Томасу Дью, одному из самых ранних и агрессивных апологетов американского рабства, восстание под предводительством Нэта Тернера полностью разрушило «чувство безопасности и уверенности» у рабовладельческого класса. Они были настолько напуганы, что «едва не лишились рассудка». Напугали их не только проявления насилия со стороны рабов. Это было моральное обвинение, исходящее от рабов и аболиционистов, и оно так или иначе проникало в умы рабовладельцев, лишая их уверенности в своем положении. «Мы сами, — писал Уильям Харпер, еще один защитник рабства, — до известной степени должны признать себя виновными в сомнениях и нерешительности»¹³.

Более чем через сто лет Барри Голдуотер обратился к той же теме. В первом же абзаце «Совести консерватора» он обрушивается не на либералов или демократов или даже на государство благоденствия, а на моральную робость тех, кого позднее назовут «республиканским истеблишментом».

12. Edmund Burke, «Speech on American Taxation» (April 19, 1774), in *Selected Works of Edmund Burke*, vol. 1 (Indianapolis: Liberty Fund, 1999), 186; см. также: Burke, *Regicide Peace*, 69–70, 154–155, 184–185, 304–306, 384–385. Эта критика вступает в противоречие с берковским превозношением аристократа как дальновидной личности; в этих текстах Бёрк утверждает, что дальновидность делает людей слепыми по отношению к проблемам, с которыми они сталкиваются. См. об этом: Burke, *On Empire, Liberty, and Reform*, 466.

13. Thomas Roderick Dew, *Abolition of Negro Slavery*, and William Harper, *Memoir on Slavery*, in *The Ideology of Slavery: Proslavery Thought in the Antebellum South, 1830–1860*, ed. Drew Gilpin Faust (Baton Rouge: Louisiana State Press, 1981), 25, 123. См. также: John C. Calhoun, «Speech on the Force Bill», «Speech on the Reception of Abolitionist Petitions», «Speech on the Oregon Bill», in *Union and Liberty: The Political Philosophy of John C. Calhoun*, ed. Ross M. Lence (Indianapolis: Liberty Fund, 1992), 426, 465, 475, 562; Manisha Sinha, *The Counterrevolution of Slavery: Politics and Ideology in Antebellum South Carolina* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2000), 33–93.

Я серьезно обеспокоен тем, что сегодня так много людей с консервативными взглядами чувствует, как будто они должны извиняться за это. Или если и не извиняться, то отстаивать свои взгляды чуть ли не битьем в грудь. «Республиканские кандидаты, — сказал вице-президент Никсон, — должны быть консерваторами в экономике, но консерваторами с сердцем». Президент Эйзенхауэр объявил во время своего первого президентского срока, «я консерватор, когда речь идет об экономических проблемах, но либерал, когда идет речь о проблемах человека». Подобные формулировки равносильны признанию того, что консерватизм — ограниченная механистическая экономическая теория, которая может прекрасно выполнять функцию бухгалтерского справочника, но не может служить полноценной политической философией¹⁴.

Чаще всего консерваторы утверждают, что защитник старого режима попросту тупоголов. Он обленился, растолстел, стал самодовольным и настолько поглощенным привилегиями своего положения, что не способен увидеть надвигающуюся катастрофу. Или если он и видит ее, то ничего не может сделать для ее отращения, поскольку его политические мускулы уже давно атрофировались. Джон С. Кэлхун одно время был таким консерватором, и на протяжении 1830-х годов, когда аболиционисты начали укреплять свои позиции, он приходил в бешенство из-за беспечности и непроходимой тупости своих сотоварищей с плантациями. Его ярость достигла пика в 1837 году, когда в сенатской речи он призвал Конгресс не принимать аболиционистскую петицию, — и это был момент, который, как мы видели во введении, он помнил до конца жизни. «Все, что нам нужно — это согласованность, — убеждал он своих собратьев-южан, — объединение усердия и энергии при отражении нависших угроз». Но, продолжал он, «я не смею надеяться, что хоть что-то из того, что я скажу, пробудит в Юге должное чувство опасности. Боюсь, голос смертного неспособен пробудить их вовремя от опасного самодовольства, в которое они погрузились».¹⁵

В своем знаменитом эссе Оукшотт утверждал, что консерватизм «не кредо и не доктрина, а склад ума». В особен-

14. Barry Goldwater, *The Conscience of a Conservative* (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1960, 2007), 1.

15. Calhoun, «Speech on the Reception of Abolitionist Petitions», 476.

ности, как он думал, такой склад ума, который позволяет наслаждаться настоящим. Не потому что настоящее лучше, чем альтернативы, или даже потому, что оно хорошо само по себе. Это потребовало бы определенного уровня осознанной рефлексии и идеологического выбора, которые, как полагает Оукшотт, консерватору неведомы. Нет, причина того, что консерватор радуется настоящему, состоит всего-навсего в том, что оно ему знакомо, оно уже здесь, под рукой.¹⁶

Представление Оукшотта о консерваторах (а оно широко разделяется как левыми, так и правыми) свидетельствует не о пронципальности, а скорее, о самодовольстве. Он упустил тот факт, что консерватизм неизменно реагировал на угрозу старому режиму, иначе старый режим был бы уничтожен. (Оукшотт открыто признает, что потери или риск потери заставляет нас ценить настоящее, как уже упоминалось во введении, но эта мысль никак не влияет и не меняет его общее понимание консерватизма). Оукшотт описывает старый порядок как удобное кресло, в котором его смертность — лишь отдаленное понятие, а время — разогревающее средство, а не едкий растворитель. Это старый порядок Шарля Луазо, писавшего почти за два столетия до Французской революции, что у дворянства нет начала и, значит, конца. Оно «существует с незапамятных времен», без понимания и осознания хода истории.¹⁷

Консерватизм появляется на сцене именно тогда — и именно потому, — когда подобные заявления больше невозможны. Уолтер Бернс, один из множества будущих неоконсерваторов в Корнеллском университете, глубоко потрясенных поведением чернокожих студентов в 1969 году, уходя в отставку, заявил в своей прощальной речи: «У нас был слишком хороший мир; долго он продержаться не мог».¹⁸ Ничто так не портит идиллию преемственности, как внезапная и часто brutальная замена одного мира другим. Оказавшись свидетелем смерти того, что должно было

16. Oakeshott, «On Being Conservative», 407–408; Оукшотт. *Рационализм в политике*, с. 65.

17. Charles Loyseau, *A Treatise of Orders and Plain Dignities*, ed. Howell A. Lloyd (New York: Cambridge University Press, 1994), 75.

18. Цит. по: Anne Norton, *Leo Strauss and the Politics of American Empire* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2004), 49.

жить вечно, консерваторы более не смотрели на время как на естественного союзника или среду обитания власти. Теперь время стало врагом. Изменение, непостоянство стало вселенским правителем, при этом не означая ни прогресса, ни улучшения, но смерть, причем смерть преждевременную и неестественную. «Констатация насильственной смерти, — говорит Местр, — написана на самых границах жизни»¹⁹. Проблема с защитником старого режима, говорит консерватор, в том, что он не знает этой правды, или, если знает, ему недостает воли что-либо изменить.

Второй элемент, который мы находим в этих ранних голосах реакции, — это поразительное восхищение той самой революцией, против которой они выступают. Самые восторженные комментарии Местра обращены к якобинцам, чьим грубой воле и склонности к насилию — их «черной магии» — он явно завидует. У революционеров есть вера в их дело и в самих себя, и это превращает движения посредственностей в самую неумолимую силу, которую когда-либо видела Европа. Благодаря их усилиям Франция была очищена и восстановлена в своем по справедливости высоком положении среди семьи народов. «Революционное правительство, — заключает Местр, — закаливало душу французов в крови».²⁰

И снова Бёрк оказывается куда тоньше и глубже де Местра. Большая сила, предполагает он в «Философском исследовании о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного» никогда не должна стремиться быть — и, собственно, никогда и не может быть — красивой. Великая власть нуждается в возвышенности. Возвышенное — это ощущение, которое мы испытываем перед лицом чрезвычайной боли, опасности или кошмара. Это нечто вроде благоговения, но с оттенками страха и трепета. Бёрк называет это «восторженным ужасом».

19. Joseph de Maistre, *St. Petersburg Dialogues or Conversations on the Temporal Government of Providence*, trans. and ed. Richard A. Lebrun (Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press, 1993), 216.

20. Maistre, *Considerations*, 16–17; де Местр, *Рассуждения*, с. 31. См. также: Jean-Louis Darcel, «The Apprentice Years of a Counter-Revolutionary: Joseph de Maistre in Lausanne, 1793–1797», in *Joseph de Maistre's Life, Thought, and Influence*, 43–44.

Большая сила должна стремиться к возвышенности, а не красоте, поскольку возвышенное пробуждает «самую сильную эмоцию, которую душа способна испытывать». Это захватывающая и одновременно воодушевляющая эмоция, которая обладает одновременным, но противоречивым эффектом нашего умаления и возвеличивания. Мы чувствуем себя подавленными великой силой; в то же время наше ощущение себя «расширяется», когда «мы сталкиваемся с предметами, внушающими ужас или подобие ужаса». Большая сила достигает возвышенного, когда она, среди прочего, непонятна и таинственна, и тогда, когда мы наблюдаем ее крайние проявления. «Возвышенное, — пишет Бёрк, — во всем ненавидит посредственность»²¹.

В «Размышлениях» Бёрк предполагает, что проблема Франции в том, что старый режим красив, тогда как революция возвышенна. Землевладельческие круги — краеугольный камень старого режима — «ленивы, инертны и застенчивы». Они не могут защитить себя «от вторжения способности», способности, представляющей новых людей у власти, которых порожидала революция. Повсюду в «Размышлениях» Бёрк говорит, что финансовые круги, капитал в союзе с революцией оказываются сильнее аристократии, поскольку они «более способны к риску» и «более расположены к любому рода новым предприятиям». Иными словами, старый порядок красив, статичен и слаб; революция страшна, динамична и сильна. А в ужасах, творимых революцией — когда толпа врывается в спальню королевы, вытаскивает ее полураздетой на улицу, а затем ведет ее и ее семью в Париж, — революция достигает своего рода возвышенности: «Тревога погружает нас в размышления, — пишет Бёрк о действиях революционеров. — Наши души проходят через очищение ужасом и состраданием, наша слабая и тщетная гордость смиряется перед правосудием высшей мудрости»²².

На деле за подобными простыми выражениями зависти и восхищения консерватор старательно копирует и учится от революции, против которой он выступает. «Чтобы уни-

21. Burke, *Sublime and the Beautiful*, 86, 96, 121, 165. Бёрк. *Философское исследование о происхождении наших чувств возвышенного и прекрасного*, с. 72, 110, 159.

22. Burke, *Reflections*, 207, 243, 275; Бёрк. *Размышления*, с. 160, 172, 190. См. также: Burke, *Regicide Peace*, 66, 70, 107, 157, 207, 222.

чтожить этого врага тем или иным способом, — писал о якобинцах Бёрк, — противостоящая ему сила должна иметь некую аналогию и сходство с силой и духом, которые обнаруживает эта система».²³ Это один из самых интересных и наименее понятых аспектов консервативной идеологии. Хотя консерваторы враждебны целям левых, в особенности расширению полномочий низших слоев и классов, зачастую они оказываются лучшими учениками левых. Иногда их обучение носит вполне осознанный и стратегический характер, поскольку они ищут у левых способы использования нового языка или новых средств коммуникации для достижения своих целей, внезапно утративших свою легитимность. Опасаясь того, что философы овладели контролем над общественным мнением Франции, реакционные теологи в середине XVIII века обратились к примеру своих врагов. Они перестали писать невразумительные опусы друг для друга и занялись католическим агитпропом, который должен был распространяться через те же самые сообщества, которые несли французскому народу Просвещение. Они тратили огромные суммы, субсидируя конкурсы эссе, вроде тех, благодаря которым стал известен Руссо, для вручения премий писателям, написавшим общедоступные и популярные сочинения в защиту религии. Предыдущие трактаты, как заявлял Шарль-Луи Ришар, были «бесполезны для большинства, которое, не имея оружия и средств защиты, быстро сдалось „Философии“». Его же труд, напротив, был написан «с намерением дать в руки тем, кто умеет читать, победоносное оружие против нападков этой непокорной „Философии“».²⁴

Имеются и более свежие примеры. Так, основоположники «Южной стратегии» из администрации Никсона, поняли, что после революции освободительных движений 1960-х они уже не могут просто апеллировать к белому расизму. Отныне им приходилось говорить кодированным языком, желательно согласующимся с распространением «цветовой слепоты» в расовых отношениях. Как глава аппарата Белого дома Г. Р. Хальдеман замечает в своем дневнике, Ник-

23. Burke, *Regicide Peace*, 184.

24. Darrin M. McMahon, *Enemies of the Enlightenment: The French Counter-Enlightenment and the Making of Modernity* (New York: Oxford University Press, 2001), 27–28.

сон «подчеркивал, что вам приходится столкнуться с фактом, что вся проблема на самом деле заключается в черных. Главное — разработать систему, которая бы признавала это обстоятельство, не указывая на него».²⁵ Вспоминая данную стратегию 1981 года, республиканский стратег Ли Этуотер сформулировал ее элементы яснее:

Сначала, в 1954 году, вы говорите «Нигер, нигер, нигер». К 1968 году вы уже не можете говорить «нигер» — чем вы раздосадованы. Ваш ход. И вы говорите про принудительную перевозку школьников в целях расовой интеграции, права штатов и все такое. Вы уходите в такую абстракцию, что говорите о сокращении налогов, и все выглядит так, будто речь идет о чисто экономических вещах, а в результате всего этого черным станет хуже, чем белым. И, возможно, подсознательно, все дело в этом.²⁶

Совсем недавно Дэвид Хоровиц вдохновил студентов-консерваторов «использовать язык, который левые так эффективно применяли в своих собственных интересах. Радикальные профессора создали „враждебную учебную обстановку“ для консервативных студентов. Ощущается нехватка „интеллектуального разнообразия“ на факультетах и в университетских аудиториях. Консервативная точка зрения „недостаточно представлена“ в учебных планах и списках рекомендуемой литературы. Университет должен быть „свободным от дискриминации“ и интеллектуально „разнообразным“ сообществом».²⁷

Порой образование консерватора носит неосознанный характер и проходит, так сказать, украдкой. Сопrotивляясь и вступая таким образом днем за днем в полемику с прогрессивными идеями, в результате он подвергается, часто вопреки самому себе, влиянию того самого движения, ко-

25. Цит. по: Robert Perkinson, *Texas Tough: The Rise of America's Prison Empire* (New York: Metropolitan, 2009), 297.

26. Alexander P. Lamis, «The Two-Party South: From the 1960s to the 1990s», in *Southern Politics in the 1990s*, ed. Alexander P. Lamis (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1990), 8.

27. David Horowitz, «The Campus Blacklist», *FrontPage* (April 18, 2003), <http://www.studentsforacademicfreedom.org/essays/blacklist.html>, accessed March 24, 2011.

тому противостоит. Намереваясь подчинить язык своей воле, он обнаруживает, что сам зависит от этого языка. Артуотер утверждает, что именно это произошло в рамках Республиканской партии; предположив, что «подсознательно, все дело в этом», он добавляет:

Я не то имел в виду. Я хочу сказать, что если все становится таким абстрактным и таким зашифрованным, то мы так или иначе избегаемся от расовой проблемы. Понимаете, ведь очевидно, что говорить: «Мы хотим урезать это», — вещь гораздо более абстрактная, чем даже эта проблема перевозок школьников, и еще более абстрактная, чем разговоры о «нигерах».²⁸

Республиканцы научились маскировать свои намерения настолько хорошо, как утверждает Артуотер, что маскировка проникла в сами эти намерения и трансформировала их. Считая, что такая трансформация действительно случилась, мы можем спросить, прекратил ли консерватор быть тем, чем собирался. Но этот вопрос мы пока оставим.

Даже не вступая напрямую в полемику с прогрессивными идеями, консерваторы могут усвоить, посредством своего рода незаметной диффузии (осмозирования), важнейшие категории и идиомы левых, даже когда последние идут вразрез с их официальной позицией. Например, после многих лет противостояния женскому движению Филлис Шлафли, похоже, оказалась совершенно не способна возродить дофеминистский взгляд на женщин как уважаемых жен и матерей. Вместо этого она прославляла активистскую «силу позитивной женщины». И тогда, будто цитируя «Загадку женственности»²⁹, она ополчилась против бесцельности и недостаточной самореализации среди американских женщин; только винила она в этих болезнях феминизм, а не сексизм.³⁰ Когда она выступала против Поправки о равных правах, она не утверждала, что та открывает ради-

28. Цит. по: Lamis, «Two-Party South», 8.

29. «Загадка женственности» (1963) — книга американской феминистки Бетти Фридан, которая положила начало второй волны феминизма в США. См. рус. пер.: Бетти Фридан. *Загадка женственности*. М.: Прогресс, Литера, 1994. — *Прим. ред.*

30. Phyllis Schlafly, *The Power of the Positive Woman* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1977), 7–8.

кально новый язык прав. Она утверждала нечто противоположное. Поправка о равных правах, объясняла она в своем интервью в *Washington Star*, представляет собой «отъем прав женщин». Она «отнимет права жены в действующем браке, хозяйки дома».³¹ Шлафли явно использовала язык прав таким образом, что он был направлен против целей феминистского движения; она использовала рассуждения о правах, чтобы вернуть женщин в дом, сохранить их статус жен и матерей. Но в этом и состоит суть: консерватизм приспосабливает и принимает, часто бессознательно, язык демократических реформ, отстаивая при этом иерархию.

Легко заметить и определенную сексуальную откровенность — и даже феминистскую проблематику — в ранних беседах правых христиан, которая казалась немыслимой до эпохи женских движений. В 1976 году Беверли и Тим Лахэй написали книгу «Тайны супружеского ложа»³², которую Сьюзан Фалуди справедливо назвала «евангелическим эквивалентом „Радости секса“».³³ Там авторы утверждают, что «многие женщины слишком пассивны в любовных играх». Бог, говорили они женской аудитории «поместил [ваш клитор] для вашего наслаждения». Они также жаловались, что «некоторые мужчины не освободились еще от пережитков средневековья, подобно тому мужу, который сказал своей разочарованной жене: „Порядочным женщинам оргазм ни к чему“. Но современную женщину этим не проведешь».³⁴

Главное, чему учится консерватор у своих оппонентов, вольно или невольно, — это силе политической деятельности и могуществу масс. Из болезненного опыта революции кон-

31. «Interview with Phyllis Schlafly», *Washington Star* (January 18, 1976), in *The Rise of Conservatism in America, 1945–2000: A Brief History with Documents*, ed. Ronald Story and Bruce Laurie (Boston: Bedford/St. Martin's, 2008), 104.

32. См. рус. изд.: Тим Лахай, Беверли Лахай. *Тайны супружеского ложа*. СПб.: Мирт, 2002.

33. «Радость секса» (1972) — иллюстрированное руководство по сексуальным отношениям, ставшее бестселлером в США в 1970-х и сыгравшее важную роль в «сексуальной революции». См. рус. изд.: Алекс Комфорт. *Радость секса*. М.: Эксмо, 2006.

34. Цит. по: Susan Faludi, *Backlash: The Undeclared War against American Women* (New York: Doubleday, 1991), 251.

серваторы научились тому, что люди — с помощью целенаправленного применения силы или других проявлений человеческой деятельности — могут упорядочивать общественные отношения и политическое время. В любом социальном движении или революционной ситуации реформаторы и радикалы должны изобретать — или вновь открывать — идею о том, что неравенство и социальная иерархия не являются естественными феноменами, а созданы человеком. Если иерархия может создаваться людьми, она может быть ими и разрушена, и именно к этому обычно стремятся общественные движения или революции. Отсюда консерваторы извлекают свой вариант того же урока. Если их предшественники при старом порядке считали неравенство естественным феноменом, наследием, передававшимся из поколения в поколение, то столкновение же с революцией учит консерваторов тому, что революционеры в конце концов были правы: неравенство создается человеком. И если оно может быть устранено людьми, людьми же оно может быть воссоздано.

«Граждане! — восклицает де Местр в конце „Рассуждений о Франции“. — Вот как происходят контрреволюции»³⁵. При старом режиме монархия — как и патриархат или расовая сегрегация — не является творением рук человеческих. Она просто есть. Было бы трудно вообразить Луазо или Боссюэ, заявляющих: «Люди, вот кто создает монархию!» Но как только старый порядок оказывается под угрозой свержения или уже свергнут, консерватору приходится признать, что именно деятельность человека, осознанное применение интеллекта и воображения в этом мире порождает и поддерживает неравенство с течением времени. После такого столкновения с революцией консерватор начинает выступать с высказываниями, подобными тому, которое можно встретить в передовице 1957 года *National Review* Уильяма Ф. Бакли: «Главный вопрос, возникающий» в результате движения за гражданские права «заключается в том, имеет ли право белое сообщество на Юге принимать меры, которые необходимы для того, чтобы обеспечить политическое и культурное господство в тех местностях, где оно не преобладает в численном отношении? Отрезвляющим ответом бу-

35. Maistre, *Considerations*, 79; де Местр. *Рассуждения о Франции*, с. 132.

дет решительное „да!“ — белое сообщество имеет на это право, поскольку на данный момент оно — развитая раса». ³⁶

Революционер объявляет год первый, а консерватор в ответ — минус первый. Благодаря революции консерватор развивает особое отношение к политическому времени, веру в способность людей творить историю, направлять ее вперед или назад; и вследствие этого будущее становится его любимым временем. Рональд Рейган, неоднократно повторявший изречение Томаса Пейна о том, что «в наших же собственных силах начать мир сначала», служит идеальной иллюстрацией сущности данного феномена. ³⁷ Даже когда консерватор стремится сохранить настоящее, оказавшееся под угрозой, или восстановить утраченное прошлое, ему — в силу своего собственного стремления к действию — приходится признать, что он — новатор и творец будущего.

Бёрк особенно хорошо понимал это и беспрестанно напоминал своим соратникам в борьбе с революцией, что все, что будет воссоздано во Франции после реставрации, неизбежно, как он пишет в письме одному эмигранту, «будет в определенной мере чем-то новым». ³⁸ Другие консерваторы были еще более прямолинейны, радостно рассуждая о достоинствах политической креативности и нравственной новизны. Александр Стивенс, вице-президент Конфедерации Соединенных Штатов Америки гордо заявлял, что «наше новое правительство — первое в мировой истории», основанное на «великой физической, философской и нравственной истине», выражавшейся в том, что «негр не равен белому человеку; что рабство — подчинение высшей расе — его естественное и нормальное состояние». ³⁹ Барри Голдуотер сказал просто: «Наше будущее, как и наше прошлое, будет таким, каким мы его сделаем». ⁴⁰

36. «Why the South Must Prevail», *National Review* (August 24, 1957), in *Rise of Conservatism in America*, 53.

37. Gary Wills, *Reagan's America* (New York: Penguin, 1988), 355.

38. Цит. по: J. C. D. Clark, introduction to Burke, *Reflections*, 104.

39. Alexander Stephens, «The Cornerstone Speech», in *Defending Slavery: Proslavery Thought in the Old South*, ed. Paul Finkelman (Boston: Bedford/St. Martin's, 2003), 91.

40. Goldwater, *Conscience of a Conservative*, 70.

Благодаря революциям консерваторы также приобрели вкус и талант к использованию широких масс, мобилизуя улицу для впечатляющих демонстраций силы, но никогда не делясь и не перераспределяя определенную власть. В этом и состоит задача правого популизма: обращаться к массам, не подрывая власти элит, или, точнее, использовать энергию масс для укрепления или восстановления власти элит. Во-все не будучи недавним нововведением христианских правых или «движения чаепития», реакционный популизм изначально пронизывает консервативный дискурс.

Местр был основоположником в театре власти масс, рисуя картины и инсценируя спектакли, в которых низы могли бы увидеть свое отражение в высочайших. «Ни один добросовестный человек не сможет меня опровергнуть, — пишет он, — монархия есть правление, которое одним только замещением мест и независимо от знатности отличает самое большое число людей из остальных их сограждан». Обычные люди «получают свою долю» ее «великолепия» и сияния, хотя и не, как осмотрительно добавляет Местр, в ее решениях и обсуждениях: «человек отличается не как *уполномоченное лицо*, а как *частичка* суверена». ⁴¹ Каким бы ярким монархистом ни был Местр, он понимал, что король никогда не смог бы вернуть себе власть, если бы в нем не было ничего плебейского. Так что когда Местр воображает триумф контрреволюции, он старательно подчеркивает популистские заслуги возвращающегося монарха. Народ должен отождествлять себя с этим новым королем, говорит Местр, потому что, как и народ, он прошел «ужасную школу несчастий» и перенес страдания в «суровой школе испытаний». Он — «человек», причем под человечностью понимается здесь практически прозаичная и утешительная способность совершать ошибки. Он будет таким, как они. В отличие от своих предшественников он будет знать об этом, а это «уже многого стоит». ⁴²

Но для того, чтобы полностью оценить изобретательность правого популизма, нам необходимо обратиться к господствующему классу Старого Юга. Рабовладелец создал образцовую форму демократического феодализма, превратив бе-

41. Maistre, *Considerations*, 89; де Местр. *Рассуждения о Франции*, с. 145.

42. *Ibid.*, 69, 74; Там же, с. 115, 123.

лое большинство в класс господ, объединенных привилегиями и прерогативами управления классом рабов. Хотя члены такого правящего класса знали, что они не равны друг другу, в качестве компенсации у них была иллюзия превосходства — и реальность правления — над чернокожим населением.

Одна из школ мысли — назовем ее школой равных возможностей — увязывала демократические послы рабовладения с тем, что оно делало доступным личное господство для каждого белого человека. Гений рабовладельцев, писал Дэниел Хандли в своих «Социальных взаимоотношениях в наших южных штатах», состоит в том, что они «не привилегированная аристократия. Каждый свободный человек во всем Союзе имеет равное право стать олигархом». Это не было лишь пропагандой: к 1860 году на Юге существовало 400 000 рабовладельцев, что делало американский класс господ одним из самых демократичных в мире. Рабовладельцы постоянно пытались провести законы, побуждавшие белых владеть хотя бы одним рабом, и даже рассматривали возможность предоставления налоговых льгот для облегчения подобного владения. Следуя их логике, по словам одного фермера из Теннесси, «в ту минуту, когда обычных фермеров лишат права покупать негра или негрятянку... он сделается аболиционистом».⁴³

Эта школа мысли полемизировала со второй, возможно, более влиятельной школой. Согласно данной традиции мышления, американское рабовладение было демократичным не потому, что оно предлагало возможность личного владения белым людям, а потому, что оно делало каждого белого человека, независимо от того, был рабовладельцем он или нет, членом правящего класса на основании цвета его кожи. По словам Кэлхуна: «В наше время двумя крупнейшими частями общества являются не богатые и бедные, а белые и черные; причем все первые, бедные, как и богатые, принадлежат высшему классу, их уважают и к ним относятся как к равным»⁴⁴. Или, как сказал его юный коллега Джеймс Генри Хаммонд, «в стране рабов каждый свобод-

43. James Oakes, *The Ruling Race: A History of American Slaveholders* (New York: Vintage, 1982), 37, 42, 141-143, 230-232.

44. Calhoun, «Speech on the Oregon Bill», 564.

ный — аристократ». ⁴⁵ Даже без рабов или материальных предпосылок свободы бедный белый мог причислить себя к знати, и потому можно было рассчитывать, что он примет все необходимые меры для ее защиты.

Какую бы из этих двух школ они ни поддерживали, представители класса рабовладельцев считали демократический феодализм мощным противовесом эгалитаристским движениям, будоражившим тогда Европу и джексоновскую Америку. Европейские радикалы, заявлял Дью, «желают, чтобы все человечество было приведено к одному общему знаменателю. Мы полагаем, что рабовладение в Соединенных Штатах уже это сделало». Освобождая белых от «низкой и черной работы», рабство ликвидировало «величайшую причину разграничения и разделения общественных слоев» ⁴⁶. Так как правящие классы XIX столетия постоянно сталкивались с вызовами их власти, класс рабовладельцев предлагал расовое превосходство как способ использования энергии белых народных масс для поддержки, а не для противостояния привилегиям и власти истеблишмента. Данная программа найдет свое логическое завершение столетием позже и на другом континенте.

Подобные популистские течения могут помочь нам понять последний элемент консерватизма. С самого начала консерватизм апеллировал к аутсайдерам и опирался на них. Местр родом из Савойи, Бёрк из Ирландии. Александр Гамильтон был внебрачным ребенком, родившимся на острове Невис, и по слухам, среди его предков были чернокожие. Дизраэли был евреем, как и многие неоконсерваторы, помогавшие трансформировать Республиканскую партию из коктейльной вечеринки в Дарьене в партию Скалиа, д'Соузы, Гонсалеса и Йо. (Ирвинг Кристол первым назвал «исторической задачей и политической целью неоконсерватизма» обращение «Республиканской партии и американского консерватизма в целом, вопреки их воле, к новому типу

45. Цит. по: Peter Kolchin, *American Slavery 1619–1877* (New York: Hill and Wang, 1993, 2003), 195.

46. Dew, *Abolition of Negro Slavery*, 66–67.

консервативной политики, подходящей для управления современной демократией»⁴⁷.) Алан Блум был евреем и гомосексуалистом. И, как нам неустанно напоминала во время президентской кампании 2008 года Сара Пэйлин, она была женщиной в мире мужчин, аляскинкой, сказавшей «нет» Вашингтону (хотя на самом деле ничего такого она не делала), ярким и независимым политиком, выступавшим в паре с еще одним ярким и независимым политиком.

Консерватизм не только зависел от аутсайдеров; он также сам считал себя голосом аутсайдеров. С плача Бёрка о том, что «галерка заняла место дома», до жалобы Бакли о том, что современный консерватор оказался «не у дел», консерватор служил трибуной для ненашедших себе место, а само движение — своего рода каналом для их недовольства.⁴⁸ Отнюдь не являясь изобретением политической корректности, положение жертвы было постоянным предметом обсуждения правых начиная с тех пор, как Бёрк оплакал обращение толпы с Марией-Антуанеттой. Консерватор, конечно же, говорит об особом типе жертвы: той, что потеряла нечто ценное, в отличие от обездоленных, сетовавших прежде всего на то, что у них никогда ничего и не было. В число сторонников консерватизма входят те, кто в силу обстоятельств столкнулись с лишениями, «забытые люди» Уильяма Грэма Самнера, а не жестоко угнетаемые. Совсем не делая его менее привлекательным, эта печать жертвы придает жалобам консерватора универсальное значение. Она объединяет его насильственное лишение наследства с известным всем нам опытом — утратой — и сплетает нити этого опыта в идеологию, обещающую, что эта утрата, или по крайней мере какая-то ее часть, может быть восполнена.

Сторонники левых часто не понимают этого, но консерватизм действительно обращается к народу и выступает за тех, кто чего-то лишился. Это может быть поместье или привилегия белой кожи, непререкаемый авторитет мужа или неограниченные права фабриканта. Утрата может быть материаль-

47. Цит. по: Jacob Heilbrunn, *They Knew They Were Right: The Rise of the Neocons* (New York: Random House, 2008), 6.

48. Burke, *Reflections*, 229; Бёрк. *Размышления*, с. 157; William F. Buckley Jr., «Publisher's Statement on Founding *National Review*», *National Review* (November 19, 1955), in *Rise of Conservatism in America*, 50.

ной, как деньги, или нематериальной, как чувство собственного превосходства. Это может быть утратой чего-то, что никогда и не было законной собственностью; и она может быть очень незначительной по сравнению с тем, что у консерватора осталось. Так или иначе, это утрата, и ничто так не ценится, как то, чего мы лишились. Одним из главных достоинств левых было то, что только они понимали, что политика зачастую оказывается игрой с нулевой суммой, когда выигрыш одного класса неизбежно означает проигрыш другого. Но по мере того, как такое понимание конфликта у левых постепенно отходит на второй план, правые получают возможность напомнить избирателям, что в политике всегда есть проигравшие, но что они — и только они (консерваторы) — отстаивают их интересы. «Весь консерватизм начинается с утраты», как справедливо заметил Эндрю Салливан, что делает из консерватизма не Партию порядка, как утверждали Милль и другие, но партию проигравших.⁴⁹

Главной целью проигравших не является — и, собственно, не может являться — сохранение или защита. Их целью возрождение и восстановление. И это, я полагаю, один из секретов успеха консерватизма. При всем его страхе перед народом и идеологической помпезности, при всех его призывах к триумфу и воле, движению и мобилизации консерватизм может быть и совершенно прозаичным. Поскольку его утраты еще свежи — правые агитируют против реформ в реальном времени, а не спустя тысячи лет после их совершения, — консерватор может смело говорить своим сторонникам, а в сущности, и всему государству, что его цели практичны и достижимы. Он просто стремится вернуть назад свое, и факт, что он однажды владел этим — на деле, вероятно, в течение какого-то времени, — означает, что он может снова вступить во владение этим. «Это не старая структура», заявлял Бёрк о якобинской Франции, но «недавно прошедшее зло».⁵⁰ В то время как программа перераспределения левых поднимает вопрос о том, действительно ли те, кому она выгодна, готовы воспользоваться возможностью

49. Andrew Sullivan, *The Conservative Soul: Fundamentalism, Freedom, and the Future of the Right* (New York: Harper Perennial, 2006), 9.

50. Burke, *Regicide Peace*, 138.

ми, которые они стремятся получить, консервативный проект реставрации с такой проблемой не сталкивается. В отличие от реформатора или даже революционера, который имеет дело с практически невозможной задачей наделения властью безвластных — то есть превращения людей из того, чем они являются, в то, чем они не являются, — консерватор просто просит своих сторонников делать больше того, что они всегда и делали (хотя, конечно, лучше и иначе). В итоге его контрреволюция не потребует тех разрушений, которые принесла стране революция. «Может быть, четыре или пять человек, — пишет Местр, — дадут Франции короля».⁵¹

Для кого-то, а возможно и для многих, в консервативном движении подобное знание становится источником утешения: их жертва будет невелика в сравнении с наградой. Для других оно станет источником горького разочарования. Для данной подгруппы активистов и борцов борьба — это все. Для них узнать, что вскоре все закончится и новых жертв не потребуется, — достаточно, чтобы вызвать комплекс отчаяния: раздражение от ничтожности их усилий, скорбь от исчезновения их врага, тоску от преждевременной отставки, в которую их отправили.

Как сетовал Ирвинг Кристал после окончания холодной войны, поражение Советского Союза и левых в целом «лишило» консерваторов, как и его самого, «врага», а «в политике оказаться без врага — крайне серьезное дело. Ты становишься размякшим и унылым. Начинаешь заниматься самокопанием».⁵² Депрессия преследует консерватизм точно так же, как и большое богатство. Но опять-таки вовсе не делая консерватизм менее привлекательным, это темное измерение лишь усиливает его. На публике консерватор впадает в байроническое настроение, угрюмо осматривая все свои утраты перед аудиторией безнадежно влюбленных и зачарованных «звездами» фанатов. За сценой же — не на виду — его менеджеры спокойно считают барыши.

51. Maistre, *Considerations*, 77; де Местр. *Рассуждения*, с. 128.

52. Corey Robin, «The Ex-Cons: Right-Wing Thinkers Go Left!» *Lingua Franca* (February 2001), 32. Переиздано в: наст. изд., гл. 5.

Глава 2.

Первый контрреволюционер¹

РЕВОЛЮЦИЯ отправила Томаса Гоббса в изгнание, контрреволюция вернула его на родину. В 1640 году противники Карла I в парламенте, такие как Джон Пим, осуждали любого, «кто проповедует во имя абсолютной монархии, во имя права короля делать все, что ему заблагорассудится». Гоббс только что закончил писать трактат «Начала закона», в котором он именно это и делал. После того как были арестованы главный советник короля и теолог, выступавший за неограниченную королевскую власть, Гоббс решил, что настало время спасаться бегством. Даже не успев собрать вещи, он совершает побег из Англии во Францию.²

После того как минуло одиннадцать лет, а гражданская война закончилась, Гоббс совершает побег из Франции в Англию. На сей раз он бежал от роялистов. Как и в прошлый раз, Гоббс только что окончил книгу, «Левиафан», в которой он, как сам пояснил позже, «боролся во имя всех королей и всех тех, кто под любым наименованием обладает правами короля».³ Теперь именно это кажущееся безразличие по отношению к личности суверена создало для него проблемы. «Левиафан» оправдывал (и даже требовал) подчинение любому человеку или людям, способным защитить нас от нападения извне и от общественных беспорядков. Когда монар-

1. Впервые опубликовано в: Corey Robin, «The First Counter-revolutionary», *The Nation* (October 19, 2009): 25–32.

2. Noel Malcolm, *Aspects of Hobbes* (New York: Oxford University Press, 2002), 15–16; Richard Tuck, *Hobbes* (New York: Oxford University Press, 1989), 24; Quentin Skinner, *Visions of Politics*, vol. 3, *Hobbes and Civil Sciences* (New York: Cambridge University Press, 2002), 8–9; A. P. Martinich, *Hobbes* (New York: Cambridge University Press, 1999), 161–162.

3. Skinner, *Visions*, 16.

хия пала, а войска Кромвеля установили контроль над Англией и обеспечили безопасность народа, «Левиафан», как представляется, рекомендовал, чтобы все, включая поверженных роялистов, выразили свою преданность Республике [the Commonwealth]. Версию такого аргумента приводил уже Энтони Эскем, посол Республики, убитый в Испании изгнанными роялистами. Поэтому когда Гоббс узнал, что священнослужители во Франции пытаются арестовать его («Левиафан» помимо прочего имел сильную антикатолическую направленность, что оскорбляло Королеву-мать), он ускользнул из Парижа и направился назад, в Лондон.⁴

В том, что Гоббс бежал от своих врагов, а затем от своих друзей, не было ничего случайного, поскольку он создал политическую теорию, которая разрывала все давнишние альянсы. Вместо того чтобы отвергнуть революционную аргументацию, он поглотил и преобразовал ее. Используя ее наиболее глубокие категории и идиомы, он вывел бескомпромиссную защиту наиболее жесткой формы правления. Он почувствовал центробежные импульсы Европы эпохи раннего Нового времени — священство всех верующих, демократические армии, собирающиеся под знаменами древних республиканских идеалов, науки и скептицизма — и стремился преобразовать их в единую центростремительную силу: суверена, ужасающего и милостивого до такой степени, чтобы любой вызов такой власти стал казаться не только безнравственным, но и иррациональным. Совершенно в духе итальянских футуристов Гоббс заставлял распад служить созиданию. Он был первым и самым великим (наряду с Ницше) философом контрреволюции; смешав культурный модернизм и политическую реакцию, он понял: чтобы победить революцию, сначала нужно самому стать революцией.

Но как его приняла партия порядка? Не очень хорошо. Т. С. Элиот, который и сам любил сочетать несочетаемое, назвал Гоббса «одним из тех экстраординарных маленьких выскочек, которых выбросили в известность, едва ли ими заслуженную, хаотические движения Ренессанса».⁵ Из четы-

4. Malcolm, *Aspects of Hobbes*, 20–21; Skinner, *Visions*, 22–23; Martinich, *Hobbes*, 209–210.

5. T. S. Eliot, «John Bramhall», in *Selected Essays 1917–1932* (New York: Harcourt Brace, 1932), 302.

рех политических теоретиков XX века, названных Перри Андерсоном «несгибаемыми правыми»⁶ (Лео Штраус, Карл Шмитт, Майкл Оукшот и Фридрих фон Хайек), только Оукшот видел в Гоббсе очень слабое мерцание родственного духа.⁷ Остальные считали его источником злостного либерализма, якобинства или даже большевизма.⁸

Стражи старого порядка часто ошибочно принимают контрреволюционера за оппозиционера, поскольку они не могут проникнуть в алхимию его аргументации. Все, что они видят в ней, это присутствие новомодного мышления, которое опасно походит на революционное, и отсутствие традиционного оправдания власти. Для ортодоксов контрреволюционер похож на революционера. Это делает контрреволюционера в их глазах подозрительным человеком, а не союзником. И в этом они не вполне неправы. Ни левый, ни, строго говоря, правый (одна из самых известных работ Хайека называется «Почему я не консерватор»⁹), контрреволюционер — это некий пастиш из несовместимого: высокого и низкого, старого и нового, левого и правого, иронии и веры. Контрреволюционер пытается найти квадратуру круга — придать популярность исключительным правам и вновь учредить режим, который претендует на то, что он никогда

-
6. Perry Anderson, «The Intransigent Right», in *Spectrum: From Right to Left in the World of Ideas* (New York: Verso, 2005), 3–28.
7. Michael Oakeshott, *Rationalism in Politics and Other Essays* (Indianapolis: Liberty Press, 1991), 248–300; Майкл Оукшотт. *Рационализм в политике*. М.: Идея-Пресс, 2001, с. 153–196. См. также полезные замечания Пола Франко в его предисловии к: Michael Oakeshott, *Hobbes on Civil Association* (Indianapolis: Liberty Fund, 2000), v–vii; Paul Franco, *Michael Oakeshott: An Introduction* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2004), 10, 103, 106.
8. Friedrich A. Hayek, *The Constitution of Liberty* (Chicago: University of Chicago Press, 1960), 56; Carl Schmitt, *The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes: Meaning and Failure of a Political Symbol* (Chicago: University of Chicago Press, 2008), 42, 68–69; Карл Шмитт. *Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса*. СПб.: Владимир Даль, 2006, с. 164, 214–215; Leo Strauss, *Natural Right and History* (Chicago: University of Chicago Press, 1953), 165–202; Лео Штраус. *Естественное право и история*. М.: Водолей Publishers, 2007, 159–194; Leo Strauss, «Comments on Carl Schmitt's *Der Begriff des Politischen*», in Carl Schmitt, *The Concept of the Political* (New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1967), 89.
9. Hayek, *Constitution of Liberty*, 397–411; Фридрих Август фон Хайек. Почему я не консерватор // *Неприкосновенный запас*. 2001. № 5 (19), с. 5–15.

не был учрежден впервые (старый режим был, есть и будет; он не является творением рук человеческих). Это задачи, на решение которых не может отважиться никакое другое политическое движение. Сам по себе контрреволюционер не склонен к парадоксам; он просто вынужден во благо власти колебаться между историческими противоречиями.

Но на каком основании можно счесть Гоббса предшественником консерватизма, правых и контрреволюции? Ведь, в конце концов, ни один из этих терминов не вошел в обращение до Великой французской революции, и большинство историков больше не считают гражданскую войну в Англии революцией. Силы, которые свергли монархию, возможно, стремились к Римской республике или античной конституции. Они, возможно, желали реформировать религиозные обычаи или ограничить королевскую власть. Но они не собирались делать революцию. Как мог Гоббс быть контрреволюционером, если не было никакой революции, которой он мог бы противостоять?

Сам Гоббс думал иначе. В трактате «Бегемот», в котором этот вопрос разрабатывается наиболее подробно, он ясно называет гражданскую войну в Англии революцией.¹⁰ И хотя Гоббс подразумевал под этим термином нечто вроде того, что под ним понимали древние — циклический процесс смены режимов, более схожий с движением планет по орбите, чем с великим скачком вперед, — он усмотрел в ниспровержении монархии страстную (и, на его взгляд, опасную) тоску по демократии, стойкое стремление перераспределить власть во благо большего числа людей. Для Гоббса именно в этом заключалась сущность революционного вызова, и такой она оставалась и впредь, будь то в России в 1917, во Флинте в 1937 или в Сельме в 1965 году. То, что революция вдохновлялась образами прошлого, а не будущего, должно смущать нас не больше, чем Гоббса, а также Бенжамена Константа или Карла Маркса, поскольку оба они видели, как легко было французам совершать свою революцию, одновременно оглядываясь назад (и даже благодаря тому, что они оглядывались назад).¹¹

10. Hobbes, *Behemoth*, ed. Ferdinand Tönnies (Chicago: University of Chicago Press, 1990), 204.

11. Benjamin Constant, «The Liberty of the Ancients Compared with That of the Moderns», in *Political Writings*, ed. Biancamaria Fontana (New York: Cam-

Гоббс явно выступал против «демократикалов» [democraticals], как он называл парламентские силы и их последователей.¹² Точка зрения Квентина Скиннера, изложенная в книге «Гоббс и республиканская свобода», заключается в том, что Гоббс потратил значительную часть своей философской энергии на пребывание в такой оппозиции и что самые большие новации Гоббса происходят от этого.¹³ Главной мишенью Гоббса была республиканская концепция свободы, мнение, что индивидуальная свобода влечет за собой необходимость коллективного самоуправления. Разорвав связь между личной свободой и природой политической власти, Гоббс получил возможность утверждать, что люди могут быть свободными и при абсолютной монархии или, по крайней мере, не менее свободными, чем при республике или демократии. Это был «эпохальный момент в истории англоязычной политической мысли», как пишет Квентин Скиннер. В результате возникло новое понимание свободы, которое мы используем и по сей день.¹⁴

Каждый контрреволюционер оказывается перед одним и тем же вопросом: как защищать старый порядок, который уже разрушился или рушится прямо сейчас? Первое побуждение — вернуться к древним истинам режима — обычно оказывается самым худшим решением, поскольку чаще всего именно эти истины и привели существующий порядок в плачевное состояние. Либо мир изменился настолько, что эти идеи больше не способны вызвать согласие, либо они стали настолько гибкими, что превратились в аргументы в пользу революции. Так или иначе, контрреволюционер

bridge University Press, 1988), 307–328; Бенжамен Констан. О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современных людей // *Полит.* 1993. № 2; Karl Marx, «The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte», in *The Marx-Engels Reader*, ed. Robert C. Tucker (New York: Norton, 1978), 595; Карл Маркс. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Карл Маркс и Фридрих Энгельс. *Соч.* 2-е изд., т. 3, с. 119.

12. Hobbes, *Behemoth*, 28.

13. Quentin Skinner, *Hobbes and Republican Liberty* (New York: Cambridge University Press, 2008).

14. Skinner, Hobbes, xiv.

должен искать материал для построения защиты старого порядка в другом месте. Это может, как понял Гоббс, привести его к разногласиям не только с революцией, но также и с тем порядком, к партии которого он себя причисляет.

Защитники монархии в первой половине XVII столетия выдвигали два типа аргументов, ни один из которых Гоббс не мог одобрить. Первый — это божественное право королей. Будучи новшеством, недавно появившимся (Яков I, отец Карла, был главным сторонником этой точки зрения в Британии), этот аргумент гласит, что король является заместником Бога на земле (а на самом деле скорее походит на Бога на земле), что он несет ответственность только перед Богом, он один уполномочен править и не должен быть ограничен законом, учреждениями или людьми. Как, согласно преданию, выразился советник Карла, «мизинец короля должен быть толще, чем лядвси закона».¹⁵

В тот момент, когда такой абсолютизм обращается к Гоббсу, основания этой теории становятся шаткими. Большинство теоретиков божественного права верили в то, чего (согласно Гоббсу и его современникам, особенно континентальным) больше не существовало: в телесоологию человеческих целей, которая отражает естественную иерархию вселенной и производит непоколебимые определения добра и зла, справедливого и несправедливого. После столетнего кровопролития, разразившегося из-за споров о значении этих терминов, и скептицизма относительно существования естественного порядка или нашей способности познать его, аргументы в пользу божественного права не казались достойными доверия или надежными. При таких сомнительных предпосылках они скорее должны были порождать конфликт, чем улаживать его.

Возможно, гораздо больше сложностей возникало из-за того, что эта теория изображала политический театр, в котором в любой последовательности выступало всего два актера: Бог и король, каждый из которых играл для другого. Хотя Гоббс полагал, что суверен никогда не должен делить сцену с кем бы то ни было, он был слишком чуток к демократической смуте его времени, чтобы не заметить, что эта

15. David Wootton, *Divine Right and Democracy* (New York: Penguin, 1986), 28.

теория пренебрегала третьим актером — народом. Все было прекрасно, пока люди были тихи и почтительны, но в 1640-х жизнь стала уже другой. Народ вышел на сцену, требуя для себя главной роли; его уже нельзя было игнорировать или давать ему роль третьего плана.

Короче говоря, изменения, произошедшие в Англии, сделали теорию божественного права несостоятельной. Проблема, с которой столкнулся Гоббс, была непростой: как сохранить основу теории (несомненное подчинение абсолютной, безраздельной власти), устранив ее устаревшие предпосылки. Гоббсова теория согласия, благодаря которой люди заключают договор друг с другом, чтобы поставить над собой суверена с неограниченной властью, и его теория представительства, согласно которой суверен персонифицирует всех людей, не будучи им ничем обязанным, были хитрым трюком.

Теория согласия не делает никаких допущений относительно определений добра и зла или о естественной иерархии во вселенной. Напротив, она предполагает, что люди обо всем этом спорят, причем настолько рьяно, что единственный способ добиться того, чтобы они могли бы преследовать свои противоречивые цели и выжить, должен заключаться в том, чтобы уступить всю свою власть государству и подчиниться ему без возражений или борьбы. Защищая их друг от друга, государство гарантирует им место и безопасность для того, чтобы они могли продолжить свою жизнь. Как и Гоббсова теория представительства, теория согласия имела дополнительное преимущество: хотя, в соответствии с ней, вся власть передавалась суверену, люди все же могли вообразить себя в его теле, в каждом взмахе его меча. Они создали его, он представлял их; что бы там ни было, они были им. Может, они и были авторами Левиафана (таково имя чудовища, данное Гоббсом суверену, которое он заимствовал из Книги Иова), но, подобно любому автору, они не обладали никаким контролем над своим творением. Это было вдохновенное движение, особенность всех больших контрреволюционных теорий, согласно которым люди становятся актерами без ролей, аудиторией, которая верит в происходящее на сцене.

Второй аргумент, приводившийся в пользу монархии с позиции конституционного роялизма, имел более глубоко-

кие корни в английской мысли, и потому возражать на него было труднее. Согласно ему, Англия была свободным обществом, потому что королевская власть была ограничена общим правом или должна была считаться с парламентом. Это сочетание верховенства закона и разделенного суверенитета, на котором настаивал сэр Уолтер Рэли, и отличало свободных подданных короля от невежественных рабов восточных деспотов.¹⁶ Именно этот аргумент и его радикальные производные лежали в основе самых глубоких и смелых размышлений Гоббса о свободе.¹⁷

За этой конституционалистской концепцией политической свободы стоит различие между действием на основании разума и действием по велению страсти. Первое является свободным актом, второе нет. «Действовать согласно страсти, — поясняет Скиннер, — не значит действовать как свободный человек, или, точнее, как человек вообще; такие действия являются не выражением истинной свободы, но простой разнузданности или животной страсти». Свобода предполагает действие, направленное на объект нашей воли, но волю не следует смешивать с желанием или отвращением. Как выразился епископ Бремхолл, «свободным актом является только тот, который проистекает из свободного выбора, осуществляемого разумной волей». «Там, где нет никакого размышления или использования разума, нет вообще никакой свободы».¹⁸ Быть свободным значит действовать в соответствии с разумом, или, пользуясь политическим языком, жить согласно законам, а не подчиняться произволу властей.

Как и теория божественного права королей, конституционный аргумент устарел из-за происходивших в то время событий, в особенности потому, что ни один английский монарх в первой половине XVII века уже не верил в него. Намереваясь превратить Англию в современное государство, Яков и Карл были вынуждены делать гораздо больше абсолютистских заявлений относительно природы их власти, чем это допускалось конституционным аргументом.

16. Wootton, *Divine Right and Democracy*, 25–26.

17. Skinner, *Hobbes*, 57ff.

18. *Ibid.*, 27.

Однако основная проблема для режима заключалась в том, что конституционный аргумент легко можно было сделать республиканским и использовать против короля. Специалисты по общему праву и петиций членов парламента заявляли, что, пренебрегая общим правом и парламентом, Карл угрожал превратить Англию в тиранию; радикалы настаивали на том, что что-либо иное, помимо республики или демократии, в которых люди живут согласно законам, признаваемым ими, представляло собой тиранию. С их точки зрения, любая монархия была деспотизмом.

Гоббс полагал, что второй аргумент коренится в «исторических и философских работах древних греков и римлян», которые оказывали большое влияние на образованных противников короля.¹⁹ Этому древнему наследию дал новую жизнь трактат «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» Макиавелли, переведенный на английский язык в 1636 году, который, возможно, был главной мишенью Гоббса в его осуждении народного правление. Но исходная посылка республиканского аргумента, заключающаяся в том, что свободно-го человека отличает от раба то, что первый подчиняется своей собственной воле, тогда как последний — воле другого, встречается уже в «буквальном» воспроизведении «Свода римского права» в английском общем праве XIII столетия. Аналогичным образом различие между волей и желанием, свободой и разнузданностью было «глубоко укоренено» в схоластических традициях Средневековья и в гуманистической культуре Ренессанса. Таким образом, она находила выражение не только в роялистской позиции Бремхолла и ему подобных, но также у радикалов и цареубийц, которые свергли короля. В основе расхождений между роялистами и республиканцами лежит общее представление о природе свободы.²⁰ Гению Гоббса удалось увидеть это общее представление; сам же он хотел с ним покончить.

И хотя представление о том, что свобода означает жизнь в согласии с законом, всю использовалось конституционными роялистами, которые в основном и занимались про-

19. Hobbes, *Leviathan*, ed. Richard Tuck (New York: Cambridge, 1996), 149; Томас Гоббс. *Сочинения*. Т. 2. М.: Мысль, 1991, с. 166.

20. Skinner, *Hobbes*, x-xi, 25-33, 68-72.

ведением различий между законными монархами и деспотическими тиранами, оно не обязательно вело к выводу, что свободное правление должно быть республикой или демократией. Чтобы построить такую аргументацию, радикалы должны были выдвинуть два дополнительных тезиса: во-первых, уравнивать произвол или беззаконие с волей, которая является не собственной, а внешней или чуждой; во-вторых, уравнивать решения народного правительства с волей, которая является собственной, подобно разуму. Подчиняться своей воле — законам республики или демократии — значит быть свободным; подчиняться не своей воле — указам короля или иностранной державы — значит быть рабом.

Выдвигая эти тезисы, говорит Скиннер, радикалы исходили из специфического, хотя и распространенного, понимания рабства. По мнению многих, некто становится рабом не потому, что он в цепях или что его господин ограничивает или направляет его действия. Дело в том, что раб живет и действует, находясь под сетью — изменчивым, произвольным желанием его хозяина, — которая может упасть на него в любой момент. Даже если этого не случилось — хозяин никогда не говорил ему, что нужно делать, или никогда не наказывал его за то, что он чего-то не сделал, или если раб никогда не желал сделать что-то отличное от того, что хозяин приказал ему, — раб все равно оставался рабом. Того факта, что он «живет в полной зависимости» от воли другого и находится под юрисдикцией хозяина, «было достаточно, чтобы гарантировать рабство», которого хозяин «ожидает и презирает».²¹

Простое наличие отношений господства и зависимости... превращает нас из «свободных граждан» в рабов. Другими словами, мало просто иметь гражданские права и свободы; чтобы считаться свободными гражданами, мы должны пользоваться ими определенным образом. Мы не должны обладать ими просто по чьей-то милости или доброй воле; мы всегда должны обладать ими независимо от чьей-либо произвольной власти, способной их у нас отнять.²²

21. Skinner, *Hobbes*, xi, 215.

22. *Ibid*, 211–212.

На индивидуальном уровне быть свободным — значит быть хозяином самому себе; на политическом для этого нужна республика или демократия. Только полное участие в общественной власти гарантирует, что мы пользуемся нашей свободой тем «определенным образом», которого требует свобода; без полного политического участия свобода будет фатальным образом ограничена. Эта взаимозависимость между индивидуальным и политическим является, пожалуй, наиболее радикальным элементом теории народного правления и, по мнению Гоббса, наиболее опасным.

Гоббс приступает к опровержению этого аргумента с самых основ. Порывая с традиционными представлениями, он приводит доводы в пользу материалистического понимания воли. Воля, согласно Гоббсу, не является решением, проистекающим из разумного обдумывания нашего влечения или отвращения; именно последнее влечение или отвращение, которое мы чувствуем до того, как совершаем действие, и побуждает это действие. Обдумывание похоже на маятник метронома — наши склонности движутся то назад, то вперед, чередуясь между желанием и отвращением, — но не столь стабильно. В любой точке, где маятник останавливается и производит некое действие или, напротив, никакого действия, и располагается наша воля. Если это кажется произвольным и механистическим, то так оно и должно быть: воля не стоит выше наших желаний и отвращений, судя и выбирая среди них; воля *и есть* наши влечения и отвращения. Нет такой вещи как свободная или автономная воля; есть только «последнее желание или отвращение, непосредственно примыкающее к действию или отказу от действия».²³

Представим человека с сильнейшим влечением к вину, мчащегося в горящее здание, чтобы спасти ящик вина; теперь представим человека с жесточайшим отвращением к собакам, мчащимся в то же самое здание, чтобы избежать их нападения. Противники Гоббса усмотрели бы в этих примерах только силу иррационального побуждения; Гоббс ви-

23. Hobbes, *Leviathan*, 44; Гоббс. Сочинения, с. 45–46.

дит здесь волю в действии. Гоббс признает, что это, возможно, не самые мудрые или самые здравые действия, но мудрость и здравомыслие не должны играть какую-либо роль в воле. Действия могут быть вынужденными, но таковыми являются и действия человека на тонущем судне, который бросает свои мешки за борт, чтобы уменьшить груз и спасти себя. Трудный выбор, действия, предпринятые под давлением, являются таким же выражением моей воли, как и решения, которые я принимаю, осуществляя спокойное исследование. Продолжая аналогию, Гоббс мог бы сказать, что отдать свой бумажник тому, кто приставил пистолет к моей голове, является актом моей воли: я сделал выбор в пользу своей жизни, а не бумажника.

Возражая своим оппонентам, Гоббс говорит, что произвольное действие, противоречащее воле действующего, невозможно; все произвольные действия выражают волю. Внешние ограничения, вроде нахождения в закрытой комнате, могут помешать мне действовать в соответствии с моей волей; если я скован цепью с заключенными, я вынужден буду действовать вопреки моей воле (когда мой сосед делает шаг вперед или поднимает свой инструмент, я должен следовать за ним, если мне не хватает силы сопротивляться ему и тому, кто стоит за мной). Но я не могу действовать произвольно вопреки моей воле. Относительно случая с грабителем Гоббс сказал бы, что его пистолет изменил мою волю: я предпочел сохранить свою жизнь, а не кошелек.

Если я не могу действовать произвольно против моей воли, то я не могу действовать произвольно в соответствии с волей, которая не является моей собственной. Если я повинуюсь королю, потому что я боюсь, что он меня казнит или бросит в тюрьму, это не означает отсутствия, устранения, измены или подчинения моей воли; это и есть моя воля. Возможно, моя воля была бы иной — сотни тысяч людей на протяжении долгой жизни Гоббса поступали иначе, — но моя жизнь или свобода важнее для меня, чем то, что могло бы вызвать мое неповиновение.

Гоббсово определение свободы проистекает из его понимания воли. Свобода, согласно Гоббсу, является «отсутствием... внешнего препятствия для движения», а свободный человек — это *«тот, кому ничто не препятствует делать желаемое, поскольку он по своим физическим и умственным спо-*

способностям в состоянии это сделать».²⁴ Гоббс настаивает, что я могу стать несвободным только из-за внешних препятствий моему движению. Такими препятствиями являются цепи и стены; другими, более метафорическими, препятствиями являются законы и обязательства. Если препятствие находится внутри меня, например, у меня нет способности, или я слишком боюсь сделать что-то, то мне не хватает воли, а не свободы. В письме графу Ньюкаслу Гоббс связывает такие недостатки с «природой и внутренним качеством действующего», а не состоянием политической среды.²⁵

И именно в этом и состоит цель усилий Гоббса: отделить статус нашей личной свободы от состояния наших общественных дел. Свобода зависит от наличия правительства, а не от формы, которую принимает правительство; то, живем ли мы при монархии, республике или демократии, не влияет на количество или качество свободы, которой мы пользуемся. Это разделение между личной и политической свободой привело к тому, что свобода при короле стала казаться одновременно менее и более осязаемой, чем допускали республиканские и роялистские антагонисты Гоббса.

С одной стороны, Гоббс настаивает, что невозможно быть одновременно свободным и подчиненным. Подчинение правительству влечет за собой абсолютную потерю свободы: везде, где я ограничен законом, я не обладаю свободой совершать движение. Когда республиканцы утверждают, что граждане свободны, потому что они сами создают законы, Гоббс утверждает, что те путают суверенность со свободой: то, чем обладает гражданин, есть политическая власть, а не свобода. Он точно так же обязан подчиняться закону (позже Руссо скажет, что обязан, возможно, даже в большей степени) и является таким же несвободным, как и при монархии. А когда конституционные роялисты утверждают, что подданные короля свободны, потому что власть короля ограничена законом, Гоббс утверждает, что они просто запутались.

С другой стороны, Гоббс полагает, что, если свобода — это беспрепятственное движение, из этого с необходимо-

24. Hobbes, *Leviathan*, 145–146; Гоббс. *Сочинения*, с. 163.

25. Цит. по: Skinner, *Hobbes*, 130.

стью следует, что мы намного более свободны при монархе, и даже абсолютном монархе, чем могут себе представить²⁶ роялисты и республиканцы. Первый и наиболее простой пример: даже когда мы действуем из-за страха, мы действуем свободно. «Страх и свобода совместимы», говорит Гоббс, поскольку страх выражает наши негативные склонности; они могут быть негативными, но это не отрицает факт, что они являются *нашими* склонностями. Пока ничто не препятствует тому, чтобы мы действовали в соответствии с ними, мы свободны. Даже когда мы очень сильно боимся наказания, налагаемого королем, мы свободны: «все действия, совершаемые людьми в государствах из *страха* перед законом, являются действиями, от которых совершающие их имеют свободу воздержаться».²⁷

Самое важное в том, что везде, где закон молчит, не дает указаний или не устанавливает запретов, мы свободны. Чтобы увидеть все способы, которыми человек может быть свободным при монархии, нужно лишь рассмотреть все «способы, которыми человек может двигаться», говорит Гоббс в «О гражданине». Эти свободы, как он объясняет в «Левиафане», включают «свободу покупать и продавать и иным образом заключать договоры друг с другом, выбирать свое местопребывание, пищу, образ жизни, наставлять детей по своему усмотрению и т. д.».²⁸ В той степени, в какой суверен может гарантировать свободу движения так, чтобы мы могли вести дела, не сталкиваясь с препятствиями со стороны других людей, мы свободны. Иными словами, подчинение его власти увеличивает нашу свободу. Чем сильнее наше подчинение, тем он более могуществен, а мы — более свободны. Подчинение — это освобождение.

Несмотря на все оговорки «несгибаемых правых», Гоббсовы идеи продолжают преследовать современный консерватизм. Его идея частной свободы пронизывает либертари-

26. Skinner, *Hobbes*, 116–123, 157, 162, 173.

27. Hobbes, *Leviathan*, 146; Гоббс. *Сочинения*, с. 164.

28. Hobbes, «De Cive», in *Man and Citizen*, ed. Bernard Gert (Indianapolis: Hackett, 1991), 216; Hobbes, *Leviathan*, 148; Гоббс. *Сочинения*, с. 165.

анский дискурс, а «Левиафан» отбрасывает длинную тень на консервативное понимание государства как «ночного сторожа», в котором главная задача правительства заключается в том, чтобы защищать население от иностранного нападения и преступности; где люди свободны в своих делах до тех пор, пока они не ограничивают движения других, и где обеспечивается исполнение контрактов и гарантируется безопасность.

Либертарианцы побледнели бы от такой ассоциации: независимо от того, какой резонанс могут находить в их работах идеи Гоббса, Гоббсово государство является намного более репрессивным, чем любое правительство, которое они могли бы одобрить. На самом деле это не совсем так. В 1975 году Милтон Фридман встречался с чилийским диктатором Аугусто Пиночетом, чтобы консультировать его по вопросам экономики; «чикагские мальчишки» Фридмана еще более тесно сотрудничали с хунтой Пиночета. Серхио де Кастро, министр финансов Пиночета, сделал наблюдение, заставляющее вспомнить о Гоббсе, что «действительная свобода человека может быть обеспечена только авторитарным режимом, который осуществляет власть, устанавливая равные правила для всех». Хайек настолько восхищался Чили времен правления Пиночета, что решил провести встречу своего «Общества Мон-Пелерин» в Винья дель Мар, на морском курорте, где был спланирован путч против Альенде. В 1978 году он написал в *London Times*, что ему «не удалось найти хотя бы одного человека даже среди тех, кто всячески порочил Чили, который не согласился бы, что при Пиночете личной свободы было гораздо больше, чем при Альенде».²⁹

«Несмотря на мое глубокое несогласие с авторитарной политической системой в Чили, — писал позже Фридман, — я не вижу никакого зла в том, что экономисты дают практические экономические советы чилийскому правительству».³⁰

29. Greg Grandin, *Empire's Workshop: Latin America, the United States, and the Rise of the New Imperialism* (New York: Metropolitan Books, 2006), 173–174; Naomi Klein, *The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism* (New York: Metropolitan Books, 2007), 80–82, 84–85; Наоми Кляйн. *Доктрина шока*. М.: Добрая книга, 2009.

30. Klein, *Shock Doctrine*, 117; Кляйн. *Доктрина шока*, с. 160.

Но брак между свободными рынками и государственным террором не может быть аннулирован так легко. Как понимал еще Гоббс, необходимы серьезные репрессии, чтобы создать тип людей, которые могут осуществлять свою «свободу покупать и продавать и иным образом заключать договоры друг с другом», не становясь несговорчивыми. Они должны обладать свободой перемещаться или выбирать, но не свободой думать о смене пути. Слишком просто допуская совместимость между капитализмом и демократией, либертарианцы не замечают, какое принуждение необходимо для того, чтобы сотворить граждан, которые будут ответственно пользоваться своей свободой, не прося государство облегчить их положение.

Никто лучше Маргарет Тэтчер не смог объяснить это правым либертарианцам. Когда Хайек призывал Тэтчер более активно использовать пиночетовскую «шоковую терапию» в Британии, она ответила: «Я знаю, Вы согласитесь, что в Британии, учитывая наши демократические институты и необходимость высокой степени согласия, некоторые из мероприятий, осуществленных в Чили, произвести невозможно». Шел 1982 год, британская демократия была такой, какой она была, и Тэтчер должна была действовать постепенно. Но затем произошла война из-за Фолклендских островов и началась забастовка шахтеров. Как только Тэтчер осознала, что она может поступить с шахтерами и профсоюзами так, как она поступила с президентом Гальтиери и его аргентинскими генералами — «Нам пришлось сражаться с внешним врагом на Фолклендах, а теперь нам предстоит сражаться с врагом внутренним, которого победить куда сложнее, хотя он в не меньшей степени угрожает свободе», — была подготовлена почва для полного воплощения идей Хайека.³¹

31. Klein, *Shock Doctrine*, 131, 138; Кляйн. *Доктрина шока*, с. 177, 186.

Глава 3.

Мусор и авторитет¹

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ Петербург дал нам Владимира Набокова, Исая Берлина и Айн Рэнд. Первый был романистом, второй — философом. Третья не была ни тем ни другим, хотя считала себя и тем и другим. Многие тоже так считали. В 1998 году читатели, участвовавшие в опросе *Modern Library*, назвали «Атлант расправил плечи» и «Источник» двумя величайшими романами XX века: по опросу они обошли «Улисса», «На маяк» и «Человека-невидимку». В 1991 году исследование, проведенное Библиотекой конгресса США и Клубом «Книга месяца» показало, что за исключением Библии, ни одна книга не оказала на американцев большего влияния, чем «Атлант расправил плечи».²

Среди этих читателей вполне могла оказаться Фара Фосетт. Незадолго до своей смерти она назвала Рэнд «литературным гением», чей отказ создавать искусство «такое же, как у других», послужил вдохновением для экспериментов самой Фосетт в области живописи и скульптуры. Похоже, обожание было обоюдным. Рэнд каждую неделю смотрела «Ангелов Чарли» и, по словам Фосетт, «разглядела кое-что» в шоу, «чего не увидели критики».

Она говорила, что этот сериал — «триумф концепции и кастинга». Айн говорила, что хотя «Ангелы Чарли» — исключительно американский сериал, он составляет исключение на американском телевидении. Поскольку только он

1. Впервые опубликовано в: Corey Robin, «Garbage and Gravititas», *The Nation* (June 7, 2010): 21–27.

2. Anne C. Heller, *Ayn Rand and the World She Made* (New York: Knopf, 2009), xii; <http://www.randomhouse.com/modernlibrary/100bestnovels.html>, accessed April 8, 2011.

способен передать истинный «романтизм» — он сознательно изображает мир не таким, как он есть, а каким он должен быть. Вероятно, единственный человек, разделявший ее мнение об этом сериале, был Аарон Спеллинг, хотя он называл его «телевидением для отдыха».

Рэнд была так увлечена Фарой Фосетт, что надеялась, что та (или по крайней мере, Ракель Уэлш) сыграет роль Дагни Таггарт в телевизионной экранизации «Атлант расправил плечи» на NBC. К несчастью, глава телекомпании Фред Силверман закрыл проект в 1978 году. «Я всегда буду считать роль Дагни Таггарт лучшей ролью, которую я могла бы сыграть, но не сыграла», — говорила Фосетт.³

У Рэнд всегда было много последователей в Голливуде. За роль Доминик Франкон в экранизации «Источника» боролись Барбара Стэнвик и Вероника Лейк. Но здесь никто не мог тягаться с Джоан Кроуфорд, устроившей для Рэнд торжественный ужин, на который она оделась в костюм Франкон — струящееся белое вечернее платье, усыпанное аквамаринами.⁴ Не так давно у автора «Концепции эгоизма» и утверждения «если цивилизация хочет выжить, люди должны отказаться от альтруистской морали» неожиданно обнаружили поклонники в среде голливудских филантропов.⁵ У Рэнд «очень интересная философия, — заявила Анжелина Джоли, — ты начинаешь по-иному оценивать свою жизнь и то, что для тебя важно». «„Источник“ — такое сложное и насыщенное произведение, — восторженно говорит Брэд Питт, — что это должен быть шестичасовой фильм». (Экранизация 1949 года идет 113 минут и кажется затянутой). Кристина Риччи утверждает, что «Источник» — ее любимая книга, потому что из нее она узнала, что «ты необязательно плохой человек, если не любишь всех подряд». Роб Лоуи подчеркивает, что «„Атлант расправил плечи“ — это выдающееся достижение, и я его просто обожаю». А по словам Евы

3. Amy Wallace, «Farrah's Brainy Side», *The Daily Beast* (June 25, 2009), <http://www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2009-06-25/farrahs-brainy-side>, accessed April 8, 2011; Heller, *Ayn Rand*, 401.

4. Heller, *Ayn Rand*, 167.

5. Ayn Rand, «The Objectivist Ethics», in Rand, *The Virtue of Selfishness* (New York: Penguin, 1961, 1964), 39.

Мендес, она требует от всех своих бойфрендов, чтобы они были «поклонниками Айн Рэнд».⁶

Но Рэнд, если по меньшей мере основываться на ее романах, вообще не должна была привлекать к себе поклонников. Сюжетный центр ее романов — конфликт между индивидом-творцом и враждебными массами. Чем выше достижения индивида, тем сильнее сопротивление масс. Вот как это сформулировал Говард Рорк, архитектор из «Источника»:

Величайшие творцы — мыслители, художники, ученые, изобретатели — всегда противостояли людям своего времени. Каждая великая новая мысль встречала сопротивление. Каждое великое новое открытие подвергалось разоблачениям. Первый мотор сочли глупостью. Самолет считался невозможным. Механический ткацкий станок считался злом. Анестезия — греховной. Но люди, обладавшие собственным оригинальным видением, шли вперед. Они боролись, страдали и дорого расплачивались⁷.

Очевидно, Рэнд включала себя в число таких творцов. В интервью Майку Уоллесу она объявила себя «самым творческим из ныне живущих мыслителей». Дело было в 1957 году, когда работали Арендт, Куайн, Сартр, Камю, Лукач, Адорно, Мердок, Хайдеггер, Бовуар, Ролз, Энском и Поппер. В тот год был впервые поставлен «Конец игры» и вышли в свет «Пнин», «Доктор Живаго» и «Кот в шляпе». Два года спустя Рэнд сказала Уоллесу, «что единственным философом, который на нее повлиял» был Аристотель. В остальном — все «плод ее собственного ума». Она хвасталась своим друзьям и своему издателю в *Random House*, Беннету Серфу, что она «бросает вызов культурной традиции, насчитывающей две с половиной тысячи лет». Она казалась себе похожей на Рорка, говорившего: «Я ничего не получил в наследство. Я не стою у конца традиции. Я, возможно, стою у истоков какой-то новой традиции». Но рядом с ней уже стояли десятки тысяч поклонников. В 1945 году, через два года после выхода в свет, было продано 100.000 экземпляров «Источника». В 1957 году, когда был опубликован «Атлант распра-

6. Elizabeth Gettelman, «I'm With the Rand», *Mother Jones* (July 20, 2009), <http://motherjones.com/media/2009/07/im-rand>, accessed April 8, 2011.

7. Ayn Rand, *The Fountainhead* (New York: Signet, 1996), 678.

вил плечи», он удерживался в списке бестселлеров *New York Times* в течение двадцать одной недели.⁸

Рэнд, возможно, смущал тот вызов, который популярность бросала ее взглядам на мир, поскольку в поздние годы своей жизни она посвятила немало времени распространению слухов о том, какой холодный прием был оказан ей и ее творчеству. Она лгала, что двенадцать издателей отвергли «Источник», прежде чем он нашел себе пристанище. Она выставляла себя жертвой страшной, но необходимой изоляции, заявляя, что «все успехи и прогресс достигались не просто способными людьми и уж конечно не группами людей, но только благодаря борьбе между человеком и толпой». Но скольких одиноких писателей, только что написавших «Конец» на последней странице романа, тут же, едва они вынырнут из своих занятий, ждет хор поздравлений от поджидающих их поклонников?⁹

Если бы Рэнд внимательнее читала свои произведения, она могла бы разглядеть в этом будущую иронию. Как бы ей ни нравилось сталкивать гения с массами, ее литература всегда указывала на тайное сродство между ними. В обоих наиболее знаменитых ее романах отчужденный герой получает возможность произнести длинную речь в свою защиту перед необразованной и неграмотной аудиторией. Рорк выступает перед судом присяжных, состоящим из «самых грубых лиц», который включает «водителя грузовика, каменщика, электрика, садовника и трех фабричных рабочих». Джон Голт в конце романа «Атлант расправил плечи» часами говорит по радио для миллионов слушателей. В обоих случаях героя принимают, его гениальность находит признание, отчуждение удается преодолеть. И это потому, что, как объясняет Голт, «между рациональными людьми» нет конфликта интересов, что для Рэнд является способом сказать — у всех историй счастливый конец¹⁰.

8. Heller, *Ayn Rand*, 155, 275, 292; Rand, *Fountainhead*, 24–25; http://en.wikipedia.org/wiki/1957_in_literature, accessed April 8, 2011; <http://atlasshrugged.com/book/history.html#publication>, accessed May 1, 2010.

9. Heller, *Ayn Rand*, 88, 186, 278.

10. Rand, *Fountainhead*, 675; Ayn Rand, *Atlas Shrugged* (New York: Plume, 1957, 1992), 1022.

Таким образом, главным в романах Рэнд является конфликт не между индивидом и массами. А между полубогом-творцом и всеми теми непродуктивными элементами общества — интеллектуалами, бюрократами, посредниками — которые стоят между ним и массами. С эстетической точки зрения — это китч. С политической отдает фашизмом. Общеизвестно, что аргумент о связи между китчем и фашизмом поистрепался с годами. Но, несомненно, пример Рэнд достаточно показателен, чтобы снова вернуться к вопросу об этой связи.

Она родилась 2 февраля, три недели спустя после начала провальной революции 1905 года. Ее родители были евреями. Они жили в Петербурге, городе с давней традицией ненависти к евреям. К 1914 году перечень ограничений, распространявшихся в нем на лиц еврейской национальности, занимал почти 1000 страниц, включая положение, согласно которому евреи должны составлять не более 2% от всего населения. Девочку звали Алиса Зиновьевна Розенбаум.¹¹

Когда ей было около пяти лет, она спросила маму, могут ли ей купить такую же кофточку, как у двоюродных сестер. Мама сказала «нет». Она попросила чашку чая, такого, как подавали взрослым. И мама снова сказала «нет». Девочка задалась вопросом, почему она не может получить то, что хочет. Она поклялась, что когда-нибудь она это получит. В дальнейшей жизни Рэнд сделает далеко идущие выводы из этого опыта. Равно как и Хеллер: «Сложная и противоречивая философская система, над которой она продолжит работать на четвертом и пятом десятке своей жизни, была в сущности ответом на этот вопрос и увековечиванием этого проекта».¹²

Рассказанная в таком виде, эта история — чистейшая Рэнд. Сосредоточенность на отдельном происшествии как носителе и катализаторе драматической судьбы. Возведение банального случая из детства в большую философию. Какой ребенок не заупрямится, когда ему отказывают в том, чего

11. Heller, *Ayn Rand*, 1–3.

12. *Ibid.*, 5.

он хочет? Хотя может показаться, что Рэнд довела юношеский эгоизм до крайности (ребенком она недолюбливала Робина Гуда, подростком смотрела, как ее семья едва ли не умирает с голоду, тогда как она сама наслаждается походами в театр), ее солипсизм не был столь редким и изысканным, чтобы указывать на нечто большее, чем обычный подростковый эгоцентризм.¹³ Наконец, кое-кому случается проговариваться, что их взгляд на мир — всего лишь случай задержки в развитии. «Дело не в том, что жевательная резинка подрывает метафизику, — однажды написал о массовой культуре Макс Хоркхаймер, — но в том, что она и *есть* метафизика, вот что нужно прояснить».¹⁴ Рэнд очень хорошо это прояснила.

Однако этот анекдот указывает на одну отличительную характеристику Рэнд. Она не связана с ее мнениями и вкусами, которые были весьма средними и традиционными. Рэнд называла своим первым учителем в области литературы Гюго. Еще одним эталоном был «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана. Она ставила Рахманинова выше Баха, Моцарта и Бетховена. Ее оскорбило допущенное одним из рецензентов, якобы, глупое сравнение «Источника» с «Волшебной горой». Манн, на ее взгляд, был посредственным автором, равно как и Солженицын.¹⁵

И не самомнение Рэнд выделяло ее среди других. Она тяготела к карикатурному и грандиозному, это верно. Своему многолетнему ученику и любовнику, который был намного ее моложе, Натаниелю Брандену, она сказала, что он должен будет желать ее, даже когда ей будет 80 и она будет передвигаться в инвалидной коляске. В своих эссе она часто цитирует речи Голта, как если бы этот литературный герой был реальным человеком, философом масштаба Платона или Канта. Она утверждала, что создала себя сама, без чьей-либо помощи, хотя на протяжении всей жизни пользовалась щедротами социал-демократической системы. Высшее образование она получила благодаря Великой Октябрь-

13. Heller, *Ayn Rand*, 29; Jennifer Burns, *Goddess of the Market: Ayn Rand and the American Right* (New York: Oxford University Press, 2009), 14–15.

14. Цит. по: Theodor Adorno, *Prisms* (Cambridge: MIT Press, 1967), 109.

15. Heller, *Ayn Rand*, 32, 35, 69, 159, 299, 395–396.

ской революции, которая открыла доступ в университеты женщинам и евреям и сделала образование бесплатным, как только большевики пришли к власти. Субсидируя театр для народа, большевики также дали возможность Рэнд регулярно, раз в неделю, смотреть пошлые оперетки. После того как в апреле 1936 года в Нью-Йорке закончились представления первой пьесы Рэнд, Управление общественных работ отправило пьесу в турне по стране, обеспечив Рэнд неплохой доход в 10 долларов с каждого спектакля на всем протяжении 1930-х годов. Библиотекари в Публичной библиотеке Нью-Йорка помогали ей в ее изысканиях при создании «Источника».¹⁶ И все же ее нарциссизм, вероятно, был не более (и уж точно не менее) необходимым для выживания, чем нарциссизм любого начинающего автора.

Нет, по-настоящему отличительным свойством Рэнд было ее умение транслировать ощущение себя в реальность, силой воли превращать воображаемую идентичность в материальный факт. Не быть великой, но уметь убедить других, даже проницательных биографов, в своем величии. Хеллер, например, неоднократно хвалит «оригинальный, острый, как бритва, ум» Рэнд и ее «молниеносно быструю логику», заставляя сомневаться в том, что она читала ее произведения. Она утверждает, что «ни одна писательница со времен Джордж Элиот не умела так убедительно писать от лица мужчины», как Рэнд.¹⁷ Неужели Хеллер действительно думает, что Рорк или Голт более правдоподобны или убедительны, чем Лоренс Селден или Ньюлэнд Арчер из романов Эдит Уортон? Или маленький Джеймс Рэмзи, герой романа Вирджинии Вульф «На маяк», который, кажется, в свои шесть лет обладает большей психологической глубиной, чем та, которую любой из героев Рэнд, будь то мужчина или женщина, демонстрируют на протяжении всей своей жизни?

У Бернс, интеллектуального историка американских правых, больше информации и здравомыслия, чем у Хеллер, журналистки, которая порой кажется иностранным корреспондентом, нуждающимся в хорошем переводчике (Троцкого она идентифицирует как «бывшего подручного» Ленина,

16. Ibid., 38–39, 44, 82–83, 114, 336, 371.

17. Ibid., 9, 11, 15.

а также заявляет, что герои Рэнд являются двухмерными, поскольку они призваны воплощать политические идеи, а не эмоциональную сложность, как будто Достоевский, Стендаль и целый ряд других писателей, включая такую посредственность, как Манн, не сумели воплотить обе эти стороны). Но даже Бернс время от времени поддается обаянию Рэнд. Она пишет, что «Рэнд одной из первых сумела выявить устрашающую силу современного государства и привлечь к этому внимание народа», с чем можно согласиться, если только отбросить Монтескье, Годвина, Констана, Токвиля, Прудона, Бакунина, Спенсера, Кропоткина, Малатесту и Эмму Голдман. Бернс утверждает, что Рэнд не нравились «беспорядочные протесты богемных студентов» 1960-х, потому что она «была воспитана на высокой европейской традиции». И что же это за традиция? Оперетты и Рахманинов? Мелодрамы и кино? В заключение она пишет, что непреходящая ценность Рэнд «остается» в ее призыве «быть верной себе», в идее, которая, насколько я помню, фигурировала в одной пьесе о датском принце, написанной за несколько столетий до того, как Рэнд появилась на свет.¹⁸

Чтобы понять, как Алиса Розенбаум создала Айн Рэнд, нам нужно проследить ее путь не от предреволюционной России, как это с ошибочной самонадеянностью делается в указанных биографиях, но от места назначения после отъезда из России в 1926 году — Голливуда. Ибо где еще, как не на фабрике грез Рэнд могла научиться создавать грезы — об Америке, капитализме и себе самой?

Еще до того, как Рэнд попала в Голливуд, Голливуд был в ней. Только в 1925 году она посмотрела 117 фильмов. Именно в кино, по словам Бернс, Рэнд «разглядела Америку» — и, нужно добавить, приобрела устойчивое чувство повествовательной формы. Как только она там оказалась, с ней произошла ее собственная, очень голливудская история. Ее открыл Сесил Б. ДеМилль, заметив, как она болтается по студии в поисках работы. Его заинтриговал ее выразительный взгляд, он прокатил ее на своей машине и дал работу в массовке, которую она быстро обратила в халтуру по написанию сценариев. Через несколько лет ее сценарии стали

18. Burns, *Goddess of the Market*, 3, 229, 285.

привлекать к себе внимание ведущих игроков, заставив одну газету поместить статью под заголовком «Русская девушка ловит удачу за хвост в Голливуде».¹⁹

Рэнд, конечно, была не единственным выходцем из Европы, приехавшим в Голливуд в период между двумя войнами. Но в отличие от Фрица Ланга, Ханса Эйслера и других изгнанников, оказавшихся среди палм и софитов, Рэнд не сбежала в Голливуд, она приехала туда по собственному горячему желанию. Билли Уайлдер приехал и расправил плечи, Рэнд пришла на полусогнутых. Ее задачей было научиться искусству фабрики грез, а не отточить или улучшить его: как превратить хороший анекдот в захватывающую историю, рядового человека — в супергероя (или злодея), всем трюкам мелодраматического повествования, призванным убедить миллионы зрителей, что жизнь проживается в лихорадочном напряжении. Более того, она научилась применять эту алхимию к себе самой. Айн Рэнд была Нормой Десмонд наоборот: она была маленькой, картинки стали большими.

Играя роль Философа, Рэнд любила называть своим учителем Аристотеля. «Никогда еще столь многие, — в чьи ряды она нехарактерным образом включала себя, — не были стольким обязаны одному человеку».²⁰ Неясно, много ли Рэнд в действительности читала Аристотеля: когда она не цитирует Голта, она склонна приписывать греческому философу высказывания и идеи, которых нет ни в одном из его сочинений. Один из предполагаемых аристотелизмов, который Рэнд любила цитировать, появился вместе с ложной атрибуцией в автобиографии Альберта Джея Нока, влиятельного либертарианца эпохи Нового курса. В рэндовском экземпляре мемуаров Нока, как указывает в примечании Бернс, этот абзац был выделен «шестью вертикальными чертами»²¹.

Рэнд также любила цитировать аристотелевский закон тождества или непротиворечивости — идею того, что все то-

19. Ibid., 16–17, 21, 27.

20. Ayn Rand, *For the New Intellectual* (New York: Signet, 1961), 18.

21. Burns, *Goddess of the Market*, 307.

ждественно само себе, сокращенно «А есть А», — как основу для защиты эгоизма, свободного рынка и ограничения государства. Такой перенос приводит поклонников Рэнд в особое восхищение, а ее критиков, даже самых дружелюбных, — в возбуждение. За несколько месяцев до своей смерти в 2002 году гарвардский философ Роберт Нозик, самый аналитически изощренный из либертарианцев XX века, сказал, что «применение этого принципа логики людьми, принадлежащими к рэндовской традиции, совершенно необоснованно; насколько я могу судить, оно нелегитимно».²² В 1961 году Сидни Хук писал в *New York Times*:

Со времен своего крещения во времена Средневековья Аристотель часто использовался в странных целях. Но ни одна не была страннее, чем этот, так сказать, священный союз Аристотеля с Адамом Смитом. Невероятные достоинства, которые мисс Рэнд находит в законе «А есть А», подсказывают, что она не подозревает, что логические принципы сами по себе могут только поверять непротиворечивость. Они не могут устанавливать истину... Когда мисс Рэнд клянется в верности Аристотелю, она претендует на то, чтобы вывести из логики не только факты, но и, с теми же ничтожными основаниями, этические правила и экономические законы. В том виде, как она их понимает, законы логики уполномочивают ее заявлять, что «существование существует», что почти равносильно признанию того, что законы гравитации тяжелые, а формула сахара — сладкая.²³

Независимо от того, читала ли Рэнд Аристотеля или нет, ясно, что он не оказал на нее особого воздействия, особенно в том, что касается этики. У Аристотеля особый подход к морали, расходящийся с современными представлениями, и хотя Рэнд осознавала это отличие, суть его была ей недоступна. Подобно собранию классиков в переплетах из кожзаменителя на полке в гостиной, Аристотель был нужен, чтобы произвести впечатление на компанию и, в случае Рэнд, отвлечь внимание от реальных дел.

22. Julian Sanchez, «An Interview with Robert Nozick» (July 26, 2001), <http://www.trinity.edu/tjensen/NozickInterview.htm>, accessed April 8, 2011.

23. Sidney Hook, «Each Man for Himself», *New York Times*, April 9, 1961, BR3.

В отличие от Канта, образцового представителя современности, утверждавшего, что правота наших деяний определяется только разумом, не запятанным потребностью, желанием или интересом, у Аристотеля этика укоренена в человеческой природе, в привычках и практиках, нравах и склонностях, которые делают нас счастливыми и обеспечивают наше процветание. И если Кант полагал, что мораль состоит из суровых правил, налагающих на нас безусловные обязательства и требующих самой усердной жертвы, Аристотель клал в основу нравственной жизни добродетели. Это качества или состояния, лежащие между разумом и чувствами, но сочетающие в себе и то и другое, которые ведут нас самыми мягкими и тонкими средствами к дальним вершинам благого поведения. Когда мы их достигаем, мы воодушевляемся и получаем возможность подняться на еще более высокие вершины, а оттуда еще выше. У добродетельно поступающего человека развивается характер, который хочет и может поступать добродетельно и находит в добродетели счастье. Такое совпадение мысли и чувства, разума и желания достигается благодаря добродетельным поступкам на протяжении всей жизни. Другими словами, добродетель не столько свод правил, которые следует соблюдать, несмотря на самое яростное сопротивление своей природы, сколько питательная почва, смазка и топливо правильно функционирующей души.

Если Кант — атлет моральной жизни, то Аристотель — ее виртуоз. Рэнд же в ней — сочинительница мелодрам. Ей, обучавшейся не в Афинах, а в Голливуде, не хватает терпения для тихого привыкания к добродетелям, которое вытекает из аристотелевской этики. Вместо этого она возвращается к любимому образу героического индивида, стоящего на трудном пути. Эта трудность ни в коем случае не связана с путаницей или двусмысленностью; у Рэнд, настаивавшей, что мораль всегда есть «вопрос черного и белого», вызвал отвращение «культ нравственной серости».²⁴ Этот путь делают опасным — не для героя, который, кажется, от рождения приспособлен к нему, а для нас всех — препятствия, лежащие на нем. Праведный поступок приносит невзгоды,

24. Rand, «The Cult of Moral Grayness», in *The Virtue of Selfishness*, 92.

лишения и изгнание, тогда как несправедный — богатство, положение и признание. Отказавшись следовать архитектурным конвенциям, Рорк оказался каменотесом в карьере. Питер Китинг, двойник Рорка, предает всех, включая себя самого, а за него в городе поднимают тосты. В конце распределение наград и наказаний, естественно, будет пересмотрено: Рорк — счастлив, Китинг — жалок. Но от этого конечно-го итога нас отделяет долгий путь.

В своих эссе Рэнд пытается покрыть образы поверхностным аристотелевским гляncем. Для нее этика также коренится в человеческой природе, и она отказывается проводить различие между эгоистическим интересом и благом, нравственным поведением и желанием или потребностью. Но для Рэнд мерой добра и зла, добродетели и порока является не счастье и процветание, а суровые и непреклонные крайности жизни и смерти. Как она пишет в «Объективистской этике»:

Прочитую Джона Голта: «На свете есть один главный выбор — жизнь или смерть, и касается он только живых организмов. Неодушевленная материя существует безусловно, а жизнь — нет; она зависит от особых действий. Материю нельзя уничтожить, она меняет форму, но не может исчезнуть. Перед альтернативой „жизнь или смерть“ постоянно встают лишь живые организмы. Жизнь — это процесс самосохранения и самовоспроизводства. Если какой-либо организм не может его продолжать, он погибает; составные элементы остаются, но *его* уже нет. Понятие „ценность“ возможно благодаря понятию „жизнь“. Благо или зло могут существовать только для чего-то живого».²⁵

Защитники Рэнд любят говорить, что она подразумевала под «жизнью» не только биологическое самосохранение, но благую жизнь аристотелевского добродетельного человека, то, что Рэнд называла «выживанием человека как человека».²⁶ Верно, Рэнд не была так уж увлечена жизнью как таковой или жизнью ради жизни. Это было бы слишком прозаично. Но натурализм Рэнд очень далек от аристоте-

25. Rand, «Objectivist Ethics», 16.

26. Tara Smith, *Ayn Rand's Normative Ethics: The Virtuous Egoist* (New York: Cambridge University Press, 2006), 28–29; Rand, «Objectivist Ethics», 25.

левского натурализма. Для него жизнь есть данность; для нее это вопрос, и именно этот вопрос делает жизнь как таковую столь важным предметом и источником размышления.

Ценность жизни придает именно постоянно присутствующая возможность того, что она может закончиться (и однажды действительно закончится). Рэнд никогда не говорила о жизни как о данности или почве. Это условие, выбор, который мы должны делать не один раз, а снова и снова. Смерть отбрасывает тень на дни нашей жизни, наделяя их безотлагательностью и весом, которых они в противном случае были бы лишены. Она требует бдительности, готовности к тому, что любой момент жизни может оказаться судьбоносным. «Нельзя действовать как зомби», — увещевает Рэнд.²⁷ Короче, именно смерть придает жизни драматизм. Она наделяет важностью наши решения — не только крупные, но и мелкие, повседневные. В мире Рэнд солнце всегда в зените. Такое существование, по крайней мере, для героев Рэнд, не выматывает и не лишает сил, а наоборот, возбуждает и воодушевляет.

Если эта идея имеет какой-то отголосок в сфере морали, то его можно услышать не в произведениях Аристотеля, а в железной поступи фашизма. Идея жизни как борьбы со смертью, представление о том, что каждый момент чреват гибелью, каждый выбор несет в себе судьбу, над каждым действием тяготеет уничтожение, чье смертельное давление порождает нравственный смысл — это лозунги европейской ночи. В своей знаменитой речи в Берлинском дворце спорта в феврале 1943 года Геббельс заявил: «Все, что служит ей и служит ее борьбе за существование, есть благо и должно поддерживаться и возвращаться. Все, что вредоносно для нее и для ее борьбы за существование, есть зло и должно устраняться и уничтожаться».²⁸ «Она» — это немецкая нация, а не рэндовский индивид. Но если отделить местоимение от его контекста — прислушаться к звучащему шуму триум-

27. Rand, «Objectivist Ethics», 28.

28. *The Nazi Germany Sourcebook*, ed. Roderick Stackelberg and Sally Winkle (London: Routledge, 2002), 302–303.

фа и воли, бытия и небытия, сохранения и уничтожения — сходство между моральным синтаксисом Рэнд и фашизмом становится очевидным. Мерилом блага становится жизнь, жизнь — это борьба против смерти, и лишь наша каждодневная бдительность препятствует победе одной над другой.

Без сомнения, Рэнд оспорила бы это сравнение. В конце концов, индивид и коллектив — это не одно и то же. Рэнд считала, что первый является экзистенциальным фундаментом, второй — независимо от того, принимает ли он форму класса, расы или нации — моральным чудовищем. А там, где Геббельс говорил о насилии и войне, Рэнд говорила о коммерции и торговле, производстве и экономике. Но фашизм не так уж враждебен к героическому индивиду. И, более того, порой индивид находит свое самое сокровенное призвание в экономической деятельности. Экономические сочинения Рэнд не только не указывают на расхождения с фашизмом, они демонстрируют его неустрашимый отпечаток.

Вот Гитлер говорит с группой промышленников в Дюссельдорфе в 1932 году:

Вы утверждаете, господа, что немецкая экономика должна быть создана на основе частной собственности. Теперь такая концепция частной собственности может поддерживаться на практике, если у нее обнаружится логическое основание. Это концепция должна черпать свое этическое оправдание из гипотезы о том, что диктуется природой.²⁹

Рэнд тоже считала, что капитализм уязвим для нападков, потому что ему не достает «философской базы». Если он хочет выжить, он должен иметь рациональное оправдание. Мы должны «начать с начала», с самой природы. «Чтобы поддерживать в себе жизнь, существо любого биологического вида должно осуществлять четкую программу, предопределенную его природой». Поскольку разум — это «средство выживания» человека, природа диктует, что «человек процветает или терпит неудачу, выживает или гибнет пропорционально степени его рациональности» (Отметим соскальзывание от успеха и неудачи к жизни и смерти.) Капитализм — единственная система, которая признает, ин-

29. *The Nazi Germany Sourcebook*, 105.

корпорирует этот завет природы. «Капитализм признает и защищает не что иное, как основополагающую, метафизическую данность природы человека, связь между применением разума и выживанием».³⁰ Как и Гитлер, Рэнд находит «логическое основание» для капитализма в природе, в борьбе человека за выживание.

Будучи далек от того, чтобы отдавать приоритет коллективу перед индивидом или подводить индивида под коллектив, Гитлер считал, что именно «сила и власть индивидуальной личности» определяет экономическую (и культурную) судьбу расы и нации.³¹ Вот в 1933 году он обращается к еще одной группе промышленников:

Все позитивное, хорошее и ценное, что было достигнуто в мире в области экономики или культуры, можно приписать только важности личности... Всеми земными благами, которыми мы владеем, мы обязаны борьбе немногих избранных.³²

А вот слова Рэнд из работы «Капитализм. Неизвестный идеал» (1967):

Исключительные люди, новаторы, интеллектуальные гиганты... Они входят в исключительное меньшинство, которое поднимает целое свободное общество до уровня своих собственных достижений, при этом стремясь все выше и выше.³³

Если первая часть экономических взглядов Гитлера прославляет романтический гений индивидуального промышленника, вторая показывает, что из первой вытекает экономическое неравенство. Как только мы признаем «выдающиеся достижения индивидов», говорит Гитлер в Дюссельдорфе, мы должны сделать вывод, что «не все люди одинаково ценны или важны». Частная собственность «может быть морально и этически оправдана, только если мы признаем, что люди различаются своими достижениями». Понимание природы поощряет уважение к героическому

30. Rand, *Capitalism: The Unknown Ideal* (New York: Signet, 1967), 2, 6, 8, 11, 24.

31. *Nazi Germany Sourcebook*, 131.

32. *Ibid.*, 130.

33. Rand, *Capitalism*, 18.

индивиду, которое поощряет апологию неравенства в его самой порочной форме. «Созидательные и разрушительные силы внутри народа всегда борются друг с другом». ³⁴

У Рэнд столь же резкая апология неравенства. Прочитую из речи Голта:

Человек, стоящий наверху интеллектуальной пирамиды, приносит больше всего пользы тем, кто стоит под ним, но не получает ничего, кроме материального вознаграждения, не получает от других никакого интеллектуального бонуса, который он мог бы добавить к ценности своего времени. Человек у основания пирамиды, который, предоставленный самому себе, умер бы с голоду в силу своей безнадежной беспомощности, не приносит ничего стоящим над ним, но получает бонус от всех их умов. Такова природа «соперничества» между сильными и слабыми интеллектами. Такова модель «эксплуатации», за которую вы прокляли сильных. ³⁵

Путь Рэнд от природы к индивидуализму и к неравенству также заканчивается в мире, разделенном между «созидательными и разрушительными силами». В каждом обществе, по словам Рэнд, есть «творец» и паразитирующая «посредственность», у каждого из них своя природа и свой кодекс. Первый «позволяет человеку выжить». Второй «не способен на выживание». ³⁶ Первый порождает жизнь, второй приносит смерть. В романе «Атлант расправил плечи» битва идет между производителем и «мародерами» и «нахлебниками». Она тоже должна закончиться жизнью или смертью.

То, что Рэнд очутилась в такой компании, не должно вызывать удивления, ибо с нацистами ее объединяет общее наследие вульгарного ницшеанства, которое преследовало радикальных правых, будь то в либертарианском или фашистском изводе, с самого начала XX столетия. Как показывают Хеллер и, в особенности, Бернс, Рэнд очень рано увлеклась Ницше и это увлечение никогда не ослабевало. Ее кузен

34. *Nazi Germany Sourcebook*, 105, 131.

35. Rand, *Atlas Shrugged*, 1065.

36. Rand, *Fountainhead*, 681.

шутил: Ницше «подбил тебя на все твои идеи». Первой книгой на английском языке, которую Рэнд купила по прибытии в Америку, была «Так говорил Заратустра». Ницше вдохновил ее на следующие пассажи в ее дневнике: «секрет жизни» в том, что «ты должен быть чистой волей. Знать, чего хочешь, и делать это. Знать, что ты делаешь и почему, каждую минуту. Только воля и контроль. Пусть все остальное идет к черту!». В ее записях часто попадаются фразы «мы с Ницше считаем» и «как говорил Ницше». ³⁷

Рэнд очень увлекала идея преступника как морального героя, ницшеанского переоценщика всех ценностей; по словам Бернс, она «считала преступность неотразимой метафорой для индивидуализма». Литературный Леопольд и Лёб, ³⁸ она придумала новеллу по мотивам реального случая убийцы, задушившего двенадцатилетнюю девочку. Убийца, говорила Рэнд, «рожден с прекрасным, свободным, легким сознанием — в силу абсолютного отсутствия социального инстинкта или стадного чувства. Он не понимает, *потому что у него нет органа понимания*, необходимость, смысл или важность других людей». ³⁹ Это неплохое описание класса господ из «Генеалогии морали» Ницше.

Хотя защитники Рэнд утверждают, что позднее ее влюбленность в Ницше прошла, Бернс проделывает прекрасную работу, демонстрируя ее живучесть. Прежде всего, есть фигура Рорка: «Делая заметки относительно личности Рорка, — пишет Бернс, — она говорила себе: „Посмотреть, что писал Ницше о смехе“». Знаменитая первая строчка книги указывает на центральное место этой связи: «Ховард Рорк засмеялся». ⁴⁰ А потом еще и «Атлант расправил плечи», которую Леопольд фон Мизес, один из светил австрийской школы, хвалил в таких выражениях:

37. Burns, *Goddess of the Market*, 16, 22, 25; Heller, *Ayn Rand*, 57.

38. Натан Леопольд (1904–1971) и Ричард Лёб (1905–1936) — знаменитые американские преступники, студенты Чикагского университета, совершившие в 1924 году убийство четырнадцатилетнего Роберта Франка и приговоренные к пожизненному заключению. По их замыслу, это убийство должно было стать «идеальным преступлением», доказывающим, что они являются ницшеанскими «сверхчеловеками». — *Прим. перев.*

39. Burns, *Goddess of the Market*, 28, 70.

40. *Ibid.*, 42.

У вас есть мужество сказать массам то, чего им не говорил ни один политик: вы — люди второго сорта, и всеми улучшениями условий своей жизни, которые вы принимаете как должное, вы обязаны усилиям людей, которые лучше вас.⁴¹

Но влияние Ницше проникло в творчество Рэнд глубже, став эмблематичным для всего движения консервативных правых, начиная с их рождения в тигеле Великой французской революции. В течение всей жизни Рэнд была атеисткой, испытывавшей особую враждебность к христианству, которое она называла «лучшим детским садом для коммунизма».⁴² Это утверждение Рэнд не представляет еретическую тенденцию внутри консерватизма, а канализирует традицию подозрительного отношения правых к пагубному действию религии, в особенности христианства, на современный мир. Если многие консерваторы с 1789 года поддерживали религию и христианство как противоядие против демократических революций XVIII—XIX веков, более прозорливые среди них разглядели в религии, или, по крайней мере, в некоторых ее аспектах, пособника революции.

Жозеф де Местр, наиболее прозорливый из французских контрреволюционеров раннего периода, сказал об этом одним из первых. Архикатолик, он относил Французскую революцию к горьким лекарствам Реформации. Протестантизм, приветствовавший «частное толкование» Писания, вымостил путь векам цареубийств и бунтов в низших слоях общества.⁴³

Но одно из самых великих бедствий рода человеческого выходит из монастырской тени: появляется Лютер, за ним следует Кальвин. Крестьянская война; Тридцатилетняя война; французская гражданская война; ... убийство Генриха III, Генриха IV, Марии Стюарт, Карла I; и в наши дни, наконец,

41. Burns, *Goddess of the Market*, 177.

42. *Ibid.*, 43

43. Joseph de Maistre, *St. Petersburg Dialogues*, trans. and ed. Richard Lebrun (Montreal: McGill-Queen's University Press, 1993), 335. Бёрк также возводил Французскую революцию к Реформации. См.: Conog Cruise O'Brien, *The Great Melody: A Thematic Biography and Commented Anthology of Edmund Burke* (Chicago: University of Chicago Press, 1992), 452–453.

французская Революция, которая истекает из того же источника.⁴⁴

Ницше, сын лютеранского пастора, радикализировал этот аргумент, изобразив все христианство, да и всю западную религию вплоть до иудаизма, как мораль рабов, психический бунт людей более низкого порядка против лучших. Прежде чем возникла религия или даже мораль, существовали разум и чувствительность господствующего класса. Господин взглянул на свое тело — его силу и красоту, его превосходство и запасы власти — и увидел его, и сказал, что это есть хорошо. А потом ему пришла в голову запоздалая мысль, и он взглянул на раба, и увидел, и сказал, что это есть плохо. Раб никогда не обращал взгляд на себя: он был поглощен завистью и обидой на господина. Будучи слишком слаб, чтобы разгневаться и отомстить, он затеял тихий, но смертельно опасный бунт ума. Он назвал все атрибуты господина — власть, равнодушие к страданиям, бездумную жестокость — злом. Он стал говорить о своих атрибутах — мягкости, смирении, терпении — как о благе. Он придумал религию, которая сделала грехом эгоизм и заботу о себе, а путем к спасению — сострадание и заботу о других. Он вообразил всеобщее братство верующих, равных перед Богом, и проклял господский порядок неравного распределения превосходства.⁴⁵ Современный остаток этого бунта рабов, поясняет Ницше, нужно искать не в христианстве или даже в религии, а в демократических и социалистических движениях XIX века:

Другая христианская концепция, не менее безумная, еще глубже вошла в ткань современности: концепция «равенства душ перед Богом». Эта концепция представляет собой прототип всех теорий равенства прав: человечество сначала научили бормотать о равенстве в религиозном контексте, и только позднее равенство было включено в мораль: неудивительно, что в конце концов люди стали воспринимать его всерьез,

44. Joseph de Maistre, *Considerations on France*, ed. Richard Lebrun (New York: Cambridge University Press, 1974, 1994), 27; Жозеф де Местр. *Рассуждения о Франции*. М.: РОССПЭН, 1997, с. 47.

45. Friedrich Nietzsche, *On the Genealogy of Morals*, trans. Walter Kaufmann (New York: Random House, 1967), 24–56.

применяя его практически! — то есть политически, демократически, социалистически.⁴⁶

Когда Рэнд набрасывается на христианство как на предтечу социализма, когда выступает против альтруизма и жертвенности как опрокидывания подлинной иерархии ценностей, она пестует то течение в консерватизме, которое рассматривает религию не как лекарство, но как пособника левых. А когда она, пусть неумело, обращается к Аристотелю за альтернативной моралью, повторяет путешествие Ницше назад к античности, где он надеялся найти мораль господствующих классов, не запятнанную эгалитарными ценностями низших слоев.

Хотя рэндовская антирелигиозная защита капитализма может показаться неуместной на современном политическом небосклоне, мы правильно сделаем, если вспомним недавнее возрождение интереса к ее книгам. Только в 2008-м было продано более 800 000 экземпляров ее романов. Как совершенно справедливо замечает Бернс, «Рэнд сегодня присутствует в американской культуре гораздо активнее, чем при жизни». Действительно, Рэнд постоянно упоминают в качестве того автора, который оказал определяющее влияние на все новое поколение республиканских лидеров; Бернс называет ее «главным наркотиком, открывающим ворота в жизнь правых».⁴⁷ Независимо от того, упоминается ее имя или нет, присутствие Рэнд ощутимо в озабоченности, которую можно все чаще уловить в речах правых, говорящих о том, что в институте и учении христианства есть нечто злое.

Умоляю вас, поищите слова «социальная справедливость» или «экономическая справедливость» на вебсайтах вашей церкви. Если найдете их, бегите как можно быстрее. Социальная или экономическая справедливость — это кодовые слова. Итак, советуем ли я людям оставлять свои церкви? Да.

46. Friedrich Nietzsche, *The Will to Power*, trans. Walter Kaufmann and R.J. Hollingdale (New York: Random House, 1967), 401. См. также: Nietzsche, *Genealogy*, 36, 54; Friedrich Nietzsche, *Beyond Good and Evil* (New York: Vintage, 1989), 116.

47. Burns, *Goddess of the Market*, 2, 4.

Это слова Глена Бека из его шоу на радио 2 марта, в котором он выступил, скажем, практически против всех церквей: католической, епископальной, методистской, баптистской — и даже своей собственной — Церкви Святых Последних Дней.⁴⁸

Сама по себе Рэнд не имеет особого значения. Интерес к ней вызывает резонанс ее творчества в американской культуре — и неприятные ассоциации, с которыми связан этот резонанс. Она чем-то напоминает тех самых «посредственностей», о которых говорит Рорк: «Их реальность не внутри них, но где-то в том промежутке, что отделяет одно тело от другого. Не сущность, а отношение... посредственность действует, но источник ее действия разбросан по всем остальным живущим людям».⁴⁹ Кажется, на этот раз он знает, о чем говорит.

Но в конце концов загадка Рэнд остается по-прежнему неразгаданной: каким образом эта даже не посредственность, а второсортица может оказывать столь устойчивое влияние на культуру в целом?

У нас есть целая литература, от Мелвилла до Мамета, посвященная мошенникам и дельцам, и соблазнительно рассматривать Рэнд как одно из мошенничеств и афер, периодически возникающих в американском пейзаже. Но не следует поддаваться этому соблазну. Рэнд представляет нечто другое, более устрашающее. Мошенник — лжец, который может уверить в истинности вещей, возможно, лучше, чем любой из нас. Ему ничего не остается: если он хочет состричь со своих овец, он должен знать, кто эти овцы и кем они хотели бы быть. Работая на ничейной земле между фактом и фантазией, мошенник может позолотить лилию, если только знает, какова она на самом деле. Но у Рэнд нет желания наводить позолоту. Для нее позолоченная лилия уже реальность. Что еще можно добавить? Она даже носи-

48. <http://yglesias.thinkprogress.org/archives/2010/03/beck-vs-social-justice.php>, accessed April 8, 2011; <http://yglesias.thinkprogress.org/archives/2010/03/lds-scholars-confirm-mormon-commitment-to-social-justice.php>, accessed April 8, 2011.

49. Rand, *Fountainhead*, 606.

ла на лацкане побрякушку, указывающую на это: сделанную из золота булавку в форме доллара.

Начиная с XIX века в задачи левых входило держать перед либеральной цивилизацией с ее высокими ценностями зеркало и говорить: «Вы выглядите не так». Вы утверждаете, что верите в права человека, но защищаете только права собственности. Вы утверждаете, что выступаете за свободу, но это только свобода сильных управлять слабыми. Если вы хотите жить в соответствии со своими принципами, уступите их демиургу. Позвольте неимущим взять власть в свои руки, и идеал станет реальностью, метафора материализуется.

Рэнд считала, что это встреча земли и неба может быть достигнута другими средствами. Вместо того чтобы переделывать мир по образу рая, она искала рай в образе мира. В политических изменениях не было необходимости. Было достаточно пресуществления. Скажите пару слов, махните рукой, и идеал станет реальностью, метафора материализуется. Идеалистка самого примитивного толка, Рэнд взяла целое столетие социалистических дихотомий и все их сгладила. Неудивительно, что столь многие обвиняли ее в нетерпимости: когда небо и земля так плотно спрессованы друг с другом, остается ли место для несогласия?

Успех Рэнд не нуждается в объяснении и сам себя объясняет. Рэнд работала на чисто американском полигоне — рядом с людьми вроде Ричарда Никсона, Рональда Рейгана или Глена Бека — где мусор приобретает авторитет и всякий бред получает благословение. Именно там она узнала, что мечты не сбываются. Они уже *реальны*. Сделай из своей метафизики жвачку, и твоя жвачка будет метафизикой. А есть А.

Глава 4. *Шиворот-навыворот*¹

1960Е СПРАВЕДЛИВО вспоминают как годы культурных разногласий и политических волнений, но при этом ошибочно считают годами, которые пришли в движение исключительно благодаря левым», — пишет Джордж Уилл в предисловии к переизданию «Совести консерватора» Барри Голдуотера². Несколько десятилетий тому назад подобное утверждение вызвало бы если не свист и насмешки, то недоумевающие взгляды. Но с тех пор появилось множество книг, доказывающих, что большинство политических инноваций последних пяти десятилетий было предложено правыми, что заставило историков пересмотреть общепринятые взгляды на послевоенную Америку, включая 1960-е. Новый консенсус отражен во вступлении к «Подъему консерватизма в Америке, 1945–2000» Рональда Стори и Брюса Лори: «Главным событием американской политики со времен Второй мировой войны является возникновение консервативного движения»³. Однако по какой-то причине Уилл все еще считает, что его сподвижники недостаточно оценены и признаны.

Уилл едва ли является первым консерватором, считающим себя изгнанником в собственной стране. Подобное чувство преследовало консервативное движение с самого начала, когда эмигранты бежали от Французской революции, а Эдмунд Бёрк и Жозеф де Местр выступали в их защиту.

1. Впервые опубликовано в: Corey Robin, «Out of Place», *The Nation* (June 23, 2008): 25–33.

2. George Will, foreword to Barry Goldwater, *The Conscience of a Conservative* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007, 1960), xi.

3. *The Rise of Conservatism in America, 1945–2000: A Brief History with Documents*, ed. Ronald Story and Bruce Laurie (Boston: Bedford/St. Martin's, 2008), 1.

Рожденный в тени потерь и утрат — собственности, положения, памяти, наследства, места под солнцем, — консерватизм остается собранием беженцев. Даже будучи уверенным в своих позициях, консерватор строит из себя школьного прогульщика. Создана ли подобная смесь отверженности и власти ради манипуляций или существует в реальности, именно она — один из источников его привлекательности. Как писал Уильям Ф. Бакли при учреждении *National Review*, клеймо отверженного делало консерватора «чуть ли не центром притяжения всего города»⁴.

Хотя более утонченные защитники консерватизма часто называют Давида Юма и Адама Смита светилами движения, их сочинения, как мы уже увидели, неспособны объяснить одну странность консерватизма: пожалуй, впервые в истории правящий класс заявлял о своих притязаниях, основываясь на ощущении того, что он был жертвой. Стражи Платона были мудры; король Фомы Аквинского — добр; суверен Гоббса, по крайней мере, был сувереном. Но лучшая защита монархии, которую смог отыскать Местр, состояла в том, что будущий монарх учился «в ужасной школе несчастий» и перенес страдания в «суровой школе испытаний»⁵. Местр не зря предложил подобную защиту: игра в плебейство, как мы теперь знаем, является важнейшим оружием в арсенале консерватора. И все же подобная защита сбивает с толку. В конце концов, если основное подношение принца ко столу заключается в том, что он — нищий, почему тогда не усадить за стол самого нищего?

Консерваторы просили нас не повиноваться им, а жалеть их — либо повиноваться, раз мы их жалеем. Первым политическую теорию жалости сформулировал Руссо, за что был прозван «Гомером неудачников»⁶. Но не претендует ли и Бёрк, с его эмоционально взвинченным описанием Ма-

4. William F. Buckley Jr., «Publisher's Statement on Founding *National Review*», *National Review* (November 19, 1955), in *Rise of Conservatism in America*, 51.

5. Joseph de Maistre, *Considerations on France*, trans. and ed. Richard A. Lebrun (New York: Cambridge University Press, 1974, 1994), 69, 74; Жозеф де Местр. *Посуждения о Франции*. М.: РОССПЭН, 1997, с. 115, 123.

6. Judith N. Shklar, «Jean-Jacques Rousseau and Equality», in *Political Thought and Political Thinkers*, ed. Stanley Hoffmann (Chicago: University of Chicago Press, 1998), 290.

рии-Антуанетты, приведенным в первой главе — «преследуемая женщина», которую из ее спальни в Версале «почти нагую» выволокли «адские фурии» и погнали к «Бастилии для королей» в Париже, — на подобный титул?⁷

Мария-Антуанетта была особым типом проигравшего, человеком, обладавшим всем, а затем в один момент лишившимся всего. В ее падении Бёрк видел архетип классической трагедии, — великую личность, сломленную роком. Но самое большее, на что может надеяться любой герой трагедии, — это понимание своей судьбы: колесо времени нельзя повернуть вспять, а страдания — отменить. Консерваторы, однако, не довольствуются подобным разъяснением. Они желают восстановления и возврата, — возможности, которую открывают перед ними новые силы революции и контрреволюции. Отождествив себя с жертвами, они становятся современными людьми, опытными игроками политического рынка, где правые и их лишения идут нарасхват.

Реформаторы и радикалы должны убеждать зависимых и обездоленных в том, что у них есть права и власть. Но не консерваторы. Они возмущены и благородны — возмущены, потому что их благородные права попорчены, — и уже убеждены в праведности своего дела и неизбежности триумфа. Таким образом, они играют в жертву и победителя с убежденностью и ловкостью, о которых низы могут только догадываться. Что делает из них грозных претендентов на нашу лояльность и привязанность. Бедны мы или богаты или где-то посередине, консерватор, как сказал Хьюго Янг о Мэгги Тэтчер, является одним из нас⁸.

Но каким образом они убеждают нас в том, что мы — одни из них? Делая привилегии демократическими, а демократию — аристократической. Консерватор не защищает Старый порядок с большой буквы; он выступает от имени старых порядков — семьи, завода, поля. Там обычные мужчины, а иногда и женщины начинают играть роль маленьких господ, наблюдающих за своей челядью, как будто все они на-

7. Edmund Burke, *Reflections on the Revolution in France*, ed. J. C. D. Clark (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2001), 232–233; Эдмунд Бёрк. *Размышления о революции во Франции*. М.: Рудомино, 1993, с. 172.

8. Hugo Young, *One of Us: A Biography of Margaret Thatcher* (London: Pan Books, 1989, 1991).

ходятся в феодальном поместье. Задолго до того, как Хью Лонг заявил, что «каждый человек — король», куда менее однозначные виды демократов произносили практически те же слова, только с иным наполнением: обещая демократию в управлении другими, в точности так, как монарх управляет своими подданными. Задача консерватизма подобного типа — демократический феодализм — становится ясной: окружить эти старые порядки заборами и воротами, защитить их от таких назойливых «гостей», как государство или общественное движение, разворачивая при этом дискуссии об изменчивости и новшествах, свободе и будущем.

Делать привилегии привлекательными для широких масс — неизменный план консерваторов; но каждое поколение должно подстраивать его к требованиям своего времени. Задача Голдуотера заявлена в самом заголовке книги: показать, что у консерваторов есть совесть. Не сердце — он устраивал разнос Эйзенхауэру и Никсону за попытки доказать, что республиканцы способны сочувствовать и сострадать⁹, — или мозги, в чем сомневались либералы, начиная с Джона Стюарта Милля до Лайонела Триллинга, — а именно совесть. Политическим движениям часто приходится убеждать своих последователей в том, что они добьются успеха, что их дело — правое, а их лидеры — толковые, но им редко приходится доказывать, что их путь — путь «внутреннего света». Голдуотер считал иначе: для привлечения новых избирателей и сплочения приверженцев консерватизм должен отстаивать свой идеализм и целостность, свою абсолютную независимость от капитала, от привилегий и материализма — от самой реальности наконец. Если им суждено изменить реальность, консерваторы должны оторвать себя, по крайней мере, в своих представлениях, от реальности¹⁰. В этом отношении он не так далек от Бёрка, предупреждавшего правящие классы Британии о том, что именно тогда, когда они должны были «защищать великое множество ценностей» от якобинской угрозы и обладали «великими

9. Goldwater, *Conscience of a Conservative*, 1.

10. *Ibid.*, xxiii.

средствами для их защиты», они выглядели как «мастер... запутавшийся в своих же инструментах». Обладание огромными «средствами», заключал Бёрк, «может быть помехой» в борьбе с революцией¹¹. В последние годы стало модным выставлять республиканца истинно верующим, который отверг консерватизм, отказавшись от его врожденного скептицизма и духа постепенного приспособления. Голдуотер был независимым и раздражительным, испытывавшим отвращение ко всему отупляющему (и советскому); Буш (или неоконсерватор, или член «движения чаепития») — негибасмым доктринером, проводящим в жизнь прописные и святые истины. Но консерватизм всегда был движением с определенным кредо, хотя бы только из желания противопоставить что-то кредо левых. «У той стороны есть идеология, — заявляла Тэтчер. — У нас она тоже должна быть»¹². Для противостояния левым правым пришлось подражать левым. «Какими бы ничтожными они ни были, — с восхищением писал Джон С. Кэлхун об аболиционистах, — своим образом действия они приобрели столько влияния»¹³.

Голдуотер понял это. Во время «позолоченного века» консерваторы выступали против профсоюзов и правительственных постановлений, ссылаясь на свободу рабочих заключать договор со своим нанимателем. Либералы возражали, что эта свобода была иллюзорной: рабочим недоставало средств, чтобы заключать договоры так, как им бы хотелось; настоящая свобода требовала средств материальных. Голдуотер соглашался, обращая при этом данный аргумент против «Нового курса»: высокие налоги лишали рабочих их заработков, делая их менее свободными и способными быть свободными. Вслед за Джоном Дьюи он вопрошал: «Как может быть действительно свободен человек, если у него нет доступа к средствам осуществления свободы?»¹⁴ Франклин Делано Рузвельт утверждал, что консерваторы больше заботились

11. Edmund Burke, *Letters on a Regicide Peace* (Indianapolis: Liberty Fund, 1999), 69.

12. Young, *One of Us*, 406.

13. «Speech at the Meeting of the Citizens of Charleston», in *Union and Liberty: The Political Philosophy of John C. Calhoun*, ed. Ross M. Lence (Indianapolis: Liberty Fund, 1992), 536.

14. Goldwater, *Conscience of a Conservative*, 54.

о деньгах, чем о людях. Голдуотер говорил то же о либералах. Обращаясь к проблеме благосостояния и заработной платы, они «смотрят лишь на материальную сторону человеческой природы» и «подчиняют все другие соображения материальному благосостоянию человека». Консерваторы, напротив, апеллируют к «целостному человеку», делая его «духовную природу» своей «главной заботой» в политике и ставя «материальные вещи на отведенное им место»¹⁵.

Эти романтические стенания, направленные против экономизма «Нового курса», созвучные критике новых левых, не были протестом против политики или правительства; Голдуотер вовсе не был либертарианцем. Это была попытка улучшить политику и правительство, направить общественную дискуссию на более благородные и более славные цели, чем управление земными благами и материальным благосостоянием. Но, в отличие от новых левых, Голдуотер не отвергал общество изобилия. Вместо этого он превратил приобретение материальных благ в акт самоопределения, посредством которого человек «незаурядный» мог обособить себя от «неопределенной массы»¹⁶. Накопление богатств служило не только осуществлению свободы посредством материальных средств, но и способом помыкания другими.

В своем эссе о консервативной мысли Карл Мангейм утверждал, что консерваторы никогда не были в восторге от идеи свободы. Ведь она угрожает подчинению низов верхам. Но поскольку свобода — универсальный язык современной политики, консерваторы «инстинктивно поняли, что идею свободы как таковую атаковать не следует». Вместо этого они сделали свободу ширмой неравенства, а неравенство — ширмой покорности. Как они утверждают, люди от природы неравны. Свобода требует, чтобы они могли развить данные им от природы неравные таланты. Свободное общество должно быть неравным обществом, состоящим из радикально отличающихся и иерархически упорядоченных частиц¹⁷.

15. Goldwater, *Conscience of a Conservative*, 2.

16. *Ibid.*, 3–4.

17. Karl Mannheim, «Conservative Thought», in *Essays on Sociology and Social Psychology*, ed. Paul Kecskemeti (London: Routledge & Kegan Paul, 1953), 106; Карл Мангейм. *Диагноз нашего времени*. М.: Юрист, 1994, с. 604.

Голдуотер никогда не отвергал свободу; на самом деле он ее прославлял. Но не приходится сомневаться, что он считал ее едва ли не синонимом неравенства либо войны, которую он называл «ценой свободы». Свободное общество защищало «абсолютную непохожесть» каждого «на любого другого человека», причем под «отличием» понималось здесь выше- или нижестоящее положение. И именно «инициатива и амбиции незаурядных людей» — самых необыкновенных и превосходных из людей — сделала нацию великой. Свободное общество замечает таких людей на ранних этапах жизни и дает им ресурсы, необходимые для достижения превосходства. Выступая против тех, кто разделял «эгалитаристское представление о том, что у всех детей должно быть одинаковое образование», Голдуотер выступал за «образовательную систему, которая будет определять таланты и подогревать амбиции наших лучших студентов и... тем самым сможет подготовить для нас будущих лидеров»¹⁸.

Мангейм также утверждал, что консерваторы чаще превозносят группы — расы или нации, — а не индивида. Расы и нации обладают уникальными чертами, которые должны быть сохранены во имя свободы. Они суть современные эквиваленты феодальных сословий. Они обладают специфическими и неравными чертами и функциями; пользуются разными и неравными привилегиями. Свобода — это защита таких привилегий, являющихся явным выражением самобытного духа той или иной группы¹⁹.

Голдуотер отвергал расизм (хотя не национализм); но, как бы он ни старался, при обсуждении свободы он не мог сопротивляться узам феодализма. Он называл права штатов «краеугольным камнем» свободы, «нашим главным оплотом против захвата индивидуальной свободы» федеральным правительством. В теории штаты защищали индивидов, а не группы. Но кем в 1960 году были эти индивиды? Голдуотер утверждал, что индивидом мог быть каждый, что права штатов не имели ничего общего с расовой сегрегацией. Однако даже он был вынужден признать, что сегрега-

18. Goldwater, *Conscience of a Conservative*, 3, 78–79, 119.

19. Mannheim, «Conservative Thought», 107; Мангейм. *Духовное нашего времени*, с. 604–605.

ция «сегодня является наиболее ярким выражением принципа» прав штатов²⁰. Риторика в поддержку прав штатов призвана была сохранить белые привилегии. Будучи, несомненно, самым слабым пунктом в платформе консерваторов, от которого в конечном итоге пришлось отказаться, выступление Голдуотера в поддержку прав штатов прекрасно вписывалось в традицию, в которой свобода означала защиту неравенства и суррогат массового феодализма.

Голдуотер провалился на выборах в президенты 1964 года. Но его дети и внуки неизменно выигрывали благодаря расширению круга недовольных, в который, помимо белых южан, вошли теперь мужья и жены, протестанты и вообще все белые, а также благодаря дальнейшему усвоению и видоизменению языка левых²¹. Приспособление к левым не сделало американский консерватизм менее реакционным — не больше, чем признание Местром и Бёрком того, что Французская революция навсегда изменила Европу, смягчило ее консерватизм. Скорее оно сделало консерватизм более гибким и более успешным. Чем больше он приспособливался, тем более реакционным становился.

Евангелические христиане были идеальными рекрутами консерватизма, умело разыгрывая жертву для восстановления власти белых. «Пришло время народу божьему выйти из заточения», — заявлял один техасский телесевангелист в 1980. Но не религия заставляла относиться к ним с подозрительностью, а религия в сочетании с расизмом. Одним из основных катализаторов движений христианских правых была защита частных школ Юга, созданных в ответ на десегрегацию. К 1970 году 400 000 белых детей ходили в подобные «сегрегационные академии». Такие штаты, как Миссисипи, предоставляли студентам гранты на обучение, а налоговая служба США освобождала от уплаты налогов тех, кто жертвовал средства на содержание этих школ, пока администрация Никсона не положила конец этой прак-

20. Goldwater, *Conscience of a Conservative*, 17–18, 25.

21. «Introduction», in *Rightward Bound: Making America Conservative in the 1970s*, ed. Bruce J. Schulman and Julian E. Zelizer (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008), 4.

тике²². По словам основоположника движения «новых правых» и прямой почтовой рассылки Ричарда Вигери, нападки на эти государственные субсидии со стороны борцов за гражданские права и судов «стали искрой, которая побудила религиозных правых прийти в реальную политику». Хотя создание сегрегационных учебных заведений «нередко в точности совпадало с десегрегацией некогда чисто белых государственных школ», — пишет один историк, их сторонники утверждали, что защищают религиозные меньшинства, а не превосходство белой расы (большинство школ, которые изначально были внеконфессиональными, со временем стали евангелическими). Они отстаивали свободу, а не неравенство — не свободу объединения с белыми, как утверждало предыдущее поколение борцов, а свободу практиковать свою собственную, готовую дать отпор любому религию²³. Это оказалось весьма дальновидной перестановкой. В один миг наследники рабовладельцев стали потомками преследуемых баптистов, а сегрегация — ересью, которую первая конституционная поправка была призвана защитить.

Противостояние женскому движению также оживило христианских правых. Антифеминизм попал в консервативную повестку довольно поздно. В начале 1970-х сторонники поправки о равных правах еще находили поддержку в лице Ричарда Никсона, Джорджа Уоллеса и Строма Термонда; даже Филлис Шлафли называла эту поправку чем-то «средним между безобидным и отчасти полезным». Но как только феминизм вышел на «чувствительную частную арену взаимоотношений между полами», пишет историк Маргарет Спруил, абстрактные фразы правового равенства приобрели более глубокое и конкретное значение. Поправка о равных правах, как мы видели в главе 1, вызвала контрреволюцию, которую начали Шлафли и другие женщины и которая была столь же стихийной и почти столь же разнообразной, как и само движение, которому оно противостояло²⁴. Контрреволюция была столь успешной — не просто

22. Matthew D. Lassiter, «Inventing Family Values», and Joseph Crespino, «Civil Rights and the Religious Right», in *Rightward Bound*, 14, 90–91, 93.

23. Crespino, «Civil Rights», 91, 92–93, 97, 102–103.

24. Marjorie J. Spruill, «Gender and America's Right Turn», in *Rightward Bound* 77–79.

в деле противостояния этой поправке, но в продвижении республиканской партии к власти, — что, казалось, она лишь подтверждала феминистские взгляды. Если женщины могли быть столь эффективны в качестве политических деятелей, почему им не быть в Конгрессе или Белом доме?

Шлафли осознавала эту иронию. Она понимала, что женское движение высвободило желание власти и независимости у женщин, которое будет уже не просто подавить. Если женщинам приходилось возвращаться в домашнюю «ссылку», они рассматривали такое отступление не как поражение, а как еще одну победу в долгой борьбе за свободу и власть женщин. Как мы увидели в главе 1, она описывала себя как защитника, а не противника прав женщин. Поправка о равных правах была «лишением женщин их прав», как она настаивала, «прав жены и ее младших детей на поддержку» мужа. Акцентируя внимание на «правах жены в браке, хозяйки в доме», Шлафли укрепила представление о том, что женщины в первую очередь являются женами и матерями, а единственной их потребностью является защита, обеспечиваемая мужьями. В то же время она описывала подобные взаимоотношения с помощью либерального языка прав. «Жена имеет право на поддержку» со стороны своего супруга, заявляла она, рассматривая женщину как заявляющую о своих правах феминистку, а ее мужа как государство всеобщего благосостояния²⁵.

Как и их католические предшественники из Франции XVIII века, христианские правые усвоили не только идеи, но и манеры и нравы своих оппонентов. Билли Грэм выпустил альбом «Рэп-сессия: Билли Грэм и студенты читают рэп по вопросам современной молодежи». Евангелические христиане сначала критиковали культуру нарциссизма, а затем колонизировали ее. Джеймс Добсон из организации «В фокусе семья»²⁶ начинал как детский психолог в университете Южной Калифорнии, соперничая с д-ром Споком как автор бестселлеров в области детского воспитания.

25. «Interview with Phyllis Schlafly», *Washington Star* (January 18, 1976), in *The Rise of Conservatism in America*, 104–105.

26. «В фокусе семья» — американская общественная евангельская христианская организация. Деятельность направлена на «воспитание и защиту богом установленного института семьи и продвижение библейской истины во всем мире».

Евангелические книжные магазины, по мнению историка Пола Бойера, «распространяли книги о лечении и самопомощи, предлагающие советы в области финансов, свиданий, свадеб, депрессии и зависимости с евангелической точки зрения». Наиболее смелой оказалась экранизация книги Хэла Линдси «Бывшая великая планета Земля». Хотя она популяризировала христианские пророчества о конце света, повествователем в фильме был Орсон Уэллс, главный «плохой мальчик» народного фронта²⁷.

Наиболее интересные случаи заимствования правых у левых пришли, однако, из большого бизнеса и администрации Никсона. Деловые круги стремились завоевать симпатии студенческого движения. Используя сленг и неформальный язык, пишет историк Бетани Мортон, представители корпораций оставили «свои строгие костюмы в шкафу», чтобы выдать капитализм за осуществление идей освобождения, участия и аутентичности в духе 1960-х. Студенты Кентского университета, которых всколыхнуло вторжение американских войск в Камбоджу (и последовавшее за этим жестокое убийство четверых студентов), сформировали филиал Студентов в свободном предпринимательстве (SIFE)²⁸, один из 150 в стране. Они выступили спонсорами конкурса «Battle of the bands», для которого один из участников написал следующие слова:

Нет, мне не стать счастливым,
коря с девяти до пяти.
Уж лучше жить бедным
Чем прожить во лжи
Но если бы я скопил денег,
а может быть, взял займы,
то смог бы начать свое дело,
добиться своей мечты.

27. Lassiter, «Inventing Family Values», and Paul Boyer, «The Evangelical Resurgence in 1970s American Protestantism», in *Rightward Bound*, 19–20, 34, 37, 40–41.

28. «Студенты в свободном предпринимательстве» (SIFE) формируют команды в университетах, разрабатывают и реализуют проекты обучения различных групп населения базовым понятиям, идеям, законам свободного предпринимательства и умению ориентироваться в свободной рыночной экономике.

На территории кампусов открывались институты малого бизнеса, популяризируя идею «бизнесмена как жертвы, а не притеснителя». Бизнес привнес грамшианскую тактику и в средние школы. В Арканзасе SIFE выступали в школьных аудиториях со скетчами из сериала Милтона Фридмана на PBS «Свобода выбора». В 1971 году в Аризоне был принят закон, требующий от выпускников средних школ пройти курс по экономике, чтобы они, по мысли инициаторов закона, имели «какую-то базу» для противостояния «профессорам-коллективистам или социалистам». Двадцать штатов последовали этому примеру. Аризонские студенты могли не посещать занятия, если они знали, как правильно сочетать слова «вмешательство правительства в систему свободного предпринимательства» и «пагубно для свободного рынка».²⁹

Самый ловкий политик Никсон был мастером произносить речи левых, действуя как правый. Никсон понял, что лучшим ответом движению за гражданские права будет не защита белых от черных, а превращение белых в этническое меньшинство, имеющее свою собственную историю угнетения и нуждающееся в своих собственных освободительных движениях. Когда иммигранты из Южной и Восточной Европы угодили в «плавильный котел» и стали белыми, Никсон и представители национального религиозного возрождения 1970-х «снабдили американцев европейского происхождения новым средством отстаивания гражданских прав в тот самый момент, когда требовать чего-либо от государства, основываясь на своей принадлежности к белой расе, становилось все менее законным», — пишут историк Том Сагрю и социолог Джон Скрентни. Под руководством Никсона республиканская партия была преобразована в правую версию демократической городской машины. Поляки и итальянцы получили назначения на высокие должности в его администрации, и Никсон вел энергичную кампанию в районах белых меньшинств. Он даже сказал однажды, что «чувствует в себе итальянскую кровь». Порой усилия Никсона не были чисто символическими —

29. Bethany E. Moreton, «Make Payroll, Not War», in *Rightward Bound*, 53, 55–57, 65, 69.

предложение 1971 года должно было распространить действие программы компенсационной дискриминации («позитивных действий»³⁰) на «членов некоторых этнических групп, в основном восточно-, средне- и южноевропейского происхождения, таких как итальянцы, греки и славяне», — но большая их часть была простой риторикой. Что, однако, не делало их менее убедительными: новый словарь белой этничности... помог создать «романтизированное прошлое, полное тяжелого труда, дисциплины, четко определенных гендерных ролей, а также крепких семей», что обеспечило новым языком новую эпоху, а также и сам старый порядок³¹.

Мать Барри Голдуотера была потомком Роджера Уильямса³². Его отец, ставший прихожанином епископальной церкви, — потомком польских евреев. Когда Голдуотер участвовал в выборах 1964 года, Гарри Голден едко заметил: «Я всегда знал, что первый еврей, баллотирующийся на пост президента, будет членом епископальной церкви»³³. Если руководствоваться историей консерватизма, возможно, ему следовало бы баллотироваться как еврею.

30. Позитивные действия — план или программа, направленные на устранение последствий расовой дискриминации или дискриминации по половому признаку при приеме на работу или поступлении в учебные заведения, а также предотвращение случаев такой дискриминации в будущем.

31. Thomas J. Sugrue and John D. Skrentny, «The White Ethnic Strategy», in *Rightward Bound*, 174–175, 189, 191.

32. Роджер Уильямс (1603?–1683) — религиозный деятель, основатель колонии Род-Айленд, выдающийся мыслитель колониального периода.

33. Rick Perlstein, *Before the Storm: Barry Goldwater and the Unmaking of the American Consensus* (New York: Hill & Wang, 2001), 17.

Глава 5.

*Бывшие консерваторы*¹

ВЕСНОЙ 2000 года Алекс Стар, редактор ныне не существующего журнала *Lingua Franca*, поручил мне написать очерк о Джоне Грэе и Эдварде Люттваке, двух «полевевших» интеллектуалах-консерваторах. На протяжении всего лета и осени я брал у них интервью, как и у других консерваторов, таких как У. Ф. Бакли, Ирвинг Кристол и Норман Подхорец. Это было непростое время для правых. Билл Клинтон еще был президентом; 11 сентября еще не случилось. Это было время процветания, — война оставалась далеким воспоминанием, а ученые продолжали твердить о конце истории. Тот момент невероятно отличался от сегодняшнего и оказал большое влияние на представления консерваторов об их собственной идеологии и политике. И хотя некоторые наблюдения и утверждения данной статьи устарели, а в некоторые больше не верю я сам, я решил не перерабатывать ее, чтобы сохранить и передать настроение того момента. В главе 8 я даю обзор некоторых вопросов, обсуждавшихся в связи с событиями 11 сентября, войной против терроризма и войной в Ираке.

Есть и другая причина, почему я не переработал данную статью. Хотя я прочел Бёрка, Оукшота и Нозика еще в колледже и аспирантуре, сбор материала для этой статьи и само ее написание оказались моим первым настоящим столкновением с мировоззрением правых. (К сожалению, в американском высшем образовании социологи и историки в ходе своего обучения получают лишь самые поверхностные знания о консерватизме). Эта статья стала для меня своеобраз-

1. Впервые опубликовано в: Corey Robin, «The Ex-Cons: Right-Wing Thinkers Go Left», *Lingua Franca* (February 2001): 24–33.

ным воспитанием чувств, введением в мир агонии и экстаза консервативного ума. Хотя я, конечно же, пересмотрел бы сегодня большую часть статьи — в особенности, исходное допущение о том, что обсуждаемые здесь консерваторы не принадлежат мейнстриму, — она тем не менее позволит читателю понять, что же заинтересовало меня в правых и побудило написать данную книгу.

Уинстон Черчилль, согласно популярному мифу, однажды сказал: «Кто в молодости не был либералом — у того нет сердца, кто в зрелости не стал консерватором — у того нет ума». Он этого не говорил, но его согласие с этим утверждением превратило остроумный комментарий неизвестного происхождения в аксиому политической биографии: радикализм есть привилегия молодости, консерватизм — ответственность зрелости, и каждый мыслящий человек в итоге отказывается от первого в пользу второго. От Макса Истмана до Юджина Дженовезе, Уитекера Чемберса до Рональда Рейгана интеллектуалы кочуют слева направо, словно следуя какому-то закону природы.

Или все же нет? В конце концов, Джон Стюарт Милль опубликовал свою работу «О подчинении женщин», когда ему было шестьдесят три года. В последние десять лет жизни Дидро приветствовал американскую революцию и проклинал Францию как воплощение имперского Рима. А когда Джордж Бернард Шоу обратился к вопросу политики и зрелости, он предположил как раз противоположное высказыванию, приписываемому Черчиллю. «Наиболее выдающиеся люди, — писал Шоу в 1903 году, — по мере взросления становятся только более революционными»².

После окончания холодной войны несколько видных консерваторов последовали его рецепту и стали левыми. Майкл Линд, одно время бывший главным редактором в *The National Interest* Ирвинга Кристола, осудил бывших союзников за ведение «классовой борьбы против американских трудящихся». Их рыночные теории, как он пишет, были

2. Denis Diderot, *Extracts from the Histoire des Deux Indes*, in *Political Writings*, ed. John Hope Mason and Robert Wokler (New York: Cambridge University Press, 1992), 202–203; George Bernard Shaw, *Man and Superman* (New York: Penguin, 2001), 213.

«неубедительными», а их экономическая политика — «отталкивающей».

Арианна Хаффингтон, бывший сторонник Ньюта Гингрича, теперь с яростью обличает Соединенные Штаты, где большинство населения «задыхается от пыли, поднятой быками с Уолл-стрит»³. Гленн Лаури, экономист и бывший любимец неоконсерваторов, теперь щеголяет символикой члена левого движения: он стал одним из бывших друзей Нормана Подхореца. Но самыми блистательными беглецами сегодня являются англичанин Джон Грэй и еврейский эмигрант из Трансильвании Эдвард Люттвак.

В 1970-х Джон Грэй был восходящей звездой новых правых Британии. Сей политолог с оксфордской выучкой воспевал свободный рынок, сновал над Атлантикой, заправляясь высокооктановым либертарианством «мозговых центров» американских правых и, как говорит его давний друг, мог до глубокой ночи увлеченно рассказывать своим друзьям о грядущей «анархо-капиталистической» утопии. Однако после падения Берлинской стены Грэй дезертировал. Вначале он критиковал бахвальство тезиса Френсиса Фукуямы о «конце истории», выдвинутого после победы в холодной войне, и рекомендовал не избавляться от британской Национальной службы здравоохранения. А затем в 1998 году, с высоты нового поста профессора европейской философии при Лондонской школе экономики, он написал книгу под названием «Обманчивое зарево», ставшую беспощадным осуждением экономической глобализации. Обрушиваясь на «ударные части свободного рынка», Грэй предупреждал, что глобальный капитализм вполне сможет «соперничать» с бывшим Советским Союзом «по количеству причиненных им страданий»⁴. Сегодня он постоянный автор *The Guardian* и *New Statesman*, основных британских левых изданий. И его обращение оказалось столь глубоким, что, по слухам, сама Маргарет Тэтчер удивля-

3. Michael Lind, *Up from Conservatism: Why the Right Is Wrong for America* (New York: Free Press, 1997), 235, 257; Arianna Huffington, *How to Overthrow the Government* (New York: Harper Collins, 2001), 8.

4. John Gray, *False Dawn: The Delusions of Global Capitalism* (New York: New Press, 2000), 3, 141.

лась: «Что же случилось с Джоном Грэм? Он же был одним из нас»⁵.

А что же Эдвард Люттвак? Он был одним из приближенных интеллектуалов Рональда Рейгана, блестящим «ястребом», беспощадно критиковавшим либеральную оборонную политику и философски обосновывавшим наращивание военного потенциала Америки в 1980-х. Либеральные критики прозвали его «Сумасшедшим Эдди», однако играя роль доктора Стренджлава и Живаго одновременно, Люттвак безо всяких усилий парировал их аргументы, подгоняя холодную войну к логическому завершению⁶. Однако сегодня он разочарован в победе. Он считает, что Соединенные Штаты превратились в капиталистический кошмар и «зловещее предзнаменование» лидерам, стремящимся высвободить силы свободного рынка в своих собственных странах. Он использует язвительное остроумие, однажды нацеленное против либеральных «голубей», высмеивает «наполеоновские планы» американских бизнес-лидеров, бросает вызов общепринятым представлениям о том, что капитализм и демократия — бессменные союзники («свободные рынки и все менее свободные общества идут рука об руку»), и осуждает вопиющее неравенство, вызванное «турбокапитализмом». Он разносит таких европейских левоцентристов, как Тони Блэр, за измену их социалистическим корням и неготовность «решиться на что-то новое» от имени «простых рабочих». С их «пренебрежительным отношением к бедным и другим неудачникам» и «презрением к широким массам трудящихся», пишет Люттвак, новые демократы клинтоновского разлива и европейские поборники «третьего пути» в действительности «могут проводить только правую политику»⁷.

Изначально и Грэй, и Люттвак были одержимы двумя общими для консерваторов страстями — антикоммунизмом и свободным рынком. Но с падением Советского Союза они

5. Robert Skidelsky, «What's Wrong with Global Capitalism?» *Times Literary Supplement* (March 27, 1998).

6. Michael Gordon, «Right-of-Center Defense Groups — The Pendulum Has Swung Their Way», *National Journal* (January 24, 1981): 128.

7. Edward N. Luttwak, *Turbo-Capitalism: Winners and Losers in the Global Economy* (New York: Harper Perennial, 2000), 15, 193, 195.

начали задавать вопросы о рынке, поднять которые раньше у них не хватило бы духа.

Тем не менее, несмотря на все свое отвращение к разудалому капитализму, Грэй и Люттвак не спешат обратиться к каким-либо его альтернативам: самое большее, на что способен Грэй, это назвать себя «левоцентристом». Левые тоже не горят желанием признать кого-либо из них «своими». Один рецензент «Обманчивого зарева» писал в *In these times*, что Грэй был просто глашатаем старого режима, движимым не столько «искренним неприятием неравенства, несправедливости или бедности», сколько «глубоким страхом политической нестабильности»⁸. После падения коммунизма и установления господства рынка страсть к борьбе, изначально вдохновлявшая Люттвака и Грэя, теперь вынуждена искать себе новое пристанище. Сегодня они — ожесточившиеся изгнанники, затерявшиеся в созданной ими же диаспоре.

Консерваторы обычно представляют себя сдержанными скептиками, выступающими против политического воодушевления. Там, где радикалы склоняются к утопизму, консерваторы приходят к уставшему от жизни реализму. В действительности же консерваторы были пламенными борцами и бунтарями, а также отличались нетерпимостью к сложившимся моральным традициям. Начиная с Эдмунда Бёрка мыслителей от Сэмюэля Тейлора Кольриджа до Мартина Хайдеггера отличало стремление к более интенсивному, почти экстатичному опыту в сфере религии, культуры и даже экономики — каждая из которых, как они полагали, была хранилищем таинственного и невыразимого. Увлекаясь политическим романтизмом, они задевают инструментарий Контрпросвещения, прославляя пьянящую энергию борьбы и осуждая безжизненные нормы разума и права. Как заметил о Жозефе де Местре Исайя Берлин:

Его страстная замороженность кровью и смертью принадлежит иному миру, чем медленная зрелая мудрость помещиков, глубокий покой больших и малых деревенских домов...

8. Kim Phillips-Fein, «Laissez-Faire No More», *In These Times* (July 11, 1999): 19.

Фасад выстроенной де Местром системы, быть может, выдержан в классическом духе, но за ним скрывается нечто ужасающее современное, яростно сопротивляющееся «сладо­сти и свету»⁹.

Противостояние коммунизму и социал-демократии в XX веке стало идеальным объектом подобных консервативных переживаний. Для таких фигур, как Джон Грэй, Советский Союз и государство всеобщего благосостояния были последними главными символами холодного рационализма Просвещения, а свободный рынок — воплощением романтического Контрпросвещения. Но революционных романтиков в конце концов постигает судьба всех романтиков: разочарование. И сегодня, когда коммунизм пал, а свободный рынок торжествует, дух инакомыслия, когда-то вдохновлявший Грея, теперь побуждает к столь же воинствующему отступничеству.

Грэй родился в 1948 году и вырос под Ньюкаслем, портовом городе у Северного моря в угледобывающем районе, всего в пятидесяти милях от Шотландии. В стране, где акцент определяет судьбу человека, слабые отголоски его северо-восточного рабочего происхождения еще можно распознать на слух, что его немного задевает. Его отец был плотником; вся его семья голосовала за лейбористов. Грэй прибыл в Оксфорд в 1968 году, *annus mirabilis* для всех молодых сторонников левых по всей Европе. Щеголяя по моде того времени — «у меня были длинные волосы, но тогда у каждого были длинные волосы», — он путешествует в Лондон, чтобы поучаствовать в демонстрации против Вьетнамской войны. Получив степень по философии, политике и экономике, Грэй остался в оксфордской аспирантуре, где работал над диссертацией по Джону Стюарту Миллю и Джону Ролзу, симпатизировавшим либеральному социализму, который и сам Грэй первоначально находил привлекательным.

Грэй одолел «Теорию справедливости» Ролза, однако ему наскучили попытки извлечь социалистическую стра-

9. Isaiah Berlin, «Joseph de Maistre on the Origins of Modern Fascism», in *The Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas*, ed. Henry Hardy (New York: Vintage, 1992), 126; Исая Берлин. *Философия свободы. Европа*. М.: Новое литературное обозрение, 2001, с. 232, 245.

тегию из либеральной догматики. Отчасти его неприятие было вызвано перегруженной прозой Ролза. По его словам, «эту книгу практически невозможно прочесть». Утомительный стиль Ролза, казалось, отражал более глубокую политическую скуку, навеянную социал-демократией. Его работа, пишет Грэй, была «трансцендентальной дедукцией лейбористской партии 1963 года». Как и многие «новые левые» в Соединенных Штатах, Грэй находил деятельность государства всеобщего благосостояния скучной и не слишком вдохновляющей, подобно разбавленному чаю у серых бюрократов. Как он скажет позднее, государство благоденствия было продуктом «трехстороннего сговора работодателей, профсоюзов и правительства». Это был «колоссальный аппарат», вытягивавший силы и энергию из ослабленных граждан. Тогда балом правил хрупкий компромисс; политические лидеры старались быть всем для всех. Они отказывались «признать реальность конфликтов» и то, что «одно равенство, одно требование справедливости может соперничать с другим»¹⁰. Одним словом, государство всеобщего благосостояния резко отличалось от породившего его радикализма рабочего класса.

В тэтчеризме Грэй углядел отблеск вечной революционности. «Вначале в проекте Тэтчер присутствовал революционный, точнее, большевистский, аспект, который мне показался и необходимым, и крайне волнующим». Тэтчер возглавила консервативную партию как раз тогда, когда Грей обратился в капитализм. Она обещала освободить Британию от удушливой рутины социал-демократии, а свободный рынок — от оков государственного планирования. Не будучи сторонницей эгалитаризма, Тэтчер подогривала амбиции избирателей из среднего и рабочего класса, которые считали свободный рынок средством вертикальной мобильности.

Ее момент истины пришел в 1980 году, когда, после первого года у власти, казалось, что ее политический курс толкал экономику в бездну. Осудив своего предшественника Эдварда Хита за его пресловутый разворот курса, когда, не-

10. John Gray, «After Social Democracy», *Endgames: Questions in Late Modern Political Thought* (Cambridge, U. K.: Polity, 1997), 23–24.

смотря на все свои обещания отказаться от социал-демократии, он капитулировал под давлением левых, Тэтчер в свою очередь столкнулась с давлением со стороны умеренных своей собственной партии — «слезливых» тори, добивавшихся от нее пересмотра курса. Вместо того чтобы пойти на попятную, она бросила в лицо своим склонным к компромиссам критикам памятную фразу: «Разворачивайтесь сами, если вам так хочется. Леди не повернет!»¹¹ Консерваторы были сражены. Норман Барри, еще один тэтчерист, до сего времени бывший близким другом Грэй, вспоминает: «Я думал, что она была просто победившим на выборах не-лейбористом. Но когда она отменила валютное регулирование, я подумал: „А дамочка разбирается в рыночной экономике“. И сказал себе „О да!“. А затем она начала приватизацию и все остальное. Наконец, она не стала менять курс, и я решил: „Это всерьез!“».

Многие сторонники Тэтчер считали себя рыночными революционерами, и Грэй привнес в их борьбу романтику, которая нечасто встречается в неоклассической экономической теории. В 1974 году он начал читать работы Фридриха Хайека, австрийского экономиста и беспощадного критика государственного планирования. Десять лет спустя Грэй опубликовал работу «Хайек о свободе», о которой сам Хайек сказал так: «это первое исследование моих трудов, которое не только полностью понимает мои идеи, но способно довести их до логического завершения». Хайек, которого описывал Грэй, был не бесстрастным защитником прав собственности и низких налогов. Он был экзотичным исследователем скрытых, околорациональных течений человеческой жизни, — голосом Вены, больше имевшим общего с Зигмундом Фрейдом и Людвигом Витгенштейном, чем с Милтоном Фридманом и Робертом Нозиком. Если «Хайек о свободе» был страстной одой рынку, то Грэй стал его тоскующим Байроном.

Многие консерваторы видели в трудах Хайека логическое завершение спокойной и чисто британской традиции политэкономии, идущей от Адама Смита, тогда как Грэй

11. Hugo Young, *One of Us: A Biography of Margaret Thatcher* (London: Pan Books, 1989, 1991), 209.

распознал в представлениях Хайека о свободном рынке «бескомпромиссную современность»¹². Брожение умов, политический экстремизм и социальный упадок, были характерны для Вены рубежа веков, среды, в которой родился Хайек. Из этого вихря возникли психоанализ, фашизм и современная экономика. Каждый из трех бросал вызов старым порядкам знания и политики. Хайек был последователем австрийской школы конца XIX века, утверждавшей, что «экономическая ценность — ценность актива или ресурса — зависит от предпочтений или оценки индивидов, а не от каких-то его объективных свойств»¹³. В то время как классические экономисты от Давида Рикардо до Карла Маркса полагали, что за таинственной пеленой цен должно находиться что-то *реальное* — прежде всего физический труд, — Хайек утверждал, что только эксцентричные предпочтения реальных людей придавали ценность товарам. По Грэй, Хайека преследовала чуть ли не гиперактивная — сравнимая с анархическим «Оно» Фрейда — субъективность, отражавшая венский «опыт почти непреодолимого стремления к упадку и разложению»¹⁴.

В отличие от философов, относивших теоретическое рассуждение к высшей форме знания, Хайек, по словам Грея, полагал, что рациональное понимание было лишь верхушкой айсберга. Под ним лежит непроглядный пласт мыслей, «редко выражаемых теоретическим и специальным языком», и именно духу свободного рынка было под силу использовать их в повседневной экономической деятельности¹⁵.

Предприниматели были идеальными проводниками подобного «неявного знания», передающими его глубокие истины другим акторам рынка. А также романтическими героями, одержимыми поэтическими видениями. «Предпринимательская прозорливость или пронизательность», объяснял Грэй, черпалась не из книг, а являлась следствием «интуиции и чутья». Она была «творческой деятельностью,

12. John Gray, *Hayek on Liberty* (New York: Routledge, 1984, 1998), 2.

13. John Gray, *Liberalism* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1995), 38.

14. John Gray, «Hayek as a Conservative», in Gray, *Post-Liberalism: Studies in Political Thought* (New York: Routledge, 1996), 33.

15. Gray, *Hayek on Liberty*, 37.

которую невозможно было сформулировать в виде жестких и быстрых правил». «Предпринимательская пронизательность» была «за пределами нашей способности сознательного контроля», проявляясь совсем не часто и поражая внезапно и без предупреждения¹⁶. А когда она проявлялась, она преобразовывала весь мир.

Рынок, короче говоря, был приютом для самовыражения и творчества и служил прибежищем экзальтированного Контрпросвещения. Лишенные воображения писатели довольствовались утверждениями о том, что рынки «наиболее эффективно распределяют скудные ресурсы» или что рынок «учитывает мотивы личной выгоды». Однако подобная защита упускала более элементарную истину: рынки делали возможным выражение «всего многообразия человеческих мотивов во всей их сложности и сочетаниях»¹⁷. Рынок служил своеобразной сценой для драматического самовыражения, на которую индивиды могли проецировать свои самые необузданные видения и сильные желания.

Как известно, всем романам приходит конец, но разрыв Грэй с рынком казался особенно бурным. И теперь Грэй осуждает его как бич цивилизации. В Соединенных Штатах, как он пишет, свободный рынок «породил длительный экономический бум, который не принес большинству американцев почти никакой выгоды». Американцы страдают от «неравенства», которое «не слишком отличается от того, что существует в латиноамериканских странах». Средний класс наслаждается сомнительными дарами «экономической и финансовой незащищенности, от которой в XIX веке страдали рабочие». Соединенные Штаты стоят на грани всеобщего социального коллапса, не допустить которого удастся лишь «путем политики массового заключения в тюрьмы» афроамериканцев и других представителей цветного населения. «Пророком сегодняшней Америки, — утверждает Грэй, — является не Джефферсон или Мэдисон...

16. Там же, 14, 37–38.

17. John Gray, «Limited Government: A Positive Agenda», in Gray, *Beyond the New Right: Markets, Government, and the Common Environment* (New York: Routledge, 1995), 15.

а Иеремия Бентам» — человек, который мечтал об обществе, «перестроенном по образу идеальной тюрьмы»¹⁸.

Что самое ужасное, пишет Грэй, глобальные элиты решили сделать американский капитализм моделью для всего мира. Даже если рыночные режимы различаются в зависимости от культуры и страны, верховные жрецы глобализации упорно навязывают единый шаблон американской модели — с минимальным государством всеобщего благосостояния, слабым регулированием бизнеса и окружающей среды и низкими налогами. «В соответствии с „вашиingtonским консенсусом“, — пишет Грэй, — многообразие экономических культур и систем, всегда присутствовавшее в мире, станет излишним. Все они будут сливаться в единый всемирный свободный рынок», основанный на «последнем крупнейшем режиме Просвещения, Соединенных Штатах»¹⁹.

Когда Грэй впервые изложил столь еретические идеи, многие из его консервативных друзей были шокированы. В том числе и Норман Барри — политический теоретик, писавший о Хайеке. Профессор Букингемского университета, единственного стопроцентно частного университета в Британии, он был шафером на второй свадьбе Грэя, однако теперь стал редко говорить с ним. Барри просто не может отделаться от подозрения, что политический разворот Грэя мотивирован чистым оппортунизмом. Он говорит об этом так: «Я верю в одно утверждение неоклассической экономики: каждый человек стремится максимизировать полезность. Возможно, это хороший карьерный ход, который позволит ему освободиться от либертарианства. Это лишь предположение, но оно не лишено оснований. Либертарианцы не получают лучшие места в университетах». Когда Грэй был лишь исследователем в небольшом оксфордском колледже, утверждает Барри, «он говаривал: „Что ж, при здешнем раскладе я не получу кафедры“... Вам не удастся получить должность профессора в Лондонской школе экономики, если вы фанатик свободного рынка». Единственной неизменной чертой в позиции Грэя, по признанию Барри, остается его «философская неразборчивость». Грэй,

18. Gray, *False Dawn*, 2, III, 119.

19. *Ibid.*, 2.

по словам Барри, «всегда менял философов как перчатки... Он не мог остановиться ни на одном мыслителе. Немножко увлекался Поппером, Хайеком. Конечно, позже он бросил и Хайека. А потом пробовал и бросал других».

По словам Грея, переметнулся он по двум причинам. В конце 1980-х он начал бояться того, что политическое мышление правых превращается в застывшую идеологию — совсем в духе скучного ролзианства, от которого он бежал так давно. Одно время Грэй считал тэтчеризм тактически гибким и политически подкованным движением, восприимчивым к настроениям народа, а его лидера — виртуозом политических перемен в стиле Макиавелли. Теперь же он пришел к мнению, что движение в целом утратило сноровку, а подвижность мысли выродилась в повтор заученных заклинаний. Согласно Грэю, «поразительной особенностью большевизма была необычайная гибкость Ленина. Превратившись в троцкизм, движение застыло. Точно так же начал черстветь и тэтчеризм... Именно привычка мышления стала для меня невыносимой».

Развал Советского Союза также заставил Грея пересмотреть свою веру в свободный рынок. По его словам, до 1989 года вполне логично было рассуждать о государстве как о «главном враге благополучия», что, как известно, и происходило в «тепличной атмосфере мозговых трестов правых». Но после падения советской империи в бывшей Югославии начались геноцид и гражданская война, а западные сторонники свободного рынка применили шоковую терапию в бывших коммунистических странах с катастрофическими для тех последствиями, и Грэй стал думать, что государство было просто необходимым злом, а возможно, даже и явным благом. Оно было единственной силой, способной защитить общества от соскальзывания в полнейший хаос, ужасающие неравенство и бедность.

Но у изменения взглядов Грея есть и более глубокая причина: сам по себе рынок не смог бы постоянно подпитывать в людях чувство привязанности. Без Советского Союза и государства всеобщего благосостояния как разных символов рационализма Просвещения, Грэй уже не мог верить в рынок, как когда-то. Рынок, как теперь признает он, продвигает «культ рассудительности и эффективности». Он «рвет нити памяти и разрушает локальное знание». Одно

время он считал, что свободный рынок возникал стихийно и что государственный контроль над экономикой был естественным. Но, наблюдая за действиями Международного валютного фонда в России, он не мог не воспринять свободный рынок как «произведение трюкачества, замысла и политического принуждения». Но рынок должен был быть создан, часто при помощи безжалостной власти государства. Сегодня он утверждает, что Тэтчер построила свободный рынок, раздавив профсоюзы, выхолостив консервативную партию и искалечив парламент. Она «устроила британскому обществу марш-бросок к поздней современности». Грэй полагает, что «у марксизма-ленинизма и экономического рационализма свободного рынка много общего». Оба, по его словам, «не испытывают большой симпатии к жертвам экономического прогресса»²⁰. Есть только одно различие: коммунизм умер.

Однажды Норман Барри по неосторожности признался в том, что не может понять перемены Грея. «Возможно, я просто неправильно его понял, — говорит он, — но думал, что им руководили серьезные убеждения. Во всяком случае никто не смог бы прочитать такое количество научного материала, не веря в какую-то его часть. Но не знаю, была ли у него такая вера». Грэй действительно верил, вот только его вера отличалась от убеждений Барри. Барри любит рынок, поскольку он действует по «железным законам экономики». По его словам, они могут «занять немного больше времени, чем законы Ньютона. Если я брошу этот диск, он упадет через секунду. А если я введу регулирование арендной платы, может пройти полгода, прежде чем появятся бездомные». Но, добавляет он, «все столь же неотвратимо». В отличие от него Грэй однажды верил в капитализм как раз потому, что он стремился избежать власти законов Ньютона. Осознав, что рынок препятствует страстному самовыражению, Грэй был вынужден признать справедливость высказывания Ирвинга Кристола: «Капитализм — наименее романтическая концепция общественного порядка, когда-либо порожденная человеческим умом»²¹.

20. Gray, *False Dawn*, 3, 17, 37, 35, 215.

21. Irving Kristol, *Two Cheers for Capitalism* (New York: Signet, 1979), x.

Когда Эдварду Люттваку перевалило за сорок, позади в его жизни остались нацисты, побег от коммунистов и ранение от левых герильяс в Центральной Америке. Но он до сих пор вспоминает свой переезд в детстве из Палермо в Милан как самое «травматическое» событие его жизни. Родившись в 1942 году в богатой еврейской семье в Румынии, Люттvak рос в Южной Трансильвании, ненадолго оккупированной нацистами в 1944 году. Когда ему было пять лет, его семья бежала от неминуемого коммунистического переворота и обосновалась в Палермо. Была зима, вспоминает Люттvak, «Париж и Лондон замерзали от холода. Не хватало топлива. Милан замерзал не меньше. Ситуация была абсолютно безрадостной». В Палермо же «в полном разгаре шла опера». По его словам, это была «страна апельсинов и лимонов», и люди могли купаться и кататься на лыжах почти круглый год. Пять лет спустя семья снова переехала, на этот раз в Милан, промышленный центр Италии. Миланские «вечные туманы и духота» делали Люттvака несчастным. «Негде было играть. Парки никуда не годились. Я потерял всех своих друзей из Палермо. И очутился... в компании буржуйских ребятишек». Так что с легкой руки суровых дельцов севера его сладкой жизни на Средиземноморье пришел конец.

Большую часть взрослой жизни Люттvak вел активную борьбу против коммунизма. Вдохновляемый стратегическим военным мышлением, в котором Галльские войны соседствовали с гражданскими войнами Центральной Америки, он тесно сотрудничал с Министерством обороны США в качестве консультанта, работавшего со всеми — от младших офицеров до высшего начальства. Но Люттvak был не просто участником холодной войны. Он был *воином* или, по крайней мере, страстным теоретиком «военного искусства». Там, где генералы считали, что победы зависят от удачного копирования управленческого стиля IBM, Люттvak отстаивал старинную военно-полевую тактику и забытые маневры Римской империи. Люттvak призывал военных обращаться за наставлением к Адриану, а не Генри Форду. Это была тяжелая борьба, ведь чаще всего офицеры действовали как бюрократы, а не как простые солдаты. И вновь столь близкому для Люттvака образу жизни угрожала культура капитализма.

Сперва Люттвак прославился в Британии, где он обосновался, закончив Лондонскую школу экономики с дипломом экономиста. В 1968 году он опубликовал книгу под названием «Государственный переворот: практическое пособие». Двадцатилетний автор поразил читателей этим руководством, заставив восхищенного Джона Ле Каррэ написать следующее: «г-н Люттвак составил страшное гастрономическое руководство по приготовлению политического яда. Смелчаки, заглянувшие на его кухню, уже никогда не смогут есть спокойно». В 1970 году Люттвак опубликовал столь же вызывающую статью в *Esquire* под названием «Сценарий для военного переворота в Соединенных Штатах». Два года спустя он переехал в Соединенные Штаты, чтобы написать диссертацию по политологии и классической истории в университете Джонса Хопкинса, проводя всесторонние исследования, используя латинские, немецкие, французские, английские и итальянские источники. Итогом стала получившая широкое признание «Великая стратегия римской империи». Будучи в аспирантуре, Люттвак начал работать консультантом разных родов вооруженных сил США, в итоге давая рекомендации по всем вопросам — от того, как НАТО следует вести тактические маневры, до того, какой тип винтовки должны использовать военные в Сальвадоре.

Когда Рональд Рейган баллотировался на пост президента в 1980 году, Люттвак был на пике своей карьеры. Будучи научным сотрудником Джорджтаунского центра стратегических и международных исследований и регулярным автором *Commentary*, он утверждал, что Соединенные Штаты должны ускорить гонку высокотехнологичных вооружений, втягивая Советский Союз в состязание, которое тот не сможет выиграть. Ближайшие советники Рейгана с готовностью приняли Люттвача в свой круг. Сразу после избрания Рейгана Люттвак был приглашен на званый обед в Бетесде вместе с Джин Киркпатрик, Фредом Икле и другими светилами оборонного истеблишмента республиканцев. Ричард Аллен, ставший впоследствии первым советником Рейгана по вопросам безопасности, манипулировал толпой, делая вид, что раздаст посты в администрации, будто они были простыми сувенирами. Как сообщала *Washington Post*, Люттвак вежливо отказался, объяснив за десертом: «Я не верю, что

такие шелкопёры, как я, должны активно участвовать в политике. Это как икра. Очень приятно, но лишь в малых количествах». В ответ на давление со стороны Аллена он отшутился: «Пожалуй, я бы стал вице-консулом во Флоренции». Аллен отреагировал: «Вы имеете в виду проконсулом?»²²

Добродушие гладиатора подготовительной школы исчезло под конец первого срока Рейгана. Люттвак мог быть неопенимым ресурсом, когда надо было добиться увеличения оборонного бюджета, но он легко находил себе врагов своей громкой — и все более саркастичной — критикой неэффективности Пентагона. В 1984 году он опубликовал «Пентагон и искусство войны», где, среди прочего, он описывал министра обороны Каспара Вайнбергера как ушедшего торговца поддержанными автомобилями, а не как настоящего политика. В ответ военные политиканы вычеркнули Люттвака из списка оказывающих услуги Пентагону консультантов (он продолжил работу по контракту в других секторах оборонного истеблишмента). В 1986 году Вайнбергер разъяснил *Los Angeles Times*, что Люттвак «просто лишился поста консультанта ввиду своей полной некомпетентности»²³.

Но рассорила Люттвака с министерством обороны далеко не только критика Вайнбергера. Его настоящая ошибка в «Пентагоне и искусстве войны» заключалась в нападках на поведение военных во время Вьетнамской войны. Люттвак подверг жесткой критике излюбленные оправдания военных за поражение во Вьетнаме — слабовольные политики, предательская пресса, пораженческие настроения в обществе. Он же утверждал, что воинская элита Америки просто утратила вкус к крови. Во время Вьетнамской войны, писал он, «штабные офицеры» всегда оставались «вдали от боев». Их склонность к «откровенной роскоши» оказывала деморализующее воздействие на воинский дух солдат. Хотя Юлий Цезарь «держал наложниц и катамитов в своей штаб-квартире в тылу, ел с золота и пил самосское вино из кубков с драгоценными камнями», когда он был на передовой со своими солдатами, он «ел то же, что и они, и спал так же, — в палатке, если у войска были палатки, или просто завернувшись в одея-

22. Mary Battiata, «Places of Honor», *Washington Post*, November 15, 1980, F1.

23. *Los Angeles Times*, July 20, 1986, 1.

ло, если таковых не было». Американские же офицеры отказывались «разделять лишения и смертельный риск войны»²⁴.

По мнению Люттвака, яйцеголовые бюрократы также истощали военную мощь. Постоянно стремясь сократить затраты, пентагоновские чиновники настаивали на том, чтобы оружие, техника и программы научных исследований и разработок были стандартизованы. Однако это делало военных более уязвимыми для атак врага. Стандартизированную систему вооружений было легче победить; справившись с одной из них, враг мог преодолеть и все остальные. В том, что касается вооруженных сил, «нам нужно больше „мошенничества, расточительства и некомпетентности“»²⁵.

Высший генералитет был одержим эффективностью отчасти потому, что там лучше разбирались в методах бизнес-менеджмента, чем в военном искусстве. На каждого офицера, имевшего степень по военной истории, было в сто раз больше «тех, чьим высшим личным достижением был диплом по деловому администрированию, менеджменту или экономике». «Зачем вообще летчикам-истребителям получать полное университетское образование, — задавался вопросом Люттвак в *Washington Quarterly*, — если их должны учить лишь тому, как преследовать и убивать с помощью их боевых машин?»²⁶

Главным источником провалов военных, по его мнению, было использование американской корпоративной культуры и ценностей бизнеса. Как и Роберт Макнамара, которого президент Кеннеди перевел в Пентагон из *Ford Motor Company*, большинство министров обороны находились в плену «корпоративных целей». Они искали наименее рискованные и наиболее рентабельные средства достижения поставленной цели. Они предпочитали серые костюмы и избегали «выражения своеобразия своей личности в одежде, речи, манерах и стиле, поскольку любая необычная черта могла вызвать раздражение клиента или банкира при частых для бизнеса случайных встречах». Офицеры были всего лишь «ме-

24. Edward Luttwak, *The Pentagon and the Art of War* (New York: Simon and Schuster, 1985), 33–34.

25. Ibid., 134–135.

26. Ibid., 138–139; *Washington Quarterly* (Autumn 1982): 6–7.

неджерями в униформе», как говорил Люттвак в интервью журналу *Forbes*. Однако, отмечал он, «то, что хорошо для бизнеса, не подходит для смертельного конфликта». Хотя «непритязательный костюм и традиционный стиль» могут быть вполне уместны в офисе, они могут быть фатальными на поле боя; они подавляли инициативность и нестандартность гения²⁷. Заявляя, что капитализм колонизовал — на деле и разрушил — сферы общества, которые, строго говоря, не были экономическими, Люттвак ставил себя в опасную близость с глашатаями марксистской традиции — Юргеном Хабермасом, Георгом Лукачем и даже самим Марксом.

Пока еще существовал Советский Союз, Люттвак мог трансформировать свое презрение к управленческим и корпоративным ценностям в предложения по реформированию вооруженных сил. Борьба с большевизмом полностью захватывала его воображение, побуждая его говорить о принципах индивидуализма, независимости и личного достоинства, которому он научился как ребенок еврейских атеистов. По словам Люттвача, родители научили его тому, что «нужно идти по улице гордо. Как хозяин своей судьбы. Идти, не сутулясь, боясь, что Бог накажет тебя, если ты съешь сэндвич с ветчиной». Он продолжает: «Набожность презирали. Казалось, набожность не имеет ничего общего с достоинством». Достоинство, продолжал он, «было тем, что мы защищали в холодную войну. Оно было идеологическим. Так что я как нельзя более кстати оказался в Соединенных Штатах, стал американцем, поскольку американцы были и остаются крайне идеологизированным народом. Они просто созданы для участия в идеологической борьбе».

Однако теперь, когда битва с коммунизмом выиграна, Люттвак практически утратил интерес ко всему, что связано с военным искусством; он уже не находит захватывающих идеологических оснований для размышлений о стратегии и тактике. «Проблемы безопасности и иже с ними отошли на периферию, — для всех стран, для людей и для меня лично. А я не собираюсь тратить свое существование на что-то

27. Luttwak, *Pentagon and the Art of War*, 138, 140, 143–144; *Forbes* (May 26, 1980), 4.

периферийное... Однажды они представляли собой мощнейший императив. Но это время прошло».

Тем не менее временами Люттвак еще полон энергии для того или иного конкретного проекта. Так, во время одного из наших интервью он беседует по телефону с чиновником из министерства иностранных дел о консультациях в отношении войны против колумбийских партизан. Однако когда я спрашиваю его о том, стоит ли вообще защищать колумбийское правительство, он, в несвойственной для себя манере, медлит, в итоге признавая: «я не знаю, стоит ли вообще что-то защищать, однако думаю, что с партизанами бороться стоит». Я спрашиваю его, почему, и он отвечает, что партизаны связаны с наркоторговцами, которые «творяют все, что им угодно, начиная с того, что спокойно отбирают места в ресторанах Медельина в субботний вечер, — кто-то ждет в очереди своего места, а эти парни просто заходят и садятся за чей-то столик — и заканчивая убийствами».

Возможно, для Люттвака военная борьба уже не таит в себе идеологического шарма, но его недовольство позволяет ему находить время и интеллектуальную свободу, чтобы противостоять врагу, преследовавшему его всю жизнь, — капитализму. «Рынок, — говорит он, — вторгается во все сферы жизни», создавая «бесчеловечное общество». Точно так же, как однажды рыночные ценности угрожали национальной безопасности, теперь они угрожают экономическому и духовному благополучию общества. «Оптимальная производственная система — совершенно бесчеловечна, — объясняет он, — поскольку... вы постоянно меняете число нанимаемых людей, их положение, делаете разные другие вещи, совершенно несовместимые с организацией тем или иным человеком своего частного существования».

Хотя в своей книге 1999 года под названием «Турбокапитализм» Люттвак пишет, что он глубоко верит в достоинства капитализма», его неприятие распространения рыночных ценностей столь сильно, что он оказывается в самом дальнем конце сегодняшнего политического спектра — позиция, которую Люттвак с радостью принимает²⁸. «Эдвард — очень капризный парень как в интеллектуальном, так и во многих

28. Luttwak, *Turbo-Capitalism*, ix.

других отношениях», — говорит бывший редактор *Commentary* Норман Подхорец, один из первых сторонников Люттвака в 1970-х. «Он — белая ворона. Ему не нравится оправдывать ожидания. Откровенно говоря, я даже не знаю, насколько он серьезен в своей последней ипостаси». Люттвак настаивает на том, что он совершенно серьезен. Он призывает к национализации медицины. Выступает за сильное «государство всеобщего благосостояния», заявляя: «если бы у меня был выбор, я бы запретил любую форму благотворительности в стране». Благотворительность — это «отмазка»: она лишает бедных чувства собственного достоинства.

Единственное, что раздражает Люттвака больше, чем необузданный капитализм, — это его активные сторонники из числа представителей элиты — интеллектуалы, политики, политтехнологи и бизнесмены, утверждающие, что «рынок должен править всегда, просто потому, что он всегда более эффективен». Алан Гринспен заслуживает персонального презрения Люттвака: «Алан Гринспен — последователь Герберта Спенсера, что делает из него экономического фашиста». Последователи Спенсера, вроде Гринспена, полагают, что «жесточайшее экономическое давление... побудит людей на... экономические подвиги. Они станут великими предпринимателями или кем-то еще, а если кто-то потерпит неудачу, то так тому и быть». Еще один жупел Люттвака — «Бензопила Эл» Данлэп, странствующий гендиректор, собирающий невообразимые прибыли для акционеров корпораций, увольняя в массовом порядке служащих компаний. «„Бензопила“ делает это, — говорит Люттвак в отношении его мер по сокращению штата, — поскольку он недалек, груб и жесток». Это просто-напросто «экономический садизм». В отличие от Гринспена и Данлэпа, Люттвак «верит, что каждый должен стремиться к рыночной эффективности лишь по мере необходимости, поскольку все, что мы ценим в человеческой жизни, находится в сфере неэффективности — любовь, семья, привязанность, сообщество, культура, старые привычки, удобная поношенная обувь».

Ренегатство Люттвака и Грея показывает, сколько сложностей для консервативного движения создало окончание холодной войны. Становится ясным, что хрупкая коалиция

либертарианцев, традиционалистов и восторженных сторонников свободного рынка, некогда спланивавшаяся антикоммунистической идеологией, долго не продержится. Падение Советского Союза «лишило нас врага, — говорит мне Ирвинг Кристал, интеллектуальный крестный отец неоконсерватизма. — А лишиться врага в политике — серьезная проблема. Вы становитесь расслабленными и подавленными. Интроспективными». Известный своей самоуверенностью, Кристал признается, что посткоммунистический мир приводит его в замешательство: «Это одна из причин, почему я немного пишу сегодня, — говорит Кристал. — У меня нет ответов».

Можно было подумать, что триумф свободного рынка приведет правых интеллектуалов в восторг. Но даже самые почтенные консервативные патриархи обеспокоены тем, что один лишь рынок не сможет поддержать слабеющую энергию движения. В конце концов Рейган и Тэтчер призвали консерваторов в крестовый поход, но идеология свободного рынка, которую они разбудили, с подозрением относится к любой политической идеологии. Логика рынка превозносит частную инициативу, индивидуальное действие, великолепие спонтанного и случайного. На этом фоне сложно думать о политике вообще — не говоря уже о политической трансформации. Уильям А. Бакли-младший говорит мне, что «проблема озабоченности консерваторов рынком состоит в том, что это становится скучным. Вы слышите это один раз, вы усваиваете идею. Но посвятить этому всю свою жизнь было бы страшно хотя бы потому, что это так скучно. Это как секс». Как добавляет Кристал, «американскому консерватизму недостает политического воображения. Он находится под столь сильным влиянием коммерческой культуры и образа мысли, что ему не хватает политического воображения, которое, признаюсь, всегда было достоянием левых». Он продолжает: «если вы прочтете Маркса, то узнаете, на что способно политическое воображение».

Но если у консерваторов возникли проблемы с выбором стратегии, способны ли на большее бывшие консерваторы? В отличие от Кристола, бежавшего от левых и организовавшего неоконсервативное движение, Люттвак и Грэй не сформулировали внятных философских либо политических альтернатив своим прежним кредо. По словам Лютт-

вака, «вместо выдвижения полноценной контридеологии, я лишь предлагаю, чтобы общество признало, что некоторые вещи должны быть защищены от рынка». Вот что он предлагает, несмотря на всю свою зачарованность революционными порывами. «Я предпочитаю „Марсельезу“ мессе, Маяковского — кресту Св. Георгия». Он добавляет: «революции — это что-то восхитительное. Все развлекаются. Я был в Париже в 1968 году... Там было удивительное ощущение того, что возможно все». И хотя Люттвак, возможно, и тоскует по преобразующей политике, она остается для него недоступной и служит объектом ностальгии не только для него, но и для большинства интеллектуалов.

За исключением, как выясняется, Уильяма Ф. Бакли-младшего, главного хулигана американских правых. В завершение нашего интервью я попросил Бакли представить молодую версию самого себя, честолюбивого политического *enfant terrible*, закончившего колледж в 2000 году и несущего современному политическому миру тот же мятежный дух, носителем которого Бакли был в свое время. Какую политику бы этот молодой Бакли избрал? «Я бы стал социалистом, — отвечает он. — В духе Майка Харрингтона». Он делает паузу. «Я бы даже сказал, коммунистом».

Может ли он действительно представить молодого коммуниста Билла Бакли? Он признает, что с трудом. У настоящего Билла Бакли было преимущество в лице Советского Союза в качестве врага; без его эквивалента такому двойнику пришлось бы столкнуться с более сложной задачей. «Этот новый Бакли сфокусировался бы на других вещах», — говорит он. Бакли приводит длинный список вопросов из повестки левых — борьба с бедностью в мире, смертность от СПИДа. Но даже он, кажется, внезапно озадачен подобным проектом (совершенно в духе Бакли) «смешения всего и вся в захватывающее откровение». Не в силах отойти от концепции свободного рынка, Бакли делает паузу и, наконец, говорит: «Предоставлю это вам».

Глава 6.

Дитя позитивных действий¹

НАРЯДУ с Кларенсом Томасом Антонин Скалиа — наиболее консервативный член Верховного суда. Он также любит телесериал «24». «О, те первые сезоны!», — говорит он своему биографу. — Я ложился спать в два часа ночи, потому что в конце серии ты говоришь себе: „Нет, мне надо посмотреть следующую“». Скалиа восхищается Джек Бауэр, герой сериала, которого играет Кифер Сазерленд. Бауэр — правительственный агент из лос-анджелесского отдела по борьбе с терроризмом, который раскрывает заговоры и предотвращает массовые убийства, пытая подозреваемых, похищая невинных и казня своих коллег. Отказываясь следовать закону, он ведет борьбу на два фронта против терроризма и Конституции. И каждый раз, когда он обходит закон или ломает кость, Скалиа приходит в восторг.

Джек Бауэр спас Лос-Анджелес... Он спас сотни тысяч жизней... И что, вы осудите Джека Бауэра? Скажете, что уголовное право будет против него? Скажете, что у вас есть право на суд присяжных? Найдется ли жюри присяжных, которое признает Джека Бауэра виновным? Не думаю. Так что вопрос заключается в том, верим ли мы во все эти абсолютные ценности. И должны ли в них верить?²

1. Впервые опубликовано в: Corey Robin, «Get over it!» *London Review of Books*. June 10, 2010. P. 29–31.

Позитивные действия — антидискриминационная политика, предусматривающая предоставление преимущественных прав тем, кто часто страдает от дискриминации: представителям этнических меньшинств, инвалидам, женщинам; обычно при приеме на работу. — *Прим. перев.*

2. Joan Biskupic, *American Original: The Life and Constitution of Supreme Court Justice Antonin Scalia* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2009), 340.

Это при том, что Скалиа лучшую часть карьеры работал в качестве адвоката, профессора и юриста, твердящего нам, что Конституция — это абсолют, в который мы должны верить, даже когда — и особенно когда — она говорит нам что-то, чего мы не хотим слышать. Конституция для Скалиа — отнюдь не утешительные заявления о благих намерениях, легко приспособляемых к нашим меняющимся потребностям. Его Конституция — холодна и безжизненна, а ее запреты и директивы словно застыли во времени. Такие фразы, как «жестокое и необычное наказание» (Восьмая поправка к Конституции США), означают то, что означали в те времена, когда они были включены в Конституцию. Если это приводит к нежелательным результатам — скажем, казням детей и умственно отсталых, — тем хуже. «Я действительно не думаю», пишет Скалиа в деле *Никсон против Городской лиги Миссури*, что «стремление избежать неблагоприятных последствий является подходящим основанием для толкования текста»³.

К неблагоприятным последствиям у Скалиа особо нежные чувства. Он наслаждается трудностями и не терпит любого, кто пытается их умалить или отрицать. В деле *Хамди против Рамсфельда* большинство Суда заняло, по мнению Скалиа, слишком мягкую позицию по отношению к исполнительной власти в военное время. Суд постановил, что санкция на применение военной силы, утвержденная Конгрессом после 9/11 предоставляла президенту полномочия задерживать граждан США на основании такой неопределенной формулировки, как «нелегальные вражеские комбатанты», без суда и следствия. Он также постановил, тем не менее, что такие граждане имеют право на отправление правосудия и могут опротестовывать свое задержание в суде.

Скалиа был в ярости. Выступив против большинства, а также против администрации Буша и собратьев-консерваторов в Верховном суде, он настоял на том, что у правительства во время войны, пусть и столь нетрадиционной, как война против терроризма, было лишь два способа задержать гражданина: судить его по закону либо заставить Конгресс приостановить защиту неприкосновенности личности

3. *Nixon v. Missouri Municipal League*, 541 U. S. 125, 141–142 (2004) (Scalia, concurring).

от произвольного ареста. Иными словами, следовать установленной процедуре или приостановить ее. Нужно было занять позицию, сделать выбор.

Но Верховный суд сумел выкрутиться из ситуации выбора, облегчив жизнь себе и правительству. Конгресс и президент могли действовать так, как будто защита неприкосновенности личности от произвольного ареста была приостановлена, не приостанавливая ее, а Суд — как если бы действие защиты не приостанавливалось благодаря видимости соблюдения должной правовой процедуры в военных судах. Еще более чем вольная трактовка Конституции Скалиа, по его словам, раздражал бытующий в Суде подход «мастера на все руки» и его миссия «Все будет сделано в лучшем виде»⁴.

Миссия же Скалиа, напротив, состояла в том, чтобы ничего не было сделано «в лучшем виде». Мнение Скалиа, если позаимствовать высказывание одного из авторов *New Yorker* Маргарет Тэлбот, представляет собой «юридический эквивалент разбивания гитары на сцене»⁵. Однажды Скалиа, возможно, и назвал правление закона законом правил — что могло дать нам основания посчитать его стереотипным консерватором, — но правила и законы приводят его в экстаз. В то время как другие ищут в них систему стабилизирующих сдержек и противовесов, Скалиа видит в них вызывающие восторг препятствия и головокружительные барьеры. Там, где другие ищут безопасность, Скалиа ищет возвышенное. Правила и права усложняют жизнь, но жизнь и должна быть такой. «Быть крутым и традиционным — тяжкий крест, — как он говорит одному репортеру. — *Нужда обязывает*»⁶.

Именно это, а не верность тексту или консерватизму, как принято считать, является *idée fixe* юриспруденции Скалиа — и причиной его увлечения Джеком Бауэром. Бауэр никогда не облегчает себе жизнь; на самом деле он делает все возможное, чтобы ее усложнить. Он сам вызывается на самоубийственные задания вместо других, которые, воз-

4. *Hamdi v. Rumsfeld*, 542 U. S. 507, 576 (2004) (Scalia, dissenting).

5. Biskupic, *American Original*, 282.

6. Цит. по: Mark Tushnet, *A Court Divided* (New York: Norton, 2005), 149.

можно, выполнили бы их лучше него; он становится наркоманом, следуя безумному плану по предотвращению терактов с применением биологического оружия; он подвергает риску — и не раз — жену и дочь, а затем корит себя за это. Его отталкивает то, что он делает, но он все равно идет на это. В этом его благородство — или лучше сказать — мазохизм, — и потому он так нравится Скалиа.

Это, конечно, означает, что Скалиа идет путем наибольшего сопротивления в своих попытках сохранить верность древнему тексту, тогда как Бауэр видит свой путь в предательстве этого текста. Но не настолько, как можно было бы подумать: как мы знаем из истории семейной жизни правых проповедников и политиков, верность зачастую является простым синонимом измены и предательства.

Скалиа родился в Трентоне, штат Нью-Джерси, в марте 1936 года, но был зачат предыдущим летом во Флоренции. (Его отец, обучавшийся в докторантуре и изучавший романские языки в Колумбийском университете, получил стипендию на поездку в Италию со своей женой). «Я ненавидел Трентон», — говорит Скалиа; его сердце осталось во Флоренции. Заядлому любителю оперы и охоты — «он любит убивать безоружных животных», как замечает Кларенс Томас — Скалиа нравится стиль Медичи, любителя высокого искусства и утонченной жестокости. Он с удовольствием приправляет свои судебные решения литературными и историческими аллюзиями. Однажды, как он любит рассказывать, он был слишком «трусливым», чтобы одобрять использовавшиеся в качестве наказания в XVIII веке затрепанные и порку. Но то дело прошлое. «Я повзрослел и стал злее», — говорит теперь уже надменная звезда⁷.

Когда Скалиа было шесть, его родители переехали в Эльмхерст, район Куинса. Его неизменный консерватизм часто относят на счет его тамошнего строгого итальянско-католического воспитания; ссылаясь на Бёрка, он называет это своим «маленьким взводом». Он учился в средней школе Зайвира, школе иезуитов на Манхэттене, и в Джордж-

7. Biskupic, *American Original*, 7, 11, 14, 346.

тауне, иезуитском университете в Вашингтоне (округ Колумбия). Когда он был первокурсником в Джорджтауне, выпускники проголосовали за присвоение сенатору Джозефу Маккарти звания «Выдающегося американца»⁸.

Но Скалиа относится к своему происхождению и религии с некой демонстративностью и вызовом. (Этот вызов часто воспринимается как что-то весьма необычное, не согласующееся с консервативными манерами и нравами; но как оказывается, это не так). Он утверждает, что не попал в Принстон, куда изначально намеревался поступить, потому что «был итальянским парнем из Куинса, не самый подходящий типаж для Принстона». Позднее, после того как Второй ватиканский собор либерализировал литургию и богослужение, в том числе и в его приходе в вашингтонском пригороде, он предпочел выезжать со своим выводком из семи детей гораздо дальше только для того, чтобы послушать воскресную мессу на латыни. Позднее проделывал ту же вещь и в Чикаго, только на этот раз с девятью детьми на шею. Комментируя то, как он со своей женой смогли воспитать детей в духе консерватизма в шестидесятые и семидесятые — без всяких джинсов в доме, — он добавляет:

“ Они воспитывались в культуре с иными ценностями, чем наши, — это точно. Но нам помогало то, что мы были такой большой семьей. У нас была своя собственная культура... Первое, чему вы должны научить своих детей, это тому, о чем мне все время говорили родители: «Ты не похож на других... У нас свои собственные стандарты, и они совершенно отличаются от остального мира, и чем раньше ты это поймешь, тем лучше»⁹.

Оказывается, что консерватизм Скалиа похож не столько на казарму, сколько на контркультуру в духе Торо, с ее уходом от и осуждением мейнстрима, и даже коммун и групп хиппи, распространение которых он когда-то пытался не допустить. Это не консерватизм традиций или преемственности: у его родителей был только один ребенок, а его мачеха часто жаловалась, что ей приходится проезжать столько часов в поисках нормальной церкви. «И почему это

8. Biskupic, *American Original*, 17, 19, 21, 25.

9. *Ibid.*, 23, 40–41, 73.

вы не живете рядом с церковью?», — спросила бы она Скалиа и его жену¹⁰. Это консерватизм изобретения и выбора, пропитанный тем самым мятежным духом, который он так ненавидит — или думает, что ненавидит, — в культуре в целом.

В 1970-х, преподавая в Чикагском университете, Скалиа любил заканчивать семестр чтением «Человека на все времена», пьесы Роберта Болта о Томасе Море. Хотя антиавторитаризм пьесы, в сущности, противоречит консерватизму Скалиа, ее герой, по крайней мере, в изображении Болта, ему соответствует. В буквальном смысле больший католик, чем сам Папа, Мор свято верит в закон, отказываясь поступать своими принципами ради прихоти Генриха VIII. За свою принципиальность он заплатил жизнью.

Биограф Скалиа сопровождает эту любопытную биографическую деталь следующим наблюдением: «И хотя в зрелости представления Скалиа о законе становились все более жесткими, у него все еще случались вспышки идеализма»¹¹. Это «хотя» не совсем уместно. Не жесткость Скалиа противостояла его идеализму, а как раз его идеализм. Его ультраконсервативное прочтение Конституции не отражает ни его цинизма, ни традиционализма; ортодоксальность и набожность для него — сущность диссидентства и иконоборчества. Ничто из обвинений не расстраивает его больше, чем утверждение, не раз упоминавшееся в ходе его Таннеровской лекции 1995 года в Принстоне, что его философия — «деревянная», «лишенная воображения», «прозаичная», «унылая», «ограниченная» и «косная»¹². Зовите его ублюдком или придурком, цербером или радикалом-щеголем. Только не говорите, что он функционер.

Философия Скалиа в отношении интерпретации Конституции, которую называют то оригинализмом, то «изначальным значением», то «изначальным общественным значением», часто путают с изначальным намерением или замыслом. В то время как первая команда оригиналистов

10. Ibid., 41.

11. Ibid., 66–67.

12. Antonin Scalia, *A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1997), 23, 145.

в 1970-х действительно утверждала, что Верховный суд должен толковать Конституцию, согласно намерениям отцов-основателей, последующие оригиналисты, вроде Скалиа, мудро пересмотрели эту аргументацию в ответ на критику, которую она получила. Намерения одного автора часто непостижимы, а в случае, если авторов много, практически неопределимы. И чьи намерения следует принимать во внимание: тех 55, что написали Конституцию, 1179, которые ее ратифицировали или еще большего числа тех, кто проголосовал за тех, кто ее ратифицировал? С точки зрения Скалиа, нами управляют не намерения, а Конституция, текст, каким он был написан и переписан после внесения поправок. Это и есть подлинный объект интерпретации.

Но как извлечь значение из текста, колеблющегося от ужасающей неопределенности в одном предложении («исполнительная власть предоставляется Президенту») до непримечательного уточнения (президент избирается сроком на четыре года) в следующем? Узнавайте общепринятое значение слов того времени, когда они писались, говорит Скалиа. Узнавайте, как они использовались: сверяйтесь со словарями, другими случаями употребления в тексте, во влиятельных трудах того времени. Рассмотрите контекст высказываний, то, как они воспринимались. Из всех этих источников постройте определенный универсум возможных значений. Слова не обозначают что-то одно, соглашается Скалиа, но они не значат и всего. Судьи должны читать Конституцию ни буквально, ни свободно, но «разумно» — то есть таким образом, чтобы каждое истолковываемое слово или фраза «содержала в себе все, что она фактически означает». А затем, тем или иным образом, применить значение к нашим собственным, совсем другим временам¹³.

Скалиа оправдывает свой оригинализм двумя основаниями, оба из которых негативны. В конституционной демократии избранные представители должны заниматься законотворчеством, а судьи — толковать эти законы. Если судьи не связаны тем, как закон, включая Конституцию, понимался во время его принятия — если они обращаются к своим собственным представлениям о морали или интерпретациям морали страны, — они более не судьи, а законотворцы,

13. Antonin Scalia, *A Matter of Interpretation*, 23.

при этом зачастую никем не избранные. Ограничивая судьей неизменным текстом, оригинализм помогает примирить судебный контроль с демократией и защищает нас от судебного произвола.

Если первой заботой Скалиа является судебная тирания, то второй — судебная анархия. Как только мы оставляем, как он говорит, идею о неизменной Конституции, мы открываем двери всем возможным типам истолкования. Как нам понимать Конституцию, которая продолжает развиваться? Следя за опросами общественного мнения, следуя философии Джона Ролза и учению католической церкви? Если Конституция не перестает изменяться, то какие ограничения мы сможем наложить на то, что уже считается общепринятой интерпретацией? Никакие, отвечает Скалиа. Когда «каждый день» становится для закона «новым», он перестает быть законом¹⁴.

Эта смесь тирании и анархии — не праздная фантазия, настаивают Скалиа и другие оригиналисты. Ведь на короткий ужасный промежуток времени — от Суда Уоррена в 1960-х до Суда Бергера в 1970-х — она стала реальностью. Во имя «живой Конституции» левые судьи переделали (или попытались переделать) страну на свой лад, навязав ей идеи социал-демократии, сексуального освобождения, равенства полов, расовой интеграции и морального релятивизма. Слова прошлого приобрели новые значения и аллюзии: внезапно «надлежащая правовая процедура» породила и «право на частную жизнь», что стало кодовыми словами для контроля над рождаемостью и абортами (а позднее и однополого секса); «равная защита законов» требовала соблюдения принципа «один человек, один голос»; запрет на «необоснованные обыски и аресты» стали означать, что улики, полученные полицией незаконным путем, не принимались судом к рассмотрению; а запрет на «введение государственной религии» отменял школьную молитву. С каждым отмененным законом и открытым правом Суд, казалось, изобретал новое поле действия. Это был своеобразный конституционный карнавал, в котором экзотические теории судебных решений следовали одна за другой. Самым возмутительным в этой революции сверху для оригиналистов, помимо навязанных всей

14. Ibid., 46.

стране ценностей левых, было то, насколько сильно теперь все расходилось с обычным порядком, когда Суд оправдывал свои решения по отмене тех или иных законов.

До Суда Уоррена, говорит Скалиа, или 1920-х (так и не ясно, когда же началась порча) все были оригиналистами¹⁵. Это не совсем так. Громоздкие конструкции значения Конституции столь же старые, как и само основание. А теоретическое самосознание, предлагаемое Скалиа и его последователями, определенно феномен XX века. На самом деле слова Скалиа часто напоминают рассуждения студента-филолога образца 1983 года. Он говорит, что «весьма прискорбно», что «американские судьи не обладают ясной теорией того, чем мы занимаемся», и «еще более печально», что юристов «в общем и целом... не заботит тот факт, что у нас нет вразумительной теории»¹⁶.

Консерваторы обычно высмеивали подобный тип фетишизма теории как знак неопытности и неумелости правящего класса; даже такой общепризнанный оригиналист, как Роберт Борк, признает, что «прочные правовые институты не нуждаются в таком количестве разговоров о них». Но Скалиа и Борк закалили свои идеи в борьбе против либеральной юриспруденции, робкой и теоретической, и, как и множество их предшественников справа, они вышли из нее похожими скорее на своих врагов, чем друзей. Борк, на самом деле, открыто признает, что за руководством он обращался совсем не к Джону Маршаллу или Джозефу Стори — традиционным светилам судебного контроля; его вдохновлял Александр Бикель, возможно, самый застенчивый из либеральных теоретиков XX века, «научивший меня более, чем кто-либо, данному предмету»¹⁷.

Как и многие оригиналисты, Скалиа утверждает, что его юриспруденция не имеет ничего общего с его консерва-

15. Remarks at Catholic University (October 18, 1996), <http://www.joink.com/homes/users/ninoville/cua10-18-96.asp>, accessed April 8, 2011; Scalia, *A Matter of Interpretation*, 47, 149.

16. Scalia, *A Matter of Interpretation*, 14.

17. Robert H. Bork, *The Tempting of America* (New York: Simon and Schuster, 1990), 133, 188.

тизмом. «Я стараюсь изо всех сил, чтобы мои религиозные и философские взгляды или политические убеждения не влияли на мое толкование законов». Однако он также говорил, что научился от своих учителей в Джорджтауне никогда не «отделять свою религиозную жизнь от интеллектуальной. Они нераздельны». Всего за несколько месяцев до того, как в 1986 году Рональд Рейган назначил его судьей Верховного суда, он признался, что его правовые убеждения находились «под неизбежным влиянием моральных и теологических представлений»¹⁸.

И действительно, в самих основаниях его мнений заложен консерватизм, который, хотя он и имеет мало общего с продвижением непосредственных интересов республиканской партии, имеет еще меньше общего с предотвращением угроз судебной тирании и анархии. Это консерватизм, который легко получил бы признание у социал-дарвинистов конца XIX века, в котором спокойно сочетались досовременные и постсовременные черты, архаическое и прогрессивное. Его не найти на поверхности — во мнениях Скалиа, скажем, об абортах или правах геев, — но на примере его особого мнения о самом нетипичном для него месте — о площадке для игры в гольф.

Кейси Мартин был чемпионом по гольфу (он уже завершил свою карьеру), в результате развившейся болезни не мог проходить пешком все восемнадцать лунок в ходе игры. После того как Профессиональная ассоциация гольфистов отказала в его просьбе использовать гольфмобиль в заключительном туре одного из главных квалификационных состязаний, федеральный суд вынес предписание, на основании закона «Об американцах-инвалидах» (ADA), позволив Мартину использовать транспорт. Раздел III ADA гласит: «никто не может подвергнуться дискриминации на основе инвалидности в полном и равном пользовании благами, услугами, привилегиями, преимуществами или удобствами любого места общественного пользования со стороны любого лица, владеющего, берущего или сдающего внаем, либо эксплуатирующего место общественного пользования». Когда в 2001 году дело дошло до Верховно-

18. Biskupic, *American Original*, 25, 209, 211.

го суда, правовые вопросы свелись к следующему: имеет ли право Мартин находиться под защитой Раздела III ADA? Приведет ли подобное разрешение использовать гольфмобиль к «фундаментальному изменению природы» игры? Решив дело в пользу Мартина семью голосами судей против двух — Скалиа и Томас среди противников, — Суд ответил утвердительно на первый вопрос и отрицательно — на второй.

Отвечая на первый вопрос, Суду пришлось оспорить утверждения Профессиональной ассоциации гольфистов о том, что речь шла о «месте проведения выставки или развлечения», а не о месте общественного пользования, и что защита Раздела III могла распространяться только на потребителя такого развлечения, а Мартин был не потребителем, а поставщиком развлекательных услуг. Суд скептически отнесся к первым двум утверждениям. Но даже если бы они были признаны истинными, как постановил Суд, Мартин все равно находился бы под защитой III Раздела, поскольку он в действительности являлся клиентом Профессиональной ассоциации гольфистов: он и другие участники соревнования должны были заплатить 3000 долларов США за участие в турнире. Одни клиенты платили, чтобы наблюдать за турниром, другие — чтобы в нем участвовать. Профессиональная ассоциация гольфистов не могла дискриминировать ни тех, ни других.

Скалиа был вне себя. Он говорил, что ситуация, в которой большинство отнеслось к Мартину как к «клиенту соревнования», а не как к его участнику, совершенно невероятна. Профессиональная ассоциация гольфистов продавала развлечение, публика за него платила, а гольфисты его обеспечивали; квалификационные раунды были их заявлением о приеме на работу. Мартин был не большим клиентом, чем актер, приходящий по объявлению о кастинге. Он был наемным работником или потенциальным наемным работником, который вправе был предъявлять претензии, при наличии у него таковых, не по III Разделу ADA, относящемуся к местам общественного пользования, а по I Разделу, касающемуся вопросов найма. Но Мартин не обратился бы с подобным требованием, признает Скалиа, поскольку он был, в сущности, независимым подрядчиком, то есть принадлежал к категории наемных работников, не подпадающих под

действие ADA. Таким образом, Мартин оказывался в правовом вакууме, без какой-либо защиты закона.

В предположении большинства о том, что Мартин был потребителем, а не реальным участником соревнований, Скалиа увидел нечто более опасное, чем просто неверное решение. Он увидел в этом всеобщую угрозу статусу атлетов, чей талант и мастерство будут задушены страстными объятиями Суда, а также угрозу идее соревнования в целом. Это выглядело так, как если бы гомеровских героев вытащили с их мужественных игр и заставили слоняться по современным бутикам.

Игры представляют особую ценность для Скалиа: они — пространство, в котором правит неравенство. «Сама природа состязательного спорта есть измерение», как он говорит, «неравномерно распределенного мастерства». Неравенство — это именно то, что «определяет победителей и проигравших». В разгар соревнования мы не можем скрыть наше превосходство или несовершенство, наше мастерство или несостоятельность. Игры делают нашу неравную природу очевидной для мира; они прославляют «неравномерное распределение божественных даров».

В превращении Судом участника соревнования в клиента Скалиа видел вторжение демократии (по сути, «революции») в этот древний заказник. Своими «постановлениями "Скотного двора"» (да, Скалиа доходит и до этого) Суд уничтожил нашу единственную возможность увидеть, насколько же мы в действительности неравны, как несправедливо Бог решил одарить нас. «Наступил год 2001», гласит последнее предложение его особого мнения, «и все наконец-то стали равны».

Как социал-дарвинисты и Ницше, Скалиа оказывается крайним модернистом, даже постмодернистом, тоскующим по феодальному укладу. Но современность оказалась слишком текучей, чтобы поддержать веру в наследственный статус. Отличительные знаки привилегированного и низкого положения более не видны невооруженному глазу; их приходится распознавать снова и снова, в борьбе и противостоянии. В этом и кроется привлекательность игры. В спорте, в отличие от закона, каждый день — новый день. Каждое состязание — новая возможность все переиграть, отбросить и превратить наши установленные иерархии в анархическую путаницу, дав проявиться новому лицу превосходства или падения.

Таким образом оно представляет великолепный союз феодального и ненадежного, неравного и неустойчивого.

Чтобы ответить на второй вопрос — ведет ли использование гольфмобиля к фундаментальному изменению природы гольфа? — большинство предприняло всестороннее изучение истории правил гольфа. А затем сформулировало двухчастный тест для определения того, изменит ли езда на гольфмобиле природу гольфа. Исполнительность и тщательность, серьезность, с которой большинство отнеслось к этой задаче, и позабавили, и разозлили Скалиа.

Торжественной обязанностью Верховного суда Соединенных Штатов стало... определение того, *что есть гольф*. Я уверен, что творцы Конституции, знавшие об эдикте 1457 года короля Шотландии Якова II, запрещавшего гольф, поскольку он мешал упражнению в стрельбе из лука, прекрасно знали, что рано или поздно пути гольфа и правительства, закона и полей для игры в гольф вновь пересекутся, и судьям сего августейшего Суда придется биться над этим вековым вопросом юриспруденции, для которого годы обучения праву их так хорошо подготовили: можно ли считать кого-то, кто пользуется транспортом между ударами, настоящим гольфистом?

Скалиа явно забавляется, однако сего веселье вводит в заблуждение. ADA определяет дискриминацию как:

Неспособность провести обоснованные изменения в политике, практике или процедурах, когда подобные изменения необходимы, чтобы позволить пользоваться подобными благами, услугами, оборудованием, привилегиями, преимуществами или удобствами инвалидам, если только та или иная организация не сможет продемонстрировать, что подобные изменения будут означать и фундаментальные изменения природы таких благ, услуг, оборудования, привилегий, преимуществ или удобств, которые она обеспечивает.

Любое определение дискриминации требует предварительного определения того, действительно ли «обоснованное изменение» сможет вызвать «фундаментальное изменение природы» того или иного блага. Язык закона, иными словами, заставляет Суд выяснить и решить, что такое гольф.

Но Скалиа все это не устраивает. Не желая быть связанным текстом, он предпочитает размышлять о тщетности и

бессмысленности подобного исследования со стороны Суда. Стремясь выяснить сущность гольфа, Суд ищет то, чего попросту не существует. «Сказать, что нечто является „сущностным“, — пишет Скалиа, — обычно означает сказать, что это необходимо для достижения определенной цели». Но у игр «нет иной цели, кроме развлечения». Не имея цели, они не имеют и сущности. А потому невозможно сказать, является ли то или иное правило сущностным. «Все они произвольны, — пишет он о правилах, — ни одно из них таковым не является». Правило делает правилом либо традиция, либо «в более современные времена» постановление полномочного органа, вроде Профессиональной ассоциации гольфистов. В какой-то момент Скалиа неосторожно предполагает, что существует «определенный момент, когда правила хорошо известной игры изменяются настолько, что ни один разумный человек не сможет назвать это той же самой игрой». Но он быстро отступает, возвращаясь к разгромной критике эссенциализма. И никакого Платона; для него существует лишь Ницше¹⁹.

Трудно примирить это неприятие идеи о сущности гольфа (почти в духе Рорти) с более ранними высказываниями Скалиа о том, что «сама природа состязательного спорта» является проявлением божественно предопределенного неравенства. (Также трудно примирить безразличие Скалиа к языку закона с его текстуализмом, но это уже другая тема). Оставаясь неразрешенным, противоречие тем не менее раскрывает два полюса веры Скалиа: веру в правила как произвольное осуществление власти — что отражает не что иное (даже не волю и статус их творцов), как плоскость их локутивного значения, — которому мы тем не менее обязаны подчиняться; и веру в правила, которой он ревностно следует, как «волшебную лозу» нашего неискоренимого неравенства. Те, кто может выдержать этих пустых и скучных богов, — победители; все остальные — проигравшие.

В Соединенных Штатах, как заметил Токвиль, федеральный судья «обязан понимать дух своего времени». И хотя внешне Верховный суд может казаться «сугубо судебным уч-

19. *PGA TOUR, Inc. v. Casey Martin*, 532 U. S. 661 (2001) (Scalia, dissenting).

реждением», его «полномочия» — отменять законы от имени Конституции — «носят политический характер»²⁰. Чтобы эффективно осуществлять эти prerogatives, он должен быть столь же культурно и социально подкован, как и самый проницательный политик.

Как объяснить тогда влияние Скалиа? Вот человек, который гордо, с вызовом заявляет о своем презрении к «духу своего времени», хотя его вовсе нельзя назвать вызывающе несведущим в нем. Когда в 2003 году Верховный суд отменил государственные законы, запрещающие однополый секс, Скалиа посчитал, что страна начала скатываться к мастурбации²¹. В 1996 году он сказал христианской аудитории, что «мы должны молиться, чтобы нам хватило смелости выдержать насмешки утонченного мира», мира, в котором «уже нет места чуду». Мы должны «быть готовы, что к нам будут относиться как к идиотам»²². В особом мнении того же года Скалиа заявлял, «день за днем, дело за делом, [Верховный суд] создает Конституцию для страны, которой я уже не узнаю»²³. Как написала Морин Дауд, «он так старомоден, даже ветхозаветен»²⁴.

И все же, по мнению Елены Кейган, нового члена Верховного суда, назначенного Обамой в 2010 году, Скалиа — «это судья, больше других повлиявший на то, что мы думаем и говорим о законе». Джон Пол Стивенс, предшественник Кейган, который до своей отставки был самым либеральным представителем Верховного суда, говорит, что Скалиа «играл важную роль, иногда в конструктивном, иногда в достойном сожаления ключе». Кроме того, влияние Скалиа, по всей видимости, сохранится. «Он поддерживает тесные контакты со многими представителями нынешнего поколения студентов-юристов», — замечает Рут Бейдер Гинзбург,

20. Alexis de Tocqueville, *Democracy in America* (New York: Harper, 1969), 150; Алексис де Токвиль. *Демократия в Америке*. М.: Прогресс, 1992, с. 128–129.

21. *Lawrence v. Texas*, 539 U. S. 568, 590 (2003) (Scalia, dissenting).

22. Biskupic, *American Original*, 189.

23. *Board of County Commissioners, Wabaunsee County, Kansas v. Umbehr*, 518 U. S. 668, 711 (1996) (Scalia, dissenting).

24. <http://www.nytimes.com/2003/06/29/opinion/29DOWD.html?pagewanted=1>, accessed April 8, 2011.

еще один либеральный представитель Верховного суда²⁵. Дайте мне студентку-правоведа впечатлительного возраста, могла бы сказать Джин Броуди, и она моя на всю жизнь.

Нельзя сказать, что позиция Скалиа оказывает решающее влияние на постановления Верховного суда. В сущности, некоторые из его наиболее знаменитых мнений — против абортов, позитивных действий и прав геев; в пользу смертной казни, школьной молитвы и половой дискриминации — являются особым мнением²⁶. (Однако с приходом в Верховный суд Джона Робертса в 2005 году и Сэмюэля Алито в 2006 году ситуация начала меняться.) Но рука Скалиа более заметна в том, как выражают свою позицию его коллеги, — а также другие юристы, адвокаты и исследователи.

На протяжении многих лет оригинализм высмеивался левыми. Как в 1985 году заявил Уильям Бреннан, либеральный титан Верховного суда второй половины XX века: «Те, кто собирается ограничивать претензии права ценностями 1789 года, сформулированными в Конституции, закрывают глаза на общественный прогресс и воздерживаются от адаптации всеобъемлющих принципов к изменениям социальных обстоятельств». В отличие от оригиналистов, Бреннан настаивал на том, что «гений Конституции заключается не в каком-либо статичном значении, которое она могла иметь в мире давно минувшего, но в применимости ее великих принципов к решению текущих проблем и текущих потребностей»²⁷.

Однако спустя лишь десятилетие либерал Лоуренс Трайб, перефразируя Рональда Дворкина, скажет: «Мы теперь все оригиналисты»²⁸. Сегодня это еще более верно. Там, где вчерашнее поколение специалистов по конституционному праву обращались к философии — Ролза, Харта, иногда Нозика, Маркса или Ницше — для истолкования Конституции, сегодняшнее обращается к истории, к моменту, когда слово или

25. Biskupic, *American Original*, 362.

26. Особое мнение — заявление одного или нескольких судей, в котором содержится несогласие с решением суда по данному делу, то есть с мнением большинства. — Прим. перев.

27. William J. Brennan, «Speech to the Text and Teaching Symposium», in *Originalism: A Quarter-Century of Debate*, ed. Steven Calabresi (Washington, D.C.: Regnery, 2007), 59, 61.

28. Scalia, *A Matter of Interpretation*, 67.

отрывок стали частью цельного текста и приобрели свое значение. Не только представители правых, но и левых: Брюс Акерман, Ахил Амар и Джек Бэлкин — это лишь трое из самых известных и пишущих сегодня либеральных оригиналистов.

Либералы из Верховного суда претерпели схожую смену взглядов. В своем особом мнении «Объединенные граждане» Стивенс представил пространный экскурс по «изначальным принципам», «изначальным ожиданиям» и «оригинальному общественному значению» Первой поправки применительно к корпоративной культуре. Открывая дискуссию преисполненным сознанием долга словами «Начнем с начала», Стивенс, казалось, находился под чарами Скалиа, чей голос и чье имя были вездесущими, демонстрируя, что его позиция согласовывалась с изначальным значением свободы слова²⁹.

Другие ученые и юристы помогали совершиться этому сдвигу, но именно Скалиа поддерживал творческое горение на высочайшем правовом уровне. И вовсе не тактом или дипломатичностью. Скалиа зачастую ведет себя по-свински, высмеивая умственные способности своих коллег и ставя под вопрос их порядочность. Сандра Дэй О'Коннор, заседавшая в Верховном суде с 1981 по 2006 год, была частым объектом его насмешек. Скалиа назвал один из ее аргументов «полностью бессодержательным». К другому, как он писал, «нельзя отнестись серьезно». Когда бы его ни спрашивали о его роли в суде *Буш против Гора* (2000), в результате которого, после весьма сомнительной аргументации, Джордж Буш-младший оказался в Белом Доме, он лишь презрительно усмехался, отвечая: «Завязывайте с этим!»³⁰. Он, в отличие от своих подпевал, также не доминировал в Верховном суде благодаря своему уму. («Какой же он умница!» — шептал один из его типичных обожателей).³¹ В Верховном суде, где каждый — выпускник Гарварда, Йеля или Принстона, а в каждом углу — профессор «Лиги плюща»³², в мозгах недостатка нет.

29. *Citizens United v. Federal Election Commission*, 558 U.S. 201, 209, 212 (2010) (Stevens, dissenting).

30. Biskupic, *American Original*, 9, 134, 196.

31. *Scalia Dissents: Writings of the Supreme Court's Wittiest, Most Outspoken Justice*, ed. Kevin A. Ring (Washington, D.C.: Regnery, 2004), 9.

32. Лига плюща — объединение восьми старейших привилегированных высших учебных заведений на северо-востоке США. — *Прим. перев.*

Несколько других факторов помогут объяснить доминирование Скалиа в Верховном суде. В глазах новичков Скалиа обладает преимуществом прямолинейной философии и искусной методики. В то время как он со своей армией марширует по архивам, копается в документах, касающихся права на ношение оружия, регулирования торговли и многого другого, левые правоведаы остаются «озадаченными и нерешительными», по словам профессоров права из Йельского университета Роберта Поста и Ревы Зигеля, и «неспособными самостоятельно выдвинуть сколько-нибудь убедительную и обоснованную теорию толкования Конституции»³³. В эпоху, когда левым недостает уверенности и воли, самоуверенность Скалиа может быть мощной и дурманящей силой.

Во-вторых, существует избирательное сродство и даже тесная связь между оригинализмом *duress oblige* и представлением Скалиа об игре. Это также его представление о том, что означает хорошая жизнь: ежедневную и напряженную борьбу, в которой можно быть уверенным только в том, что, если не пускаться в долгие рассуждения, сильный победит, а слабый проиграет. Оказывается, Скалиа вовсе не такой бунтарь, каким он себя считает. На деле он далек от того, чтобы говорить «людям то, что им неприятно слышать», как он утверждает, поскольку элите власти он говорит именно то, что там услышать хотят: что они превосходят остальных, и, раз они всех превосходят, поэтому они и присутствуют на празднике жизни³⁴. Представляется, что Токвиль все-таки был прав. И дело вовсе не в чуждости судьи Скалиа, а как раз в его уместности, в том, что он отражает, а не искажает дух эпохи, чем, по крайней мере отчасти, и объясняется его влияние.

Но можно назвать еще одну, пусть и небольшую и личную, причину чрезмерного присутствия Скалиа на нашем конституционном небосводе. И это не что иное, как терпеливость и выдержка, обычная порядочность и хорошие манеры по отношению к нему со стороны его либеральных коллег. Пока он шумит и неистовствует, крушит гитары и атаку-

33. <http://www.law.yale.edu/news/5658.htm>, accessed April 8, 2011.

34. Biskupic, *American Original*, 8.

ет своих противников, они лишь снисходительно пожимают плечами, говоря «это же Нино», как говаривала О`Коннор³⁵.

Факт может быть незначительным и личностным, но ирония оказывается очень большой и политической. Поскольку Скалиа паразитирует, используя ту самую культуру либерализма, к которой, по его словам, он питает отвращение: терпимость к взглядам противной стороны, великодушие по отношению к недостаткам других, «благожелательность и сострадание», которые он высмеивает в своих высказываниях по проблеме гольфа. Если бы его коллеги когда-нибудь заставили его следовать тем же правилам либеральной вежливости или стали относиться к нему так же, как и он сам, кто знает, что могло бы произойти? Действительно, как отмечают два близких к Суду наблюдателя, в статье под метким названием «Не придирайтесь к Скалиа!», когда бы над ним, даже в самой мягкой форме, ни подшучивали в суде, он быстро смущался и бросал свои штучки³⁶. Подверженный приступам раздражения, избалованный нестандартным набором правил, теперь он сам — дитя программы позитивных действий.

Начиная с 1960-х для нашей политической культуры уже стало привычным, что утонченные манеры либералов зависят от консервативной бесцеремонности. Званный ужин в Верхнем Вестсайде нуждается в полицейских, которые не имеют понятия о Миранде, Первая поправка нуждается в военных, ничего не слышавших о Женеве. Это, конечно же, кивок в сторону сериала «24» (не говоря уже о многих других великолепных голливудских фильмах, таких как «Несколько хороших парней»). Но эта формулировка может быть прочитана и с точностью до наоборот: без его более либеральных коллег, потакавших ему и защищавших его, у Скалиа — совсем как у Джека Бауэра — настали бы непростые времена. Консервативное *duress oblige* зависит от либерального *noblesse oblige* и никак иначе. Таково подлинное значение судьбы Скалиа.

35. Jeffrey Toobin, *The Nine: Inside the Secret World of the Supreme Court* (New York: Random House, 2008), 65.

36. Tara Trask and Ryan Malphurs, «'Don't Poke Scalia!' Lessons for Trial Lawyers from the Nation's Highest Court», *Jury Expert* 21 (November 2009): 46.

Часть II

Добродетели насилия

Глава 7.

Геноцид с цветовым кодированием¹

5 ДЕКАБРЯ 1982 года Рональд Рейган встретился с президентом Гватемалы Эфраином Риосом Монттом в Гондурасе. Для Рейгана встреча оказалась полезной. «Что ж, я многому научился, — поведал он репортерам на „Борту номер 1“². — Вы были бы удивлены. Это совершенно уникальные страны». Встреча была полезной и для Риоса Монтта. Рейган объявил его «глубоко порядочным человеком... всецело преданным делу демократии». Он также заявил, что гватемальский лидер — жертва «придинок» со стороны правых организаций из-за его военной кампании против левых партизан. А на следующий день, как нам рассказывает Дэниел Уилкинсон в «Молчании на горе: истории о терроре, предательстве и забвении в Гватемале», один из элитных гватемальских отрядов вошел в расположенную в джунглях деревню под названием Лас Дос Эррес, где убил 162 жителя, 67 из которых были дети. Солдаты «хватали» младенцев и детей за ноги и «с размаху разбивали» их головы «о стену». Подростков и взрослых ставили «на колени на краю колодца», после чего «ударом кувалды» сбрасывали вниз. Затем отряд изнасиловал «прибереженных напоследок» женщин и девочек, избивая беременных так, чтобы у тех произошел выкидыш. Они сбросили женщин в колодец и заполнили его грязью, похоронив некоторых несчастных заживо. «Единственными человеческими останками, которые предста-

1. Впервые опубликовано в: Corey Robin, «Dedicated to Democracy», *London Review of Books* (November 18, 2004): 3–6.

2. «Борт номер 1» — обозначение специально оснащенного самолета президента США. Так называется также любой самолет, которым может воспользоваться президент. — *Прим. перев.*

ли глазам посетившим деревню после этого», были «кровь на стенах и плацента и пуповины на земле»³.

На фоне пафосной «житийной» литературы, приуроченной к смерти Рейгана в 2004 году, вероятно, было бы чресчур ожидать, что СМИ упомянут о его встрече с Риосом Монттом. В конце концов, это же был не Рейкьявик. Но и тень Рейкьявика — или выступление Рейгана у Берлинской стены — не объясняет до конца молчание, все еще существующее вокруг той президентской встречи. И хотя весьма заманчиво списать это упущение на американскую забывчивость, гораздо более вероятной причиной является глубоко неверное представление о холодной войне, с которым свыклось большинство американцев. Для случайного наблюдателя холодная война была борьбой между Соединенными Штатами и Советским Союзом, которая велась и разрешилась в элегантно поединке в Берлине, а также в ходе скучных споров по поводу запасов ядерных вооружений и благодаря искусной политике «балансирования на грани войны» со стороны американских лидеров. Латинская Америка редко всплывает в повседневном или даже академическом обсуждении холодной войны, а если о ней и заходит речь, то наибольшее внимание привлекает не Гватемала, а Куба, Чили и Никарагуа.

Но Латинская Америка была таким же театром военных действий, как и Европа, а Гватемала была ее передовой. В 1954 году Соединенные Штаты вступили в первое крупное столкновение с коммунизмом в западном полушарии, свергнув демократически избранного президента Гватемалы, Хакобо Арбенса, который тесно сотрудничал с маленькой, но влиятельной в стране коммунистической партией. Этот переворот заставил одного молодого аргентинского доктора бежать в Мексику, где он встретился с Фиделем Кастро. Пятью годами позже Че Гевара заявил, что 1954 год научил его невозможности проведения мирных реформ в результате выборов. Он пообещал своим сторонникам, что «Куба не станет второй Гватемалой». В 1966 году Гватемала снова оказалась «законодателем мод», на этот раз в жан-

3. Daniel Wilkinson, *Silence on the Mountain: Stories of Terror, Betrayal, and Forgetting in Guatemala* (Boston: Houghton Mifflin, 2002), 327–328.

ре похищения людей, которые потом станут характерной чертой грязных войн в Аргентине, Уругвае, Чили и Бразилии. Быстро обученные американскими специалистами агенты спецслужб схватили около тридцати левых активистов, подвергли их пыткам, казнили, а затем сбросили большую часть трупов в Тихий океан. Объясняя операцию в секретном отчете, агент ЦРУ писал: «О казни этих людей не будет сообщено, а правительство Гватемалы будет отрицать, что они когда-либо были задержаны». С подписанием в 1996 году мирного соглашения между вооруженными силами Гватемалы и левыми повстанцами латиноамериканская холодная война в конце концов подошла к своему завершению — в том же месте, где она началась — сделав гражданскую войну в Гватемале самой длинной и смертоносной в этом полушарии. Было убито около 200 000 взрослых и детей, практически все — от рук военных: это больше, чем было убито в Аргентине, Уругвае, Чили, Бразилии, Никарагуа и Сальвадоре вместе взятых, и примерно столько же, сколько погибло на Балканах. Поскольку жертвами главным образом были индейцы майя, сегодня, как полагают в следственной комиссии под эгидой ООН по установлению истины, гватемальские военные — единственные военные в Латинской Америке, совершавшие акты геноцида⁴.

Когда мы говорим о победе Америки в холодной войне, мы говорим о таких странах, как Гватемала, где коммунизм потерпел поражение в результате массовой расправы над гражданским населением. Однако для осмысления холодной войны недостаточно провести подсчет убитых и составить список зверств. Рассматривая противостояние планетарного масштаба на этой крошечной территории, мы можем увидеть за хладнокровным дуэлянтским противоборством сверхдержав кровавый конфликт за права и борьбу против неравенства, а за простой басней о победе добра над злом — гораздо более неоднозначный расклад в конце холодной войны. Вкратце, задача заключается в том, чтобы показать, как люди делали высокую политику и что высокая политика делала с ними, и продемонстрировать, что холод-

4. Greg Grandin, *The Last Colonial Massacre: Latin America in the Cold War* (Chicago: University of Chicago Press, 2004), 5, 12, 100.

ная война велась не только в просторных игровых комнатах стратегов ядерной войны, но и, как пишет в «Последней колониальной резне» Грэг Грэндин, «в закрытых взаимоотношениях семьи, полов и общины»⁵. Грэндин открывает свою работу эпиграфом из Сартра: «При ближайшем рассмотрении победа неотличима от поражения»⁶. Победа, о которой идет здесь речь — исключительная и уже практически полная: победа Соединенных Штатов над коммунизмом. Но поражений — несколько, и их последствия продолжают давать о себе знать. Во-первых, это поражение латиноамериканских левых, устремления которых простирались от привычных (вооруженный захват государственной власти) до самых неожиданных (создание капитализма). Затем следует поражение континентальной социал-демократии, которая могла предоставить гражданам гораздо больше возможностей участия в осуществлении власти — и получения больших благ от этого, — чем когда-либо прежде. И, наконец, поражение неуловимой мечты освобождения людей, благодаря их собственному разуму и волевым усилиям, от уз традиции и угнетения. Это было мечтой о трансатлантическом Просвещении, и на протяжении холодной войны американские лидеры выступали как раз от ее имени (или иной ее версии) в борьбе против коммунизма. Но в Латинской Америке знамя Просвещения подняли левые, а Соединенным Штатам и их союзникам приходилось контрабандой протаскивать Контрпросвещение. Холодная война не просто заставляла Соединенные Штаты нести бремя либерального лицемерия, но и побуждала их обращаться к некоторым наиболее реакционным идеалам и реваншистским персонажам XX века.

Латиноамериканские левые принесли либерализм и прогресс в земли, погрязшие в феодализме. В XX веке гватемальские кофейные плантаторы сохраняли режим принудительного труда, неотличимый от того, что существовал в царской России. Используя законы о бродяжничестве и приманку в виде легкодоступного кредита, плантаторы сосредоточили в своих руках огромные земельные владения и крестьянскую

5. Grandin, *The Last Colonial Massacre*, 16.

6. *Ibid.*, vi.

рабочую силу, которая, по сути, принадлежала им. Одна реклама 1922 года звучит совсем как отрывок из «Мертвых душ» Гоголя: «Продаю 5000 акров земли и множество *mozos colonos* [кабальных работников], готовых работать на других плантациях». И в то время, как профсоюзные рабочие в других местах составляли перечни того, что их работодатели могли, а чего не могли от них требовать, гватемальские крестьяне вынуждены были выполнять многочисленные повинности, в том числе связанные с сексом. Например, в местности Альта Верапас два плантатора-бостонца использовали своих индейских кухарок и луцильщиц, производя таким образом более дюжины детей. «Они трахали все, что двигалось», — заметил сосед-плантатор. Хотя плантации были государствами в миниатюре — со своими тюрьмами, укреплениями и позорными столбами, — плантаторы также зависели от армии, судей, мэров и местной полиции, заставлявших работников подчиняться их воле. Служители закона обычно отлавливали независимых или беглых крестьян и отправляли их обратно на плантации либо на дорожные работы. У одного мэра местные бродяги красили дом. Подобный взгляд на политическую власть как на форму частной собственности прекрасно иллюстрируется наблюдением Грэндина, что к 1944 году «лишь пять латиноамериканских стран — Мексика, Уругвай, Чили, Коста-Рика и Колумбия — могли формально называть себя демократиями»⁷.

А затем за два года все изменилось. К 1946 году «только пять стран — Парагвай, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа и Доминиканскую республику — нельзя было назвать демократиями». Обратив антифашистскую риторику Второй мировой войны против старых режимов, левые свергли диктаторов, легализовывали политические партии, формировали профсоюзы и расширяли права избирателей. Воодушевленные «Новым курсом» и народными фронтами такие реформисты, как гватемальский президент Хуан Хосе Аревало, заявляли: «мы — социалисты, поскольку живем в XX веке». Весь континент был взбудоражен коктейлем из Карла Маркса, Декларации независимости и Уолта Уитмена, но Гватемала — больше всех. Там десятилетняя борь-

7. Ibid., 5, 26, 27, 32, 39.

ба против кофейной аристократии достигла кульминации с избранием в 1950 году Арбенса, который с помощью небольшого кружка коммунистических советников провел Аграрную реформу 1952 года. Закон предусматривал перераспределение полутора миллионов акров земли между сотней тысяч семей и предоставлял крестьянам значительную политическую власть. Местные комитеты по земельной реформе, состоявшие преимущественно из крестьянских представителей, не обращали внимания на муниципальные власти, контролируемые плантаторами, и предлагали крестьянам и их объединениям платформу, позволявшую выдвигать и удовлетворять их требования относительно равенства⁸.

Став, пожалуй, самым дерзким экспериментом в области прямой демократии, который когда-либо видел южноамериканский континент, аграрная реформа также дала основания и для определенной иронии. Авторы закона — большинство из которых были коммунистами — не строили социализм. Они строили капитализм, тщательно заботясь о правах собственности и соблюдении закона. Крестьянам приходилось подтверждать свои притязания на землю множеством документов; экспроприировалась только неиспользуемая земля; плантаторы имели право неоднократно обжаловать решения, вплоть до апелляции к президенту. Аграрная реформа установила режим разделения полномочий, почти такой же громоздкий, как и Конституция Джеймса Мэдисона. (Согласно мнению одного из авторов билля, бывшего коммунистом, «это был буржуазный закон». Когда активисты из народа жаловались на медлительность реформы, Арбенс отвечал: «Меня это не волнует! Вы все должны делать правильно!») Аграрная реформа превратила безземельных крестьян в собственников, наделив их рыночной властью, которая позволяла требовать повышения зарплаты у своих работодателей. Согласно Грэндину, реформаторы надеялись, что крестьяне станут «потребителями отечественной продукции», тогда как «плантаторы, издавна привыкшие к дешевой и часто бесплатной рабочей силе и земле», будут вынуждены «инве-

8. Grandin, *The Last Colonial Massacre*, 5, 9, 47, 59, 90.

стировать в новые технологии» — и благодаря этому «получать прибыль»⁹.

Социалисты Гватемалы не только произвели на свет демократов и капиталистов. Они также превратили крестьян в граждан. В то время как либералы и консерваторы долгое время утверждали, что идеология левых сводит своих адептов к автоматам, благодаря идеалам и движениям левых к крестьянам пришло осознание их власти, а вместе с ним и широкие возможности говорить от своего имени и действовать в своих интересах. Эфраин Рейес Маас, например, был крестьянским организатором из майя, ровесником Октябрьской революции. «Если бы я не изучал Маркса, я был бы *ни чичей ни лимонадом* [ни рыбой ни мясом], — говорит Рейес. — Я был бы ничем. Но чтение воспитало меня, и вот чего я достиг. Я мог бы умереть сегодня, но никто не может отнять этого у меня». Хотя другие крестьяне редко отваживались покинуть свои плантации, коммунистическая партия вдохновила Рейеса на путешествие в Мексику и на Кубу, и он вернулся в Гватемалу с убеждением, что «каждый революционер носит в голове целый мир». Коммунистическая партия не просила Рейеса отречься от того, что он уже знал; это дало ему полную свободу согласовывать местные и европейские традиции, что в результате породило «майянский марксизм», который был таким же утонченным, как гибридный марксизм, возникший в Центральной Европе между войнами. Когда антикоммунисты положили конец этому демократическому пробуждению в 1954 году, то не меньше экспроприированной у плантаторов земли их беспокоил недавно появившийся у народа вкус к мысли и обсуждению. Как мы видели во введении, архиепископ Гватемалы жаловался, что сторонники Арбенса посылали «наделенных даром слова» в столицу страны, где они «учились... выступать публично»¹⁰.

Надеясь разбить эту армию мысли и слова, бойцы холодной войны в Гватемале смешали романтическое отвращение

9. Wilkinson, *Silence on the Mountain*, 165; Grandin, *Last Colonial Massacre*, 54.

10. Grandin, *The Last Colonial Massacre*, 57, 80, 106, 108, 120.

к современному миру с самыми передовыми технологиями пропаганды и насилия, из-за чего их усилия выглядели куда более близкими к фашизму, чем к какой-либо борьбе за либеральную демократию. Используя католическую церковь, режим, сменивший Арбенса, проповедовал Евангелие против коммунизма и социализма, а также против демократии, либерализма и феминизма. Возвращаясь к оппозиционной риторике времен Французской революции, отцы церкви характеризовали холодную войну как противостояние «Божественного града» и «града воплощенного дьявола» и жаловались, что Арбенс, «вовсе не объединяя наш народ в движении к прогрессу», «расколол его на враждующие банды».

Как они утверждали, сторонники Арбенса были «профессиональными совратителями женской души», продвигавшими женщин, которые обладали «даром прозелитизма или лидерства», на «высокие и хорошо оплачиваемые должности в государственной бюрократии». Поскольку высокопоставленные представители церкви бывали излишне брезгливы, чтобы самостоятельно заниматься «пробуждением» народа, эмигранты из республиканской Испании, сходявшие с ума по Франко и Муссолини, частенько заступали на их место, призывая к более экстаичной вере для подрыва притягательности коммунизма: «Нам не нужен холодный католицизм. Мы хотим святости, яркой, большой и радостной святости... непоколебимой и фанатичной»¹¹.

В то время как идеалы бойцов холодной войны были обращены в прошлое, их оружие — поставляемое Соединенными Штатами — и военные стратегии смотрели вперед. (На самом деле одно из главных оправданий американцев за вторжения во времена холодной войны состояло в том, что вмешательство США поможет остановить не только коммунизм, но и, по мнению госдепартамента, «безумства антиповстанческой реакции» правых. Вместо дикого «белого террора» обученные США силы безопасности проводили работу с антикоммунистическими «демократическими левыми» для ведения более «рациональной», «современной» и «профессиональной» холодной войны.) Во время

11. Grandin, *The Last Colonial Massacre*, 80.

переворота 1954 года ЦРУ обратилось к Мэдисон-авеню¹², популярной социологии и массовой психологии, чтобы создать иллюзию крупномасштабной оппозиции Арбенсу. Радиошоу распространяли слухи о подпольном сопротивлении, побуждая сомневающихся офицеров забыть о присяге демократически избранному президенту. В последующие десятилетия ЦРУ помогло создать Гватемале собственные спецслужбы, снабдив их телефонами, рациями, камерами, печатными машинками, копировальной бумагой, картотеками, аппаратурой слежения — и оружием, амуницией и взрывчаткой. Кроме того, ЦРУ объединило усилия военных и полиции в городских центрах управления, позволявших быстро анализировать, распространять и архивировать для дальнейшего использования оперативную информацию. После того как подобные усилия привели к впечатляющим результатам, с исчезновением в 1966 году последнего поколения мирных гватемальских левых активистов, местные партизаны всерьез взялись за организацию вооруженной оппозиции в сельской местности. В ответ режим бросил на эти районы армию столь модернизированную — и столь хорошо тренированную и экипированную Соединенными Штатами, — что к 1981 году она была способна провести первый в истории геноцид с цветовым кодированием: «Военные аналитики отмечали населенные пункты и районы определенным цветом. Белый был отведен для тех районов, где не было влияния повстанцев. Розовый обозначал территории с ограниченным присутствием повстанцев; предполагаемые партизаны и их сторонники должны были быть убиты, местные же населенные пункты — оставлены. Красный означал истребление: все должны были быть казнены, а деревни стерты с лица земли»¹³.

Название книги Грэндина вполне применимо к резне 1978 года, учиненной военными над индейцами в Пансо-се, городе на реке в долине Полочик, напоминая об этом своеобразном смещении современных и антисовременных элементов. 29 мая того же года приблизительно пятьсот

12. Синоним «американской рекламы», поскольку многие ведущие рекламные агентства расположены на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке. — *Прим. перев.*

13. *Ibid.*, 75, 77, 189–191.

крестьян-майя собрались в центре города попросить мэра выслушать их жалобы на местных плантаторов, которые должны были быть предоставлены профсоюзной делегацией из столицы. Открыв огонь по участникам демонстрации, военное подразделение убило от 34 до 100 человек, включая детей. На первый взгляд, бойня кажется простым повторением колониального прошлого Гватемалы: скромные индейцы просят представителей власти вступить за них перед местными правителями, а силы правительства в союзе с плантаторами отвечают насилем. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что резня обладает всеми признаками XX века. Индейцами руководят левые активисты — среди них есть даже женщина из коренного населения, — обученные подпольными коммунистическими организациями. Они работали с профсоюзами, базирующимися в столице, что отражало стремление левых придать местным жалобам общенациональный характер. Со своей стороны, солдаты, стрелявшие в крестьян, были не просто местной полицией, защищавшей интересы плантаторов. Они представляли собой контингент гватемальской армии нового образца, освоившей язык антикоммунистической пропаганды и вооруженной израильскими автоматическими винтовками «Галиль», что подразумевало не просто общенациональный масштаб событий, а интернационализацию традиционной для Гватемалы борьбы за землю и труд¹⁴.

Хотя холодная война в Латинской Америке началась в виде напряженных переговоров между американским рационализмом и латинским реваншизмом, закончилась она, когда Соединенные Штаты склонились к последнему. В который раз повторяя пресловутое путешествие в сердце тьмы, высокопоставленные должностные лица США возвращались из своих поездок на юг, храня гулкое эхо самых мрачных голосов Контрпросвещения. Один посольский служащий писал начальникам на родину: «В конце концов разве человек не был дикарем испокон веков, так что давайте не будем слишком беспокоиться насчет террора. Я лично слышал подобные рассуждения от наших». Один сотрудник ЦРУ призывал коллег в Гватемале оставить все попытки увещеваний

14. Grandin, *The Last Colonial Massacre*, 1–3, 148.

народа и вместо этого направить все усилия на «сердце, желудок и печень (страх)». Стремясь дестабилизировать ситуацию в Чили после прихода к власти Сальвадора Альенде, другой работник ЦРУ заявлял: «У нас не получится вызвать возмущение в мире, если Чили сама остается безмятежным озером. Топливо для огня должно быть найдено там же, в Чили. А потому мы должны использовать любые хитрости и уловки, какими бы эксцентричными они ни были, чтобы создать сопротивление внутри страны». Как пишет Грэндин, «воля к разжиганию страстей в мире... вера в темную сторону души, презрение к демократической сдержанности и парламентским процедурам: эти качества обычно приписывают оппонентам либеральной корректности, терпимости и плюрализму, а не их защитникам»¹⁵. Этой звучной ремаркой Грэндин завершает свое замечательное повествование, намекая, что, возможно, главное поражение в холодной войне потерпела сама Америка.

15. Ibid., 190–191.

Глава 8. *Память империй былого*¹

Веди войну в чужих краях, мой Генри,
Чтоб головы горячие занять

Генрих IV, часть 2

В 2000 ГОДУ я провел лучшую часть конца лета, интервьюируя Уильяма Ф. Бакли и Ирвинга Кристола. Я готовил статью для *Lingua franca* (Глава 5) о том, как правые интеллектуалы левели, и хотел услышать, что думали отцы — основатели движения о своих заблудших сыновьях. Однако в ходе наших бесед выяснилось, что Бакли и Кристола больше беспокоили не эти экс-консерваторы, а печальное состояние консервативного движения и неопределенная судьба Соединенных Штатов как всемирной империи. Конец коммунизма и триумф свободного рынка они, конечно, считали благом, но благом, вызывавшим у них противоречивые чувства. Хотя эти события, несомненно, были победами консерваторов, они все же не подготовили Соединенные Штаты к эпохе после холодной войны. Казалось бы, теперь в распоряжении американцев была самая сильная империя в истории. В то же время их покорила одна из самых антиполитических идеологий в истории: свободный рынок. По мнению ее идеалистически настроенных сторонников, или по крайней мере части таких сторонников, свободный рынок есть гармоничный порядок, ведущий к возникновению международного гражданского общества добровольного обмена, которое почти ничего не требовало от государства, кроме периодического обеспечения исполнения законов и контрактов. Для Бакли и Кристола эта идея была слишком

1. Впервые опубликовано в: Corey Robin, «Remembrance of Empires Past: 9/11 and the End of the Cold War», in *Cold War Triumphalism: The Misuse of History after the Fall of Communism*, ed. Ellen Schrecker (New York: New Press, 2004), 274–297.

безжизненной, чтобы основать на ней порядок в стране, не говоря уже о мировой империи. В ней не было страсти и порыва, солидности и авторитета, необходимых для того, чтобы властвовать у себя в стране и за рубежом. Она провоцировала тривиальную и ограниченную политику и ставила личный интерес выше интересов страны, то есть была не самой перспективной основой для построения империи. И что еще более важно, стоявшие во главе республиканской партии правые активисты, казалось, этого не понимали.

«Проблема озабоченности рынком среди консерваторов, — по словам Бакли, упомянутым в главе 5, — состоит в том, что это становится скучным. Вы слышите это один раз, вы усваиваете идею. Но посвятить этому всю свою жизнь было бы страшно хотя бы потому, что это так скучно. Это как секс». Консерватизм, добавляет Кристол, «находится под столь сильным влиянием коммерческой культуры и образа мысли, что ему не хватает политического воображения, которое, честно говоря, всегда было достоянием левых». Кристол признался в глубочайшей тоске по американской империи: «Какой смысл быть величайшей, мощнейшей мировой державой и не быть империей? Человеческая история не знает таких примеров. Сильнейшая страна всегда становилась империей». Но, как продолжает он, империи прошлого не были «капиталистическими демократиями с сильным акцентом на экономическом росте и процветании». Из-за следования идеологии свободного рынка Соединенным Штатам недостает дальновидности и силы духа для установления имперского господства. «Прискорбно, — сокрушается Кристол. — Я думаю, для Соединенных Штатов было бы так естественно... играть куда большую роль в мировой политике... Не то, чем мы занимаемся сегодня, а командовать и отдавать приказы. Люди нуждаются в этом. На свете столько мест, в частности, Африка, где власти, готовые применить военную силу, могут резко изменить положение дел в лучшую сторону». Но в условиях, когда развернувшуюся в обществе дискуссию контролируют бухгалтеры, по мнению Кристола, маловероятно, что Соединенные Штаты смогут занять подобающее им место наследника былых империй. «Республиканская партия сама себя запутала. И из-за чего? Рецептов для стариков? Да кого это волнует! Я считаю отвратительным, что... президент-

ская политика страны номер один в мире должна вращаться вокруг рецептов для стариков. Историки будущего посчитают это просто невероятным. Это не Афины. Не Рим. Это просто пустое место»².

После 11 сентября мне не раз представлялась возможность вспомнить об этих беседах. Нам говорили, что этот день вырвал Соединенные Штаты из самодовольного и благополучного мира, установившегося после окончания холодной войны. Он заставил американцев посмотреть дальше своих границ и, наконец, осознать опасности, с которыми сталкивается сия мировая держава. Он напомнил нам о благах активной гражданской жизни и ценности государства, положив конец фантазиям о создании мира общественности из частных актов эгоистического обмена. Он вернул нашей одурманенной гражданской культуре глубину и серьезность, а нашему сознанию — представление о «высших ценностях». И что самое главное — он обеспечил Соединенные Штаты связной национальной стратегией и заставил сосредоточить внимание на имперском правлении. Страна, которая, казалось, какое-то время не желала брать на себя международные обязательства, теперь вновь готова была нести любую ношу и платить любую цену за свободу. Выходит, эта смена подхода пошла на благо миру. Она побудила Соединенные Штаты к созданию стабильного и справедливого международного порядка. Это было хорошо и для самих Соединенных Штатов. 11 сентября заставило нас задуматься о чем-то большем, чем просто мир и процветание, напоминая нам о том, что свобода — отнюдь не прогулка, а сражение за свою веру.

Как и любой исторический момент, 11 сентября — не акты или сам день, а вызванная им новая волна империализма — обладал множеством измерений. Отчасти эта обновленная имперская политическая культура — следствие внезапной атаки на гражданское население, а также усилия лидеров США по обеспечению определенного уровня безопасности для напуганных граждан. Отчасти — следствие тайной нефтяной политэкономии, а также желания элит США гарантировать себе доступ к энергетическим за-

2. Corey Robin, «The Ex-Cons: Right-Wing Thinkers Go Left!» *Lingua Franca* (February 2001): 32–33; Irving Kristol, interview with author (Washington, D. C., August 31, 2000).

пасам Ближнего Востока и Центральной Азии и воспользоваться нефтью в качестве инструмента геополитики. И хотя эти факторы играют значительную роль в определении стратегии США, полностью объяснить политику и идеологию самого имперского момента они не могут. Чтобы понять данное измерение, нам необходимо рассмотреть, какое влияние на американских консерваторов оказали окончание холодной войны, падение коммунизма и победоносное шествие свободного рынка в качестве организующего принципа внутреннего и международного порядка. И именно недовольство консерваторов этим порядком отчасти и вызвало их усилия по созданию нового порядка.

Для неоконсерваторов, бывших в восторге от «крестового похода» Рональда Рейгана против коммунизма, все, что осталось после холодной войны, была другая страсть Рейгана — его радужное антрепренерство и рыночная жизнерадостность — нашедшие гостеприимный дом в Америке Билла Клинтона. И хотя неоконсерваторы, конечно, не были противниками капитализма, они не верили, что свободный рынок — высочайшее достижение цивилизации. Их мечта — более возвышенная: они стремятся к эпическому величию Рима и этосу языческого воина (или высокоморального крестоносца), а не удовлетворенного буржуа. По завершении холодной войны с мечтами об империи, однако, было покончено, ведь их затмили свободный рынок и свободная торговля. Успех неоконсерваторов не принес им счастья в созданном ими же мире. А потому они откликнулись на призыв империи, добавив свой *basso profundo* (глубокий бас) в крепнущий хор. Хотя их вера в американское могущество остается непоколебимой, неоконсерваторам не с руки использовать ее лишь в интересах капитализма. Их международный порядок должен быть возведен на века, а их мир — покоиться на чем-то большем, чем просто деньги и рынки.

Но как мы знаем, в этой воображаемой империи может и не найтись таких уж простых рецептов для возникших у Соединенных Штатов проблем. Еще до того, как ситуация во время войны в Ираке осложнилась, американская империя столкнулась с труднопреодолимыми препятствиями на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, что наводило на мысли о том, насколько эфемерной была главная идея неоконсервативных империалистов — что Соединенные

Штаты способны управлять событиями и творить историю. (А ведь еще недавно администрация Буша твердила журналистам: «Теперь мы — империя, и когда мы действуем, мы создаем новую реальность. А пока вы ее изучаете со всей рассудительностью, мы начнем действовать снова и творить другие реальности, которые вы сможете исследовать»³.) Внутри страны культурное и политическое обновление, к которому, как полагали многие, должно было подтолкнуть 11 сентября, оказалось химерой и пало жертвой идеологии свободного рынка, которая не собирается ослабевать. И оказывается, что 11 сентября не сыграло, да и не сможет сыграть роль, которую ему отводили неоконсерваторы империи.

Сразу вслед за атаками на Всемирный торговый центр и Пентагон интеллектуалы, политики, ученые мужи — не левые радикалы, а консерваторы и либералы из мейнстрима — вздохнули с явным облегчением, словно приветствуя эти удары как освобождение от миазмов, критиковавшихся Бакли и Кристолом. Всемирный торговый центр еще был в огне, а тела погребенных в нем жертв только извлекались, когда Фрэнк Рич объявил, что «уже ясно, что кошмар этой недели заставил нас пробудиться от легкомысленных, если не декадентских, мечтаний длиной в десятилетие». Что же это были за мечтания? О процветании, о преодолении жизненных препятствий при помощи денег. В 1990-х Морин Дауд писала, что мы надеялись «побороть жировые складки диетой и упражнениями, морщины — коллагеном и ботоксом, обвисшую кожу — пластической хирургией, импотенцию — „Виагрой“, перепады настроения — антидепрессантами, близорукость — лазерной хирургией, старение — гормоном роста, болезнь — исследованиями стволовых клеток и биоинженерией». Мы «обновили наши кухни, — замечает Дэвид Брукс, — бытовую технику, закупились садовой мебелью, джакузи и газовыми грилями», как будто изобилие может освободить нас от трагедий и сложностей⁴. Подобный этос имел

3. Ron Suskind, «Faith, Certainty and the Presidency of George W. Bush», *New York Times Magazine*, October 17, 2004.

4. Frank Rich, «The Day before Tuesday», *New York Times*, September 15, 2001, A23; Maureen Dowd, «From Botox to Botulism», *New York Times*, September 26,

ужасные последствия для страны. Для Фрэнсиса Фукуямы он привел к «самоублажению» и «поглощенностью своими излишками». Он имел и международные последствия. По мнению Льюиса «Скутера» Либби, культ мира и благополучия наиболее ярко выразился в слабой и рассеянной внешней политике Билла Клинтона, благодаря которой «люди, вроде бен Ладена, легко могли сказать: „У американцев кишка тонка себя защитить. Они не готовы нести потери для защиты своих интересов. Они морально слабы“». По Бруксу, даже самый неискушенный наблюдатель внутривнутриполитической ситуации до 11 сентября, включая аль-Каиду, «мог бы заключить, что Америка была не вполне серьезной страной»⁵.

Но после этого сентябрьского дня многие комментаторы заявили о том, что страна преобразилась. Америка теперь была «более мобилизованной, сознательной и потому более живой», писал Эндрю Салливан. Джордж Пэкер отметил пробужденные 11 сентября «бдительность, скорбь, решимость, даже любовь». «Меня теперь пугает, — признавался Пэкер, — возврат к нормальности, к которой мы все вроде бы должны стремиться». Для Брукса «царящий в стране страх» после 11 сентября стал «очищающим средством, почти не оставившим следа от самоублажения последнего десятилетия». Живительный страх уничтожил одержимость благосостоянием, заменив обессиливающую эмоцию укрепляющей страстью. «Мы променяли заботы процветания на реальные страхи войны»⁶.

Состоятельных потребителей, когда-то часами мучавшихся из-за того, какой кран *Moen* подойдет к их медной раковине в загородном доме, теперь внезапно стал волновать вопрос, не отравлена ли водопроводная вода. Люди, грезившие

2001, A19; David Brooks, «The Age of Conflict: Politics and Culture after September 11», *Weekly Standard*, November 7, 2001.

5. Francis Fukuyama, «Francis Fukuyama Says Tuesday's Attack Marks the End of 'America's Exceptionalism,'» *Financial Times*, September 15, 2001, 1; Nicholas Lemann, «The Next World Order», *New Yorker*, April 1, 2002, 48; David Brooks, «Facing Up to Our Fears», *Newsweek*, October 22, 2001.

6. Andrew Sullivan, «High Impact: The Dumb Idea of September 11», *New York Times Magazine*, December 9, 2001; George Packer, «Recapturing the Flag», *New York Times Magazine*, September 30, 2001, 15–16; Brooks, «Facing Up to Our Fears»; Brooks, «The Age of Conflict».

о сумках *Prada* в универсаме *Bloomingdales*, теперь шарахались от оставленных без присмотра сумок в аэропорту. Америка, сладкая страна свободы, прошла ускоренный курс обучения страху⁷.

Сегодня, как заключает Брукс, «коммерческая жизнь кажется менее важной, чем жизнь общественная... Когда идет борьба не на жизнь, а на смерть, непросто думать о Билли Гейтсе или Джеке Уэлче как о каких-то героических личностях»⁸.

Авторы не устают радоваться оживляющему моральному заряду, теперь пробегающему по телу общества. Пульсирующая энергия общей решимости и чувство гражданской ответственности, которые могут восстановить доверие к правительству, а по мнению некоторых либералов, санкционировать и реконструкцию государства всеобщего благоденствия, и ведут к культуре патриотизма и единства, новому двухпартийному согласию, прекращению иронии и культурных войн и более зрелому, достойному президентскому правлению⁹. По мнению одного репортера *USA Today*, президент

7. Brooks, «Facing Up to Our Fears».

8. Ibid.

9. О событиях 11 сентября, доверии к правительству и государстве благоденствия см.: Jacob Weisberg, «Feds Up», *New York Times Magazine*, October 21, 2001, 21–22; Michael Kelly, «The Left's Great Divide», *Washington Post*, November 7, 2001, A29; Robert Putnam, «Bowling Together», *American Prospect* (January 23, 2002); Bernard Weinraub, «The Moods They Are a'Changing in Films», *New York Times*, October 10, 2001, E1; Nina Bernstein, «On Pier 94, a Welfare State That Works, and Possible Models for the Future», *New York Times*, September 6, 2001, B8; Michael Kazin, «The Nation: After the Attacks, Which Side Is the Left On?» *New York Times*, October 7, 2001, section 4, 4; Katrina vanden Heuvel and Joel Rogers, «What's Left? A New Life for Progressivism», *Los Angeles Times*, November 25, 2001, M2; Michael Kelly, «A Renaissance of Liberalism», *Atlantic Monthly* (January 2002): 18–19. О 11 сентября и войне культур см.: Richard Posner, «Strong Fiber after All», *Atlantic Monthly* (January 2002): 22–23; Rick Lyman, «At Least for the Moment, a Cooling of the Culture Wars», *New York Times*, November 13, 2001, E1; Maureen Dowd, «Hunks and Brutes», *New York Times*, November 28, 2001, A25; Richard Posner, «Reflections on an America Transformed», *New York Times*, September 8, 2002, Week in Review, 15. О 11 сентября, межпартийном сотрудничестве и новом президентстве см.: «George Bush, G. O. P. Moderate», *New York Times*, September 29, 2001, A18; Maureen Dowd, «Autumn of Fears», *New York Times*, November 23, 2001, Week in Review, 17; Richard L. Berke, «Bush „Is My Commander“, Gore Declares in Call for Unity», *New York Times*, September 30, 2001, A29; Frank Bruni, «For President, a Mission and a Role in History», *New York Times*, September 21, 2001, A1; «Politics Is

Буш, как никто другой, держался за перспективы, открытые 11 сентября, представляя себя и свое поколение козырем проекта возрождения страны. «Как Буш сказал своим советникам, противостояние врагу — шанс для него и представителей его поколения бэби-бумеров переосмыслить свои жизни и доказать, что они имеют ту же шкалу ценностей и тот же патриотизм, который их отцы демонстрировали во время Второй мировой войны». И если источники энтузиазма Кристофера Хитченса, возможно, понятны лишь ему одному, этого нельзя сказать о его полном злорадства: «Вероятно, я должен признаться, что в этом году 11 сентября, однажды испытав обычную для млекопитающих гамму эмоций от ярости до отвращения, я обнаружил еще одно конкурирующее с ними чувство. При ближайшем рассмотрении, к моему удовольствию и удивлению, им оказалась радость. Перед нами во всей красе предстал самый страшный враг — теократическое варварство... И я понял, что если с ним придется сражаться до самой смерти, мне некогда будет скучать... борясь с ним до последнего»¹⁰. С шокирующими картинами страха и смерти 11 сентября принесло умирающей культуре шанс на выживание.

Во внешнеполитическом плане 11 сентября вынудило Соединенные Штаты пойти на весь мир, приняв без смущения или стеснения имперское бремя. Если раньше Джордж Буш-старший и Билл Клинтон продвигались на ощупь в темноте в поисках доктрины для руководства по осуществлению власти США после распада Советского Союза, теперь миссия Соединенных Штатов была предельно ясна: защитить цивилизацию от варварства, свободу — от террора. Как сказала Кондолиза Райс в интервью журналу *New Yorker*: «Я думаю, что определяющую роль сыграли именно трудности. По-моему, 11 сентября явилось одним из тех великих потрясений, которые проясняют и обостряют восприятие. Теперь

Adjourned», *New York Times*, September 20, 2001, A30; Adam Clymer, «Disaster Forges a Spirit of Cooperation in a Usually Contentious Congress», *New York Times*, September 20, 2001, B3. В целом об этих темах см.: «In for the Long Haul», *New York Times*, September 16, 2001, Week in Review, 10.

10. Judy Keen, «Same President, Different Man in Oval Office», *USA Today*, October 29, 2001, 6A; Christopher Hitchens, «Images in a Rearview Mirror», *The Nation* (December 3, 2001): 9.

все события предстали необычайно четкими». К Америке, которая, как считалось, утопала в зыбучих песках свободного рынка, индивидуализма и изоляции, возвращалось осознание мира за ее пределами и готовность идти на жертвы во имя мирового порядка во главе с США. Как заключил бывший первый заместитель министра обороны Клинтона, «американцы вряд ли снова впадут в самодовольство и благодущие, характерные для первого десятилетия после холодной войны». По словам Брукса, теперь они поняли, что «зло существует», и «чтобы сохранить порядок, хорошие люди должны применять силу к людям деструктивным»¹¹.

Десятилетие спустя, сложно вновь пережить, не говоря уже о том, чтобы детально восстановить образ мыслей того момента. Не просто потому, что он был столь мимолетным, а страна впадала в странную и мрачную политическую горячку, при которой накал риторического противостояния между партиями мог сравниться лишь с глубиной их согласия в отношении экономических основ (в этом отношении мы все еще живем в клинтоновской Америке) — задолго до того как закончился первый срок президентства Буша. Гораздо больше озадачивает то, как много авторов и политиков приветствовали политические последствия массовой жертвы, используя 11 сентября как возможность для выражения своего, по всей видимости, давно копившегося презрения к миру и благополучию, которые тому предшествовали. 12 сентября можно было ожидать всеобщего сожаления о том, что экономика, культура и политика оказались лишь мыльными пузырями. Вместо этого многие сочли 11 сентября наказанием свыше за легкомысленность и пустоту 1990-х. Чтобы найти хотя бы отдаленно похожую параллель, нам пришлось бы обратиться к опыту вековой давности — к самому началу Первой мировой войны, когда произошел взрыв «болотного газа скуки и бессмысленности», окутавшего еще один фритредерский и глобализационный конец столетия¹².

11. Lemann, «Next World Order», 44; Joseph S. Nye Jr., *The Paradox of American Power: Why the World's Only Superpower Can't Go It Alone* (New York: Oxford University Press, 2002), 168; Brooks, «The Age of Conflict».

12. George Steiner, *In Bluebeard's Castle: Some Notes toward the Redefinition of Culture* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1971), 11.

Чтобы понять это чувство переполняющего облегчения, мы должны вновь обратиться к последним дням холодной войны, когда американская элита впервые осознала, что Соединенные Штаты более не смогут рассматривать свою миссию в свете советской угрозы. И хотя окончание холодной войны вызвало волну всеобщего воодушевления, оно также пробудило у элит тревогу в отношении внешней политики США. Многие задавались вопросом, как теперь, после поражения коммунизма, Соединенные Штаты должны определить свою роль в мире? Где и когда следует им вмешиваться в зарубежные конфликты? Каков при этом должен быть контингент вооруженных сил?

В основе подобной тревоги лежала неопределенность величины и цели американского могущества. Соединенные Штаты, казалось, страдали от избытка силы, сильно затруднявшего элитам задачу формулировки ясных принципов ее использования. По признанию Ричарда Чейни в феврале 1992 года, служившего тогда министром обороны в администрации Буша-старшего, «мы обрели такую стратегическую глубину, что угрозы нашей безопасности, теперь относительно отдаленные, труднее определить». Почти десятилетие спустя Соединенные Штаты все еще казались их лидерам колоссом на глиняных ногах. Как отметила Кондолиза Райс во время президентской кампании 2000 года, «Соединенным Штатам все труднее определить свои „национальные интересы“ в отсутствие Советов». Политическая элита стала настолько нерешительной в отношении определения национальных интересов, что высший советник по делам обороны Клинтон — а позднее декан гарвардской Школы государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди — в конце концов поднял руки в знак капитуляции, заявив, что национальный интерес теперь, по-видимому, будет означать все, что «граждане после всестороннего обсуждения посчитают таковым», — подобная капитуляция, конечно, была бы просто немислимой во время правления «Мудрецов»¹³ в эпоху холодной войны¹⁴.

13. Мудрецы — или «группа мудрецов», группа высокопоставленных чиновников внешнеполитического истеблишмента США, которые, начиная с 1940-х, разрабатывали «политику сдерживания», а также такие институты и проекты, как НАТО, Всемирный банк, План Маршалла. — *Прим. перев.*

14. Слова Чейни цитируются по: Donald Kagan and Frederick W. Kagan, *While America Sleeps: Self-Delusion, Military Weakness, and the Threat to Peace Today* (New York:

Когда Клинтон занял президентский пост, он и его советники тщательно рассмотрели эту беспрецедентную ситуацию (Соединенные Штаты обладали поистине огромной мощью, в то время как, по словам советника по вопросам национальной безопасности Клинтона Энтони Лейка, «в обозримое время их существованию ничто серьезное вообще не угрожало») и пришли к выводу, что первоочередные задачи американской внешней политики лежали в области экономики, а не военной стратегии. После краткого перечисления различных возможных военных угроз Соединенным Штатам Клинтон в своем президентском обращении к народу 1993 года объявил: «Мы все еще имеем дело со всеобъемлющей, аморфной, но глубокой проблемой того, как человечество ведет свою торговлю». Главным императивом эпохи, наступившей после окончания холодной войны, была организация глобальной экономики, в которой граждане всего мира могли бы торговать через границы. Чтобы это осуществить, Соединенные Штаты должны были привести в порядок свое собственное экономическое хозяйство — «обновление начинается дома», говорил Лейк, — посредством сокращения дефицита (и отчасти сокращения военных расходов), снижения процентных ставок, поддержки наукоемкой промышленности, а также содействия заключению соглашений о свободной торговле. Поскольку другим странам тоже пришлось бы проводить болезненную экономическую реконструкцию, Лейк заключил, что первой задачей Соединенных Штатов было «расширение мирового свободного сообщества рыночных демократий»¹⁵.

St. Martin's Press, 2000), 294; Condoleezza Rice, «Promoting the National Interest», *Foreign Affairs* (June 2000): 45; Nye, *Paradox of American Power*, 139.

15. *The Clinton Foreign Policy Reader: Presidential Speeches with Commentary*, ed. Alvin Z. Rubinstein, Albina Shayevich, and Boris Zlotnikov (Armonk, N.Y.: M. E. Sharpe, 2000), 9, 20, 22–23. Следует отметить, что после нескольких лет снижения расходов на вооруженные силы, на своем втором сроке Клинтон начал неуклонно наращивать военный арсенал. В 1998–2000 годах затраты на вооружение выросли от 259 млн до 301 млн долларов. Этот рост расходов совпал с пересмотром угроз Соединенным Штатам. В последние годы на посту президента Клинтон занимал более жесткую позицию в отношении террористической угрозы и стран-изгоев. См.: *Clinton Foreign Policy Reader*, 36–42; Paul-Marie de la Gorce, «Offensive New Pentagon Defence Doctrine», *Le Monde Diplomatique*, March 2002.

Указанные Клинтонем вызовы, с которыми столкнулись Соединенные Штаты, отчасти определялись политическим расчетом. Он только что победил на выборах против действующего президента, который не только привел Соединенные Штаты к победе в холодной войне, но и был архитектором триумфа над иракскими вооруженными силами. Клинтон — южный губернатор без внешнеполитического опыта, вдобавок ко всему уклонившийся от призыва, — пришел к выводу, что его победа над Бушем означала, что вопросы войны и мира уже не были близки американским избирателям, как прежде¹⁶. Но позиция Клинтона также отражала и общее для 1990-х убеждение, что глобализация свободного рынка подорвала эффективность военной силы и жизнеспособности традиционных империй. Сила более не была единственным или наиболее эффективным инструментом осуществления воли нации. Власть теперь зависела от динамичности и успеха национальной экономики, а также привлекательности ее культуры. По словам Джозефа Ная, заместителя министра обороны Клинтона, «мягкая сила» — культурный капитал, сделавший Соединенные Штаты столь любимыми во всем мире, — была так же важна для лидирующих позиций страны, как и военная мощь. Най, возможно, первым из высокопоставленных американских чиновников, ссылаясь на Грамши, говоря, что Соединенные Штаты смогут сохранить свою гегемонию, убеждая, а не принуждая других следовать их примеру. «Если я смогу заставить вас *хотеть* делать то, чего я хочу, — писал Най, — мне не нужно будет заставлять вас делать то, чего вы *не* хотите»¹⁷. Чтобы сохранить свое положение в мире, Соединенным Штатам необходимо превзойти экономики других стран, обеспечивая при этом распространение сво-

16. David Halberstam, *War in a Time of Peace* (New York: Scribner, 2001), 22–23, 110–113, 152–153, 160–163, 193, 242.

17. Nye, *Paradox of American Power*, 8–11, 110. Иногда Клинтон даже доходил до предположений о том, что такие обильные вливания денег в ведение холодной войны были, если и не совсем пустой тратой, то по крайней мере ненужным расходом жизненно важных ресурсов страны. «Холодная война, — сказал он в Американском университете в 1993 году, — была истощающим предприятием. Мы отдавали ей триллионы долларов, то есть намного больше того, чем наши самые дальновидные лидеры считали необходимым». *Clinton Foreign Policy Reader*, 9.

ей модели свободного рынка и плюралистической культуры. Величайшая опасность, с которой могут столкнуться Соединенные Штаты, заключается в том, что им не удастся реформировать свою экономику или что они станут злоупотреблять своим военным превосходством, вызывая ненависть всего мира. Проблема заключалась не в том, что Соединенные Штаты были недостаточно могущественными, а в том, что они были слишком могущественными. Чтобы сделать мир безопасным для проводимой ими глобализации, Соединенные Штаты должны были отказаться или как минимум существенно урезать свои имперские притязания.

Для консерваторов, жаждавших кончины социализма, а затем ее приветствовавших, курс Клинтона на беззаботное процветание был кошмаром. Благополучие привело к обществу без трудностей и соперничества, а материальное удовлетворение — к утрате социальной глубины и политического содержания, недостатку смелости и героического воодушевления. «В эту эпоху мира и процветания», напишет Дэвид Брукс, «самым популярным ситкомом был „Сайнфелд“, сериал ни о чем». Роберт Каплан отпускал колкость за колкостью о «здоровых, сытых» обывателях «буржуазного общества», слишком поглощенных своим собственным комфортом и развлечениями, чтобы протянуть руку — или взяться за ружье — и сделать мир более безопасным. «Материальная собственность, — заключал он, — приводит к покорности»¹⁸. На протяжении 1990-х недовольство интеллектуалов, независимо от их политических взглядов, вызывало то, что Соединенные Штаты отличались недостаточно активной гражданской позицией и воинственностью, а ее лидеры и граждане были слишком озабочены преуспеванием и достатком, чтобы проявлять беспокойство по поводу унаследованных институтов, жить интересами общества и думать о более безопасном мире. Считалось, что уважение к государству падало, равно как и участие граждан в политике и разного рода

18. Brooks, «The Age of Conflict»; Robert D. Kaplan, *The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War* (New York: Vintage, 2000), 23–24, 89. См. также: Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man* (New York: Harper Collins, 1992, 2002), 304–305, 311–312; Фрэнсис Фукуяма. *Конец истории и последний человек*. М.: АСТ, 2004.

инициативах на местном уровне¹⁹. Действительно, одним из самых наглядных примеров исчезновения императивов холодной войны было то, что 1990-е годы начались и закончились двумя инцидентами — судебным разбирательством «Анита Хилл против Кларенса Томаса»²⁰ и решением Верховного Суда по делу «Буш против Гора», бросивших тень на самый почтенный политический институт страны.

Для влиятельных неоконсерваторов внешняя политика Клинтона была даже еще большим проклятием. Не потому что неоконсерваторы были приверженцами одностороннего подхода, противящимися принципу многосторонности Клинтона, изоляционистами или реалистами, критикующими его интернационализм и приверженность гуманизму²¹. Они говорили, что внешняя политика Клин-

19. См.: Robert Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (New York: Simon & Schuster, 2000); Dinesh D'Souza, *The Virtue of Prosperity: Finding Values in an Age of Techno-Affluence* (New York: Simon & Schuster, 2000); John B. Judis, *The Paradox of American Democracy: Elites, Special Interests, and the Betrayal of the Public Trust* (New York: Pantheon, 2000); Kagan and Kagan, *While America Sleeps*.

20. Скандальное судебное разбирательство, где Анита Хилл (помощник председателя Комиссии по трудоустройству населения Кларенса Томаса) выступила на стороне обвинения по делу о сексуальном насилии со стороны Кларенса Томаса, баллотировавшегося тогда на пост верховного судьи США. — Прим. перев.

21. Действительно, многие высказывания клинтоновской администрации по вопросу много- и одностороннего подхода удивительно напоминали высказывания администрации Джорджа Буша-младшего. В обращении к ООН в 1993 Клинтон заявил: «Мы будем регулярно сотрудничать с другими с помощью таких многосторонних институтов, как ООН. Это в наших же национальных интересах. Но мы не должны колебаться и действовать в одностороннем порядке, когда возникает угроза нашим основным интересам либо интересам наших союзников». В том же году Энтони Лейк заявил: «Мы должны действовать на основе принципа многосторонности, когда этого требуют наши интересы — и в одностороннем порядке, когда это отвечает нашим целям». В 1994 году Клинтон подтвердил, что он добивался «доминирующего влияния» США над решениями и операциями, основанными на принципе многосторонности. В 1995 году он заявил: «Мы будем действовать заодно с другими по возможности и самостоятельно — при необходимости». Джозеф Най, заместитель министра обороны при Клинтоне, с тех пор заявлял, отвергая советы реалистов, защищавших классический принцип баланса сил, что сохранение монопольной власти Соединенных Штатов — главный залог мира. Что же до споров между реалистами и гуманистами, интернационалистами и изоляционистами, то здесь многие

тона слишком сильно зависела от императивов рыночной глобализации. Это было свидетельством распространения декаданса, захватившего Соединенные Штаты после поражения Советского Союза, знаком утраты твердости характера и боевого духа. В знаменитом манифесте, опубликованном в 2000 году, Дональд и Фредерик Кейганы едва могли сдерживать свое презрение к «благополучной международной ситуации, сложившейся в 1991 году», которая «характеризовалась распространением демократии, свободной торговли и мира» и которая была «столь созвучна и близка по духу Америке» с ее любовью к «домашнему уюту». Согласно Каплану, «проблема буржуазных обществ», вроде нашего, заключается в «недостатке воображения». Например, типичную мамашу-наседку, образ которой столь упорно рекламируется как республиканцами, так и демократами, не заботит мир за пределами ее собственного мирка. «Мир, — сетует он, — доставляет удовольствие, но удовольствие преходящее». Его можно получить «только благодаря определенной форме тирании, пусть и изысканной и мягкой». А она стирает память об освобождающем конфликте, крепкой ссоре и удовольствии обретения самоидентификации «благодаря тем, кому мы противостояли»²².

Хотя считается, что консерваторы равнодушны к богатству и достатку, закону и порядку, стабильности и рутине — всем видам буржуазного комфорта, консервативные критики Клинтона ненавидели его как раз за стремление к этим добродетелям. Его одержимость свободным рынком выдавала его нежелание касаться грязного мира власти и насильственного конфликта, трагедии и разрыва. Его внешняя политика была не просто нереалистичной; она была не достаточно мрачной и продуманной. «Больше всего в духе 1990-х поражает, — сетовал Брукс, — его претензия

неоконсервативные критики администрации Клинтона, как и сама администрация, выступали за международные гуманитарные вмешательства. *Clinton Foreign Policy Reader*, 6, 16–17, 26, 28; Nye, *Paradox of American Power*, 15; Robert Kagan and William Kristol, «The Present Danger», *National Interest* (Spring 2000); «Paul Wolfowitz, Velociraptor», *The Economist* (February 9, 2002); Lemann, «Next World Order», 42; Robert Kagan, «Fightin' Democrats», *Washington Post*, March 10, 2002.

22. Kagan and Kagan, *While America Sleeps*, 1–2, 4; Kaplan, *Coming Anarchy*, 157, 172, 176.

на гармонию. Отличительной чертой этой эпохи была идея того, что никаких фундаментальных конфликтов больше не существует». Консерваторы преуспевают за счет образа мира, наполненного таинственным злом и непостижимой ненавистью, причем добро всегда вынуждено обороняться, а время — бесценная вещь в этой космической гонке против разложения и упадка. Для того чтобы справиться с таким миром, требуется языческая отвага и почти что варварская доблесть, — качества, которые консерваторы предпочитают прозаичным благам мира и преуспеванию. Не случайно Пол Вулфовиц, наиболее мрачный из всех этих темных рыцарей пессимизма, был студентом Аллана Блума (Вулфовиц, кстати, появляется ненадолго в «Равельштейне», романе Сола Беллоу о Блуме). Ведь Блум — как и многие другие влиятельные неоконсерваторы — был последователем Лео Штрауса, чьи спокойные оды классической добродетели и упорядоченной гармонии скрывали его ницшеанские видения мучительного конфликта и жестокой борьбы²³.

Была и другая причина неудовлетворенности неоконсерваторов внешней политикой Клинтона. Многие из них сочли ее недостаточно дальновидной и последовательной. Они полагали, что Клинтон просто реагировал на происходящее и действовал в зависимости от обстоятельств, не пытаясь играть сколько-нибудь активную роль и проявлять свои волевые качества. Он и его советники не готовы были представить мир, в котором Соединенные Штаты сами создавали, а не только реагировали бы на события. Вновь порывая с привычным стереотипом консерваторов как неидеологичных прагматиков, такие фигуры, как Вулфовиц, Либби, Каплан, Перл, Фрэнк Гаффни, Кеннет Адельман и команды «отцов и детей» Кейгана и Кристола, призывали к более идеологически последовательному использованию могущества Соединенных Штатов, которое позволило бы «мягкой гегемонии» американской силы расширить «зону демократии», а не просто свободный рынок. Они хотели такой внешней политики, которая, пользуясь словами Роберта Кейгана, использованными им для похвалы сенатора Джозефа

23. Brooks, «Age of Conflict»; Steven Mufson, «The Way Bush Sees the World», *Washington Post*, February 17, 2002, В1: «Paul Wolfowitz, Velociraptor».

Либермана, была «идеалистичной, но не наивной, открытой для силовых решений и ориентированной на сильную армию, а также на использование американского могущества для распространения демократии и прогресса во всем мире». Еще во время первого президентского срока Буша-младшего неоконсерваторы настаивали на том, что Соединенные Штаты, по словам Чейни, должны были «формировать будущее и вершить историю» или, как затем сформулируют Кейганы, «решительно вмешиваться в каждый значимый регион» мира «независимо от наличия явной угрозы». Они критиковали тех республиканцев, которые, по словам Роберта Кейгана, «во время тупого десятилетия 1990-х» страдали от «неприязни к государственному строительству», отвращения к «международной социальной работе» и предубеждения, что «сверхдержавы окон не моют»²⁴. Эти консерваторы жаждали по-настоящему имперской Америки — не просто потому, что они верили, что это сделает Соединенные Штаты безопаснее или богаче, и не потому, что это сделало бы мир лучше, а потому, что они в буквальном смысле желали увидеть то, как Соединенные Штаты *создают* мир.

На самом поверхностном уровне 11 сентября подтвердило то, о чем консерваторы твердили годами: мир — опасное место, полное враждебных сил, готовых на все, лишь бы увидеть, как рухнут Соединенные Штаты. Более того, 11 сентября дало консерваторам возможность изложить без обвиняков свое видение имперской американской власти, которое они лелеяли десятилетиями. «Люди теперь больше не стесняются слова „империя“», — как точно подметил Чарльз Краутхаммер вскоре после 11 сентября. В отличие от империй прошлого, эта должна была руководствоваться мягкой и даже благотворной перспективой всеобщего прогресса. Из-за порядочности Америки и ее благородных целей — в отличие от Британии или Рима, Соединенные Штаты не собирались занимать или захватывать территорию — эта новая империя не должна была породить негативную реакцию, которую вызывали все предыдущие империи. Как говорил один из авторов *Wall Street Journal*, «мы — привлекательная империя, в ко-

24. Lemann, «Next World Order», 43, 47–48; Seymour M. Hersh, «The Iraq Hawks», *New Yorker* (December 24 and 31, 2001), 61; Kagan, «Fightin' Democrats»; Kagan and Kagan, *While America Sleeps*, 293, 295.

торую каждый хочет попасть». По словам Райс, «в теории реалисты сказали бы, что когда вы обладаете такой большой властью, как Соединенные Штаты, не придется долго ждать, чтобы появились другие великие державы, готовые бросить ей вызов. И я думаю, что мы наблюдаем сейчас стремление наладить продуктивные взаимоотношения с Соединенными Штатами, а не пытаться их сдержать»²⁵. Создавая империю, Соединенные Штаты больше не будут реагировать на сиюминутные угрозы или «ждать, пока накопившиеся угрозы дадут о себе знать», как выразился президент Буш в 2002 году в послании «О положении в стране». Теперь они должны были «формировать среду», предвосхищать угрозы, планируя не на месяцы или годы, а десятилетия и, возможно, столетия вперед. Цели впервые были сформулированы Чейни, действовавшего с подачи Вулфовица, еще в начале 1990-х: гарантировать, чтобы ни одна держава более не решалась бросить вызов Соединенным Штатам и ни одна региональная держава не достигла бы явного превосходства на местной арене. Акцент делался на упреждении и предвосхищении, на изменения, а не на статичном состоянии. Как сказал Ричард Перл применительно к ситуации в Ираке, «в данном случае важно фокусироваться не на оппозиции Саддаму, как сегодня, без какой-либо внешней поддержки, без какой-либо реальной надежды на демонтаж этого ужасного режима, а на том, что могло бы быть создано»²⁶.

Последующие два года после события 11 сентября оказались для консерваторов весьма бурными, и именно в это время двойственность их отношения к свободному рынку — верность и одновременно враждебность к нему — наконец-то была разрешена. Беспомощная политика благополучия и процветания больше не мешала им, и они поверили,

25. Emily Eakin, «All Roads Lead to D. C.», *New York Times*, March 31, 2002, Week in Review, 4; Lemann, «Next World Order», 44. См. также: Alexander Stille, «What Is America's Place in the World Now?» *New York Times*, January 12, 2002, B7; Michael Ignatieff, «The American Empire (Get Used to It)», *New York Times Magazine*, January 5, 2003, 22ff; Bill Keller, «The I-Can't-Believe-I'm-a-Hawk Club», *New York Times* February 8, 2003, A17; Lawrence Kaplan, «Regime Change», *New Republic* (March 3, 2003).

26. Lemann, «Next World Order», 43–44; Hersh, «The Iraq Hawks», 61; George W. Bush, «State of the Union Address», *New York Times*, January 30, 2002, A22; Mufson, «Way Bush Sees the World», B1.

что смогут рассчитывать на то, что общественность откликнется на разговоры о самопожертвовании и судьбе, противостоянии и борьбе со злом. «Опасность» и «безопасность» стали девизами дня, а американское государство вновь обрело былое величие, не открывая при этом дороги экономическому перераспределению. 11 сентября и американская империя, как они надеялись, смогут наконец-то разрешить культурные противоречия капитализма, давным-давно описанные Дэниелом Беллом, но особенно ярко проявившиеся лишь после поражения коммунизма.

Но что значит десятилетие — или даже пара лет?! Задолго до того, как Соединенные Штаты начали говорить о победе в Ираке и (вроде бы) возвращении домой, задолго до того, как Джордж Буш-младший покинул с позором свой пост, и задолго до того, как Афганистан оказался американцам не по зубам, было ясно, что империя неоконсерваторов покоилась на шатких основаниях. Так, когда в конце октября и начале ноября 2001 года целые недели бомбардировок не смогли отгеснить Талибан, критики начали шептаться о том, что американцы увязнут в Афганистане так же, как это было во Вьетнаме²⁷. Как только война в Ираке перестала казаться простой прогулкой, как об этом говорили ее защитники, демократы начали прошупывать, пусть и осторожно, пределы допустимой критики. И уже во время президентской кампании 2004 года критика войны стала чем-то вроде лакмусовой бумаги среди демократических кандидатов.

Конечно, эта критика не могла как-то серьезно повлиять на идущую полным ходом реализацию военной стратегии Буша — и даже при Обаме мало кто мог оспорить основные предпосылки имперских претензий Америки, — однако периодическое появление такой критики, в особенности

27. Eric Schmitt and Steve Lee Myers, «U. S. Steps Up Air Attack, While Defending Results of Campaign», *New York Times*, October 26, 2001, B1; Susan Sachs, «U. S. Appears to Be Losing Public Relations War So Far», *New York Times*, October 28, 2001, B8; Warren Hoge, «Public Apprehension Felt in Europe over the Goals of Afghanistan Bombings», *New York Times*, November 1, 2001, B2; Dana Canedy, «Vietnam-Era G. I.'s Watch New War Warily», *New York Times*, November 12, 2001, B9.

во времена трудностей или поражений, предполагает, что имперская идея политически жизнеспособна лишь покуда есть успех. Так и должно быть: поскольку имперская программа обещает, что Соединенные Штаты могут управлять событиями, вершить историю, это обещание полностью зависит от успеха или провала. При малейшем подозрении, что события могут выйти из-под контроля империи, перспективы империи блекнут. И действительно, понадобилась всего одна неделя кровопролитий в Израиле и на оккупированных территориях в марте 2002 года — чтобы последовавшие обвинения в том, что «Буш фиглярничает в Белом доме или Техасе, строя из себя Нерона, в то время как Ближний Восток полыхает», поставили под вопрос проектируемую империю. Как только насилие на Ближнем Востоке начало обостряться, даже защитники администрации побежали с корабля, начав рассуждать о том, что вторжение в Ирак должно быть отложено на неопределенный срок. По словам одного из высокопоставленных советников по вопросам безопасности при Рейгане, «главная ирония заключается в том, что величайшая держава, которую когда-либо знал мир, неспособна справиться с региональным кризисом». Тот факт, как добавил этот советник, что администрация была маниакально «сосредоточена на Афганистане или Ираке» — двух ключевых аванпостах имперской конфронтации, — в то время как Ближний Восток пылал в огне, «отражает либо ужасное высокомерие, либо некомпетентность»²⁸.

По иронии, пока администрация Буша избегала конфликтов, подобных тем, что происходили между израильянами и палестинцами, где могла потерпеть провал, (а администрация Обамы сегодня, по-видимому, придерживается той же политики в отношении Израиля и Палестины), она была вынуждена воздерживаться от той самой логики империализма, о которой так громогласно заявляла. Исходя из предположения о том, что Соединенные Штаты способны контролировать события, имперский проект неоконсерваторов не мог потерпеть неудачу. Однако избегая неудач, империалисты должны были признать, что не могут контролировать события.

28. Robin Wright, «Urgent Calls for Peace in Mideast Ring Hollow as Prospects Dwindle», *Los Angeles Times*, March 31, 2002.

Как заметил бывший госсекретарь Лоуренс Иглбергер по поводу палестино-израильского конфликта, Буш осознал, что «просто ввязаться в это без реальной возможности достичь успеха само по себе опасно, поскольку станет видно, что на самом деле мы сейчас не способны контролировать или влиять на события»,²⁹ а этого-то неоконсерваторы не могли себе позволить. Эта классическая патовая ситуация не была лишь проблемой логики или последовательности: она вскрывала хрупкость, присущую самой имперской позиции.

Эта хрупкость также отражала внутривнутриполитический вакуум представлений неоконсерваторов об империи. Хотя они продолжали воспринимать империализм как культурный и политический противовес свободному рынку, они никак не могли примириться — даже десять лет спустя — с тем, что консервативное неприятие государственных расходов и политика снижения налогов не позволяют Соединенным Штатам делать необходимые инвестиции в национальное строительство, которого требует империализм.

Что касается ситуации внутри страны, едва ли можно было утверждать, что политическое и культурное обновление, о котором говорило большинство комментаторов — возрождение государства, возвращение идеалов самопожертвования и духа коллективизма, укрепление нравственности, — вообще произошло, даже в жаркие дни после 11 сентября. Из всех событий того времени два следует отметить особо. В марте 2002 года шестьдесят два сенатора, включая девятнадцать демократов, отклонили более высокие топливосберегающие нормы автопромышленности, которые бы снизили зависимость от нефти из Персидского залива. Представитель республиканцев от Миссури Кристофер Бонд чувствовал себя столь свободным от обязанности проявлять уважение к государственным институтам во время войны, что заявил в Сенате: «Не хочу говорить маме в моем родном штате, что ей не надо покупать внедорожник, поскольку Конгресс решил, что это неудачный выбор». Еще более показательной была уязвимость поборонок более высоких стандартов перед этими антигосударственными рассуждениями. Джон Маккейн, например, был

29. Wright, «Urgent Calls for Peace in Mideast Ring Hollow as Prospects Dwindle»...

вынужден срочно перейти к обороне из-за предположений о том, что правительство станет вмешиваться в частный рыночный выбор людей. Ему оставалось лишь утверждать, что «ни одному американцу не придется водить второй автомобиль», как будто в эту новую эпоху военных жертв и солидарности это было бы чудовищным притеснением³⁰.

А несколькими месяцами ранее Кен Файнберг, глава Фонда компенсаций жертвам 11 сентября, объявил, что семьи жертв получают компенсацию, частично исходя из зарплаты каждой из жертв на момент смерти. После атак на Всемирный торговый центр и Пентагон Конгресс пошел на беспрецедентный шаг, приняв на себя общенациональные обязательства по возмещению ущерба семьям погибших. Хотя это решение вдохновлялось стремлением предупредить дорогие иски против авиакомпаний, для многих наблюдателей это стало сигналом появления нового духа в стране: перед лицом национальной трагедии политические лидеры наконец порывали с законом капиталистических джунглей времен Рейгана — Клинтона. Но даже имея дело со смертью, рынок — и порожаемое им неравенство — был единственным языком, на котором умели говорить лидеры Америки. Отказавшись от понятия коллективной жертвы, при подсчете точных компенсационных выплат Файнберг предпочел положиться на таблицы смертности для страхования жизни. Семья одинокой шестидесятипятилетней бабушки с заработком в 10 000 долларов в год — возможно, посудомойки с минимальной зарплатой — получила бы от фонда 300 000 долларов, тогда как семья тридцатилетнего маклера с Уолл-стрит получила бы 3 870 064. Погибшие 11 сентября не были гражданами демократического государства; они были лицами, имеющими заработок, и компенсации должны были распределяться соответственно. Практически никто — даже комментаторы и политики, осудившие расчеты Файнберга по другим причинам, — не критиковал данный аспект его решения³¹.

30. David E. Rosenbaum, «Senate Deletes Higher Mileage Standard in Energy Bill», *New York Times*, March 14, 2002, A28.

31. Diana B. Henriques and David Barstow, «Victim's Fund Likely to Pay Average of \$1.6 Million Each», *New York Times*, December 21, 2001, A1. См. блестящую критику в: Eve Weinbaum and Max Page, «Compensate All 9/11 Families Equally», *Christian Science Monitor*, January 4, 2002, 11.

Даже в военных кругах и около них этика патриотизма и коллективной судьбы оставалась вторичной по сравнению с идеологией рынка. Согласно малозамеченной статье *New York Times*, опубликованной в октябре 2001 года, военные вербовщики признавались, что они продолжали привлекать новобранцев, не апеллируя к патриотизму или чувству долга, а обещая хорошие экономические возможности. Как сказал один рекрутер: «Это просто обычный бизнес. Мы ничего не навязываем, прикрываясь лозунгом „Помоги стране“». Когда случайный патриот врывался в призывной пункт и заявлял, что он хотел бы сражаться, рекрутеру приходилось успокаивать таких «бойцов»: «Мы же не только деремся и бомбим. Мы предлагаем работу, образование»³². Рекрутеры признались, что они работают преимущественно с иммигрантами и представителями цветного населения, полагая, что ограниченные возможности этой аудитории заставляют их поступать на военную службу. Пентагон публично признал цель, которая, по сути, состояла в увеличении числа выходцев из Латинской Америки в составе вооруженных сил от 10 до 22%. Рекрутеры дошли до того, что отправлялись в Мексику, обещая немедленное предоставление гражданства бедным мексиканцам, готовым взяться за оружие ради Соединенных Штатов. Один рекрутер из Сан-Диего отмечал: «уже стало обычным делом, когда отдельные рекрутеры едут в Тихуану для раздачи брошюр с призывами, или в отдельных случаях они ищут кого-то в помощь для распространения информации на мексиканской стороне»³³. В декабре 2002 года, когда Соединенные Штаты готовились к вторжению в Ирак, демократический конгрессмен от штата Нью-Йорк Чарльз Рангель выступил с радикальным решением, предложив восстановить воинский призыв. Отмечая, что иммигранты, представители цветного населения и бедные несли непропорционально большое бремя воинской повинности, Рангель утверждал, что Соединенные Штаты должны распределять внутренние

32. Tim Jones, «Military Sees No Rush to Enlist», *Chicago Tribune*, March 24, 2002; David W. Chen, «Armed Forces Stress Careers, Not Current War», *New York Times*, October 20, 2001, B10.

33. Andrew Gumbel, «Pentagon Targets Latinos and Mexicans to Man the Front Lines in War on Terror», *The Independent*, September 10, 2003.

издержки империи более справедливо. Если бы белых ребят из среднего класса заставили вскинуть винтовку, говорил он, президентская администрация и ее сторонники подумали бы дважды перед тем, как начинать войну. Однако законопроект ушел в никуда.

Тот факт, что война никогда не навязывала населению идеалы самопожертвования, которые обычно сопровождают национальные военные выступления, вызвал большую озабоченность среди политической и культурной элиты. «Опасность, в долгосрочной перспективе, — писал в *Times* незадолго до своей смерти Р. У. Эппл, — заключается в утрате интереса. Учитывая, что войны ведутся спецназовцами, дипломатами и агентами спецслужб вовсе не на виду, сможет ли вся страна, десятилетиями занимавшаяся самоублажением, оставаться мобилизованной?» А Фрэнк Рич вскоре после своих объявлений о том, что эпоха «блеска и сияния» закончилась, вдруг заговорил о том, что «вы никогда бы не подумали, что эта страна находится в состоянии войны». До 11 сентября «администрация заявляла, что для нас нет невозможного». После 11 сентября администрация говорила практически то же самое. Бывший помощник Линдона Джонсона сказал *New York Times*: «Людей в это втянут. Пока что этим, как и положено, занимается правительство, но без участия народа»³⁴. Без кровавых жертв, как опасались наблюдатели, преданность американцев не будет проверена, а решимость — укреплена. Как сетовала Дорис Кернс Гудвин в *The News-Hour*:

Что же, я думаю, проблема заключается в том, что мы понимаем, что нас ждет долгая война, и сейчас нам трудно участвовать в ней по тысяче причин, как это было и в случае со Второй мировой войной. У вас могут быть сотни тысяч призывников, вступающих в ряды вооруженных сил. Они могли бы пойти на заводы, чтобы производить корабли, танки и оружие. Они могли бы завести «огороды побе-

34. R.W. Apple Jr., «Nature of Foe Is Obstacle in Appealing for Sacrifice», *New York Times*, October 15, 2001, B2; Frank Rich, «War Is Heck», *New York Times*, November 10, 2001, A23; Alison Mitchell, «After Asking for Volunteers, Government Tries to Determine What They Will Do», *New York Times*, November 10, 2001, B7. См. также: Michael Lipsky, «The War at Home: Wartime Used to Entail National Unity and Sacrifice», *American Prospect* (January 28, 2002): 15–16.

ды»³⁵. Они могли чувствовать себя иначе, чем когда нам просто говорят: возвращайтесь к своей обычной жизни. Теперь это тяжелее. У нас уже нет того военного призыва, хотя хочется верить, что появились определенные признаки того, что молодое поколение захочет участвовать в боевых действиях. Мой родной младший сын, только что закончивший Гарвард в июне этого года, пошел в армию. Он хочет отслужить три года. Он хочет стать частью чего-то большего, а не просто пойти годик поработать, чтобы затем поступить на юридический факультет. Я подозреваю, что подобных добровольцев найдется немало. Но в каком-то смысле мы просто ждем, чтобы правительство сформулировало некую сверхзадачу. Может быть, нам нужен проект «Манхэттен»³⁶ для производства антибиотиков. И я уверена, что нам нужно резко мобилизовать наш дух, нашу производительность³⁷.

Возможно, самым странным зрелищем за все время войны стали отчаянные попытки политических лидеров найти, чем же занять людей — не потому, что было много дел, а потому что без дела пыл рядовых американцев бы просто охладел. С тех пор как эти задачи стали ненужными, а попытка обязать людей выполнять их была бы нарушением норм рыночной идеологии, лучшее, что смогли предложить президент с его коллегами, это назвать веб-сайты и бесплатные телефонные номера, по которым желающие могли получить информацию об участии в обороне страны. Как заявил Буш в Северной Каролине через день после своего послания Конгрессу «О положении в стране» в 2002 году, «если вы слушали мою вчерашнюю речь, вы знаете, что люди говорили: „ух ты, здорово, он призвал меня к действию, куда же обратиться?“ А вот куда: usafreedomcorps.gov. Или вы можете позвонить по этому номеру — звучит так, как

35. «Огороды победы» — домашние огороды американцев во время обеих мировых войн, к обзаведению которыми активно призывало федеральное правительство. В период Первой мировой войны школьники вступали в «Американскую армию школьных огородов» и после занятий занимались выращиванием овощей в городских парках. — *Прим. перев.*

36. Проект «Манхэттен» или Манхэттенский проект — кодовое название правительственной научно-промышленной программы создания атомной бомбы, принятой администрацией Ф. Д. Рузвельта в 1942-м. — *Прим. перев.*

37. *The News Hour*, October 29, 2001, http://www.pbs.org/newshour/bb/white_house/july-deco1/historians_10-29.html, accessed April 8, 2011.

будто я занялся рекламой, и это действительно так. Это как раз то, что сейчас нужно Америке. 1-877-USA-CORPS». Правительство даже не могло рассчитывать на то, что граждане будут платить за подобные звонки. И какие же обязанности предлагалось выполнять этим добровольцам? Если они были врачами или работниками здравоохранения, они могли помочь во время чрезвычайных ситуаций. А остальные? А они — пригодиться при осуществлении программы «Сторож соседского дома»³⁸ и тем самым не допустить террористических атак в Северной Каролине³⁹.

С окончанием холодной войны (кто-то, может, даже скажет Вьетнамской войны) нарастал разрыв между культурой и идеологией деловой элиты США и таких политических бойцов, как Вулфовиц и другие неоконсерваторы. В то время как холодная война сопровождалась созданием непонятного класса «мудрецов» (людей, вроде Дина Ачесона и братьев Даллес), сводивших между собой, пусть и грубовато, миры бизнеса и политики, в правление Рейгана и последующие годы наблюдался уже совсем другой процесс. С одной стороны, у нас есть молодое поколение корпоративных магнатов, которые делают все, что в их силах, чтобы получить привилегии от государства, но не испытывают к нему ни уважения, ни привязанности, отличавшей их старших товарищей. Они желают непременно воспользоваться общественной кормушкой, но презируют политику и правительство. Эти новые гендиректора работают в тесном контакте с коллегами из Токио, Лондона и других глобальных городов; пока государство дает им то, что нужно, и не слишком вмешивается в их операции, они позволяют аппаратчикам

38. «Сторож соседского дома» — добровольная общественная программа содействия полиции и профилактики преступности. Суть ее заключается в том, что соседи следят за появлением в округе подозрительных личностей и сообщают об этом в полицию. На домах участников программы висят предупреждающие таблички типа «Даже если я не позволю в полицию, это сделает мой сосед». — *Прим. перев.*

39. Elisabeth Bumiller, «Bush Asks Volunteers to Join Fight on Terrorism», *New York Times*, January 31, 2002, A20; Mitchell, «After Asking for Volunteers», B7. Also see David Brooks, «Love the Service Around Here», *New York Times Magazine*, November 25, 2001, 34.

делать свое дело⁴⁰. На вопрос Томаса Фридмана о том, как часто в его разговорах всплывают темы Ирака, России или зарубежных войн, один директор из Кремниевой долины ответил: «Не чаще раза за год. Мы даже не обращаем внимания на Вашингтон. Деньги добывает Кремниевая долина, а тратит их Вашингтон. Я хочу поговорить о людях, приносящих богатство. И не хочу говорить о нездоровых и непродуктивных людях. Если мне все равно, как дела у тех, кто транжирит богатства моей собственной страны, зачем мне думать о транжирах в других странах?»⁴¹

С другой стороны, у нас есть новый класс политической элиты, которая почти не контактирует с деловым сообществом и которая до прихода во власть принадлежала к академическим кругам, журналистике, «мозговым центрам» или иной части культурной индустрии. Такие люди, как Вулфовиц и Брукс, Кейганы и Кристолю, торгуют идеями, рассматривая мир как испытательный полигон для своих идей. Не сталкиваясь с противодействием со стороны бизнеса, они считают, что могут продвигать свое дело на Ближнем Востоке или в любом другом месте. Как и их корпоративные коллеги, неоконсерваторы рассматривают мир в качестве своей сцены, но в отличие от них — они готовятся к куда более впечатляющей и нечеловеческой драме. Их конечной целью, если у них вообще есть таковая, является апокалиптическое противостояние добра и зла, цивилизации и варварства — категорий языческого конфликта, диаметрально противоположных идее мира без границ, исповедуемой американской фритредерской и глобализационной элитой.

40. Этот корпоративный отказ от правительственной власти относится и к таким случаям, как первая война в Ираке или подписание НАФТА, когда многим показалось, что они услышали тяжелую поступь корпоративной Америки. Но, согласно описаниям войны в Ираке и НАФТА, именно политические деятели, в особенности президент Джордж Буш-старший, проводили подобный курс, часто заставляя следовать ему не слишком заинтересованные деловые и военные круги. John R. MacArthur, *The Selling of «Free Trade»: NAFTA, Washington, and the Subversion of American Democracy* (Berkeley: University of California Press, 2000), 137, 170, 174–175, 194; Halberstam, *Peace in Time of War*, 69–70; Kagan and Kagan, *While America Sleeps*, 244–250.

41. Thomas Friedman, *The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization* (New York: Farrar, Straus, Giroux, 1999), 373.

Глава 9. Этикет мачо¹

Мужчины могут мечтать о доказательствах и выкраивать иллюзорный мир в виде аксиом, дефиниций и теорем, закрепляя его подписью «что и требовалось доказать»... (Q. E. D.)

Джордж Элиот, «Даниэль Деронда»

ЧАСТО говорят, что XX век преподавал нам один простой урок относительно политики: из всех мотивов политического действия ни один не является столь смертельным, как идеология. Жажда наживы может быть отвратительна, а жажда власти — низменной, но ни одна не доведет своих приверженцев до преступных эксцессов торжествующей идеи. И будь ее ориентиром рабочий класс либо раса господ, идеология напрямик ведет на кладбище.

Хотя умеренные интеллектуалы постоянно используют определенную версию этого аргумента против «-измов» правых и левых, они редко выказывали подобный скептицизм в отношении еще одной навязчивой идеи XX века — национальной безопасности. Одни писатели критикуют эту войну, другие — ту, но сочинил ли кто-нибудь книгу в духе Дэниела Белла под названием «Конец национальной безопасности?» Миллионы людей были убиты во имя безопасности; Сталин и Гитлер заявляли, что защищали свои народы от смертельной угрозы.² Но такой книги пока не существует.

1. Впервые опубликовано в: Corey Robin, «Protocols of Machismo», *London Review of Books* (May 19, 2005): 11–14.

2. Выступая перед высшим составом СС в Позене 4 октября 1943 года, Гиммлер заявил: «Мы имели моральное право и обязаны были ради нашего народа убить этих людей, желавших убить нас». *The Nazi Germany Sourcebook: An Anthology of Texts*, ed. Roderick Stackelberg and Sally A. Winkle (New York: Routledge, 2002), 370. См. также: J. Arch Getty and Oleg V. Naumov, *The Road to Terror: Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks, 1932–1939* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1999); Christopher R. Brown-

Рассмотрим несколько шагов, отделяющих идею национальной безопасности от зловещих преступлений в Абу-Грейб. Каждая из причин, приведенных администрацией Буша в пользу объявления войны Ираку — угроза оружия массового поражения (ОМП), предполагаемые связи Саддама с аль-Каидой, даже распространение демократии на Ближнем Востоке, — в какой-то мере касалась защиты Соединенных Штатов. Получение полезных разведанных от информаторов — решающий элемент в разгроме любого мятежа. И военная разведка США посчитала (а возможно, считает и до сих пор), что сексуальное унижение — особенно действенный инструмент для выбивания информации из упорствующих мусульманских и арабских пленных³.

Многие критики говорили о недопустимости произошедшего в Абу-Грейб, но лишь немногие увязали его бесчинства с идеей национальной безопасности. Возможно, они считают подобное расследование необязательным. В конце концов, многие из них выступили против войны на том основании, что Ирак не угрожал безопасности США. Некоторые из самых признанных практиков в области национальной безопасности, таких как Brent Scowcroft и Збигнев Бжезинский, а также такие теоретики, как Стивен Уолт и Джон Миршаймер, утверждали, что война противоречила соображениям безопасности Соединенных Штатов. По словам этих критиков, один лишь факт, что некоторые политики злоупотребляли принципом национальной безопасности, не должен ставить под вопрос сам принцип. Но когда идея регулярно сопровождается зверствами, если не вызывает их (вспомним, что Абу-Грейб был не первым случаем применения нашей страной пыток во имя безопасности), критический взгляд на нее лишним не будет. Если, конечно, защитники идеи не захотят присоединиться к компании идеологов, ими

ing, *The Origins of the Final Solution: The Evolution of Nazi Jewish Policy, September 1939–March 1942* (Lincoln: University of Nebraska Press/Jerusalem: Yad Vashem, 2004).

3. Seymour M. Hersh, *Chain of Command: The Road from 9/11 to Abu Ghraib* (New York: Harper Collins, 2004), 38–39; Jane Mayer, *The Dark Side: The Inside Story of How the War on Terror Turned into a War on American Ideals* (New York: Doubleday, 2008), 167–168.

осуждаемых, подтверждая свою верность идеальной версии национальной безопасности, отрекаясь при этом от ее существующего варианта.

В своей идеальной версии национальная безопасность требует ясного понимания интересов страны и трезвой оценки угроз. Сила, как мог бы сказать советник своему государю, есть орудие, которое лидер может использовать в ответ на угрозы, но должен использовать разумно и бесстрашно. И так же, как его не должны волновать права человека или международное право, его не должно волновать и применение насилия. Аналитики могут добавить к инструментам, имеющимся у лидера, нормы международного права, но при этом они сразу замечают, как это делает Джозеф Най в «Парадоксе американской силы», что такие правила могут отступать на второй план перед «жизненно важными интересами выживания», которые «иногда нам придется отстаивать в одиночку»⁴. Национальная безопасность требует поистине монашеского самоотречения, при котором чиновники отказываются от удобств совести и удовольствий порыва, чтобы при необходимости применить самую что ни на есть брутальную силу и воздержаться или отказаться от использования этой силы, когда она станет контрпродуктивной. Подобный этос содержит все признаки кредо, требующего смирения своего «я», подобного тому, которое ожидают от истинного христианина.

Первый пункт этого кредо, национальный интерес, даст лидерам большую свободу в определении угроз. Что, в конце концов, представляет собой национальный интерес? Согласно Наю, «национальные интересы — не что иное, как то, что граждане после соответствующего обсуждения назовут таковым». Даже если допустить, что гражданам регулярно дают возможность порассуждать о национальном интересе, в реальности они крайне редко, если вообще когда-либо, приходят к согласию по этому вопросу. Как отмечает Най, в исчерпывающем исследовании Питера Трубовица о том,

4. Joseph S. Nye Jr., *The Paradox of American Power: Why the World's Only Superpower Can't Go It Alone* (New York: Oxford University Press, 2002), 159, 163.

как американцы определяли национальный интерес на протяжении XX века, было установлено, что «единого национального интереса не существует. Аналитики, считающие, что у Америки есть четкие национальные интересы, защита которых должна играть определяющую роль в ее взаимоотношениях с другими странами, не способны объяснить неудачу в достижении консенсуса внутри страны относительно международной стратегии»⁵. И это вполне объяснимо: если человеку трудно определить даже свои собственные интересы, то почему мы ожидаем, что масса людей справится с этой задачей лучше? Если народ не может определить свои коллективные интересы, то как он может знать, что этим интересам что-то угрожает? Столкнувшись с подобной проблемой, лидеры часто прибегают к самому очевидному определению угрозы: неминуемое нападение врага, грозящее положить конец независимости страны. Лидеры фокусируются на катастрофических сценариях будущего хотя бы потому, что они позволяют оценить, что является и что не является угрозой, в чем состоит и в чем не состоит безопасность. Но эта максимальная угроза часто оказывается не менее иллюзорной, чем ошибочное определение безопасности, подобную угрозу породившее.

За каждым разговором о войне и мире, в сущности, стоит вопрос жизни и смерти. И смерти не нескольких людей, а, как предлагает Майкл Уолцер в своей книге «Рассуждения о войне», «морального, как и физического, уничтожения» целого народа. Да, страны крайне редко сталкиваются с тем, что их «целостность» — способность «двигаться дальше, совершенствуясь и сохраняя преемственность» — оказывается под угрозой. Но в моменты, которые Уолцер вслед за Черчиллем называет «крайней необходимостью», лидер может пойти на совершение самых отвратительных преступлений, чтобы предотвратить катастрофу⁶. Сознательное убийство невинных, применение пыток: подобные меры могут быть столь же разнообразными и почти столь же ужасными, как и злодеяния, которых страна пытается не допустить.

5. Nye, *Paradox of American Power*, 135, 139.

6. Michael Walzer, *Arguing about War* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2004), 33, 43.

По очевидным причинам Уолцер придерживается того мнения, что лидеры должны быть осторожны, апеллируя к крайней необходимости и чрезвычайным обстоятельствам, и должны иметь на руках реальные доказательства прежде, чем прибегать к языку Черчилля. В целом история национальной безопасности показывает, что правила предоставления доказательств будут нарушаться на практике и что идея катастрофы поощряет и даже подталкивает к пренебрежению этими правилами.

«При нормальном положении, — объявлял Ришелье на заре системы современного государства, — отправление правосудия требует подлинных доказательств; иные правила действуют в государственных делах... Там чрезвычайные обстоятельства занимают место доказательства; утрата частного несравнима со спасением всего государства»⁷. По мере того как мы восходим по шкале угроз, иными словами, от незначительных преступлений к уничтожению или утрате государства, нам требуется все меньше и меньше доказательств того, что каждая такая угроза реальна. Последствия недооценки серьезных угроз настолько велики, полагает Ришелье, что нам может и не оставаться ничего иного, кроме как переоценивать их. Три века спустя, Лернед Хэнд сослался на версию этого правила, утверждая, что «серьезность „зла“ должна «игнорироваться степенью его невероятности»⁸. Чем серьезней зло, тем более высокая степень невероятности нам нужна, чтобы не беспокоиться о нем. Или же, если зло действительно ужасно, но едва ли произойдет, возможно, нам все-таки стоит нанести упреждающий удар.

Ни одно из этих утверждений не оправдывает великих злодеяний государства, но оба предполагают обратные взаимоотношения между величиной опасности и требованиями фактичности. Раз лидер начал задумываться о моральном и физическом уничтожении страны, он входит в мир, в котором вымышленная необходимость не обязательно уступает реальной и в котором настоящие добрые дела могут казаться лишь прелюдией будущих злодеяний. В этот мо-

7. Цит. по: Otto Kirchheimer, *Political Justice: The Use of Legal Procedure for Political Ends* (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1961), 29.

8. *United States v. Dennis et al. v. United States*, 183 F.2d 212 (1950).

мент страх и государственные соображения настолько переплетены, что теоретики эпохи раннего Нового времени, менее стеснительные в подобных вопросах, чем мы, с легкостью признавали первое свидетельством второго: страх нации, как они утверждали, мог служить законным оправданием войны, даже на упреждение. «Пока разум остается разумом, — писал Френсис Бэкон, — справедливый страх будет справедливым основанием упреждающей войны»⁹. Это прекрасное описание логики, вдохновлявшей холодную войну: сражаться с ними там — во Вьетнаме, Никарагуа, Анголе, — чтобы не пришлось останавливать их здесь, на Рио-Гранде, канадской границе, на Мэйн-стрит. Это же превосходно описывает и логику нацистского вторжения в Советский Союз:

Мы сражаемся на таких далеких фронтах для защиты нашей родины, чтобы отодвинуть войну как можно дальше и предотвратить то, что иначе стало бы судьбой всей страны и что до сих пор довелось или доведется испытать лишь немногим немецким городам. Поэтому лучше оборонять фронт за 1000 или, если необходимо, за 2000 километров от дома, чем быть вынужденными оборонять границы Рейха.¹⁰

Эти формулировки ни в коем случае не являются древними или академическими. Хотя либеральные критики утверждают, что администрация Буша лгала или сознательно преувеличила угрозу, представляемую Ираком, чтобы оправдать развязывание войны, на самом деле администрация и ее союзники были часто обезоруживающе честны в своей оценке угрозы или, по крайней мере, в отношении того, как эта оценка проводится. Заглядывая в будущее, они воображали худшее — «мы не хотим, чтобы „дымящийся пистолет“¹¹ оказался грибовидным облаком»¹² — предоставляя своей аудитории делать самые пугающие заключения.

9. Francis Bacon, *Considerations Touching a War with Spain*, в *The Works of Francis Bacon*, vol. 2 (Philadelphia: A. Hart, 1850), 205.

10. Адольф Гитлер, речь по случаю годовщины путча 1923 года (8 ноября 1942), в: *Nazi Germany Sourcebook*, 295.

11. Smoking gun (англ.) — идиома, обозначающая неопровержимое доказательство. — Прим. перев.

12. Hersh, *Chain of Command*, 231.

В своем послании «О положении в стране» от 2003 года, ставшим одним из его ключевых выступлений в преддверии войны, Буш заявил: «Некоторые говорят, что мы не должны действовать, пока угроза не станет явной. С каких это пор террористы и тираны заявляют о своих намерениях, вежливо ставя нас в известность перед ударом? Если позволить подобной угрозе осуществиться, любые действия, любые слова и встречные обвинения будут запоздалыми»¹³. Буш не подтверждает явный характер угрозы и в неявной форме его отрицает, прячась за прошлым, цепляясь за предположительное и приходя к кошмарному, хотя и легко вообразимому будущему. Он говорит не о том, что «есть», а о «если» и «может быть». То есть его слова условны (вот почему критики Буша, настаивая на том, что он выстраивает свою позицию на основе фактов или фантазии, никогда не могли подловить его). Он говорит во «времени» страха, в котором доказательство и догадка, разум и гипотеза сочетаются, заставляя выглядеть наилучший возможный вариант совершенно реальным.

После начала войны тележурналистка Дайан Сойер добивалась от Буша уточнения разницы между предположением, «высказанным как неопровержимый факт того, что там было оружие массового поражения», и гипотетической возможностью того, что Саддам «мог предпринять шаги по его приобретению». Буш ответил: «А какая разница?»¹⁴ Это был не бесцеремонный комментарий, а самое четкое заявление Буша за всю войну, искусная аналитика различия, не имевшего большого значения в контексте национальной безопасности.

Вероятно, никто из администрации или близких к ней кругов не понял лучше то, как национальная безопасность размывает грань между возможным и действительным, чем Ричард Перл. «Думаю, мы не знаем, как далеко зашел Саддам по части ядерного вооружения, — сказал он однажды. — Однако считаю, что дальше, чем мы думаем. И так всегда, поскольку мы ограничиваем себя, когда об этом думаем, тем, что мы можем доказать и продемонстрировать... И если

13. http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=2003_presidential_documents&docid=pdo3feo3_txt-6, accessed April 8, 2011.

14. <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/wmd/etc/script.html>, accessed April 8, 2011.

только вы не думаете, что мы обнаружили все, что можно, вам приходится предположить, что мы не способны сообщить в наших рапортах всего».

Как и Буш, Перл не лжет и не преувеличивает. Вместо этого он воображает и проецирует, по ходу опрокидывая принятые правила судебной ответственности. Когда кто-то рекомендует нелегкий путь во имя лучшего будущего, ему неизбежно придется защищаться от скептика, который настаивает на том, чтобы первый доказал, что его предложение приведет к ожидаемому итогу. Но если кто-то отстаивает не менее легкий путь для предотвращения гипотетической катастрофы, бремя доказывания перекладывается на скептика. Внезапно он оказывается вынужден обосновывать свои сомнения в его убежденности, отстаивать свое предпочтение обычной политики перед его чрезвычайной политикой. А это, как я предполагаю, и есть причина того, что предвоенная мантра администрации Буша, «отсутствие доказательства не есть доказательство отсутствия» — смехотворная в свете аргумента, скажем, мира на планете — могла показаться удивительно логичной в качестве аргумента в поддержку войны. «Лучше быть презируемым за слишком мрачные предчувствия», отмечал Бёрк, «чем оказаться в беде из-за излишней уверенности в безопасности»¹⁵.

Как говорит Уолцер, целый народ может столкнуться с истреблением. Но жертвы геноцида обычно не имеют ни своего государства, ни власти, и миру непросто увидеть или признать их уничтожение, даже при наличии неопровержимых доказательств. С другой стороны, граждане и подданные великих держав редко сталкиваются с перспективой «как морального, так и физического уничтожения» (Уолцер приводит всего два таких случая). Однако их лидеры, по-видимому, воображают такое уничтожение с завидной легкостью.

Мы находим проявления этой снисходительности к государству и его заботам — и одновременно скепсиса в отношении негосударственных акторов и их забот — в рассуждениях самого Уолцера о войне и мире. В своей книге «Рассуждения о войне» Уолцер борется с террористами, утверждающими,

15. Edmund Burke, *Reflections on the Revolution in France*, ed. J. C. D. Clark (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2001), 154; Эдмунд Бёрк. *Размышления о революции во Франции*. М.: Рудомино, 1993, с. 63.

что они используют насилие как последнее средство, и антивоенными активистами, утверждающими, что правительства должны прибегать к войне лишь как к последнему средству. Уолцеру эти утверждения кажутся сомнительными. Во все не будучи иллюстрацией железной последовательности, его скепсис по поводу «последнего средства» свидетельствует о наличии двойного стандарта. В случае с негосударственными акторами он устанавливает гораздо более высокую планку для применения силы, чем в случае с государственными акторами, — и не потому, что террористы наносят удары по гражданскому населению, а государство так не поступает, а потому что Уолцер отказывается принять «последнее средство» террористов, хотя он признает такое право за правительством или, по крайней мере, бросить вызов критикам правительства, настаивающим на том, чтобы война действительно стала последним средством.

Для Уолцера аргумент последнего средства со стороны антивоенных активистов зачастую простая уловка, созданная с целью сделать невозможным развязывание правительством войны, — и уловка грязная. Поскольку категория «последнего, — говорит он, — представляет собой метафизическое условие, никогда не достижимое в реальном мире; всегда есть возможность сделать что-то еще или сделать снова, прежде, чем обращаться к чему-либо действительно в последнюю очередь». Мы всегда можем потребовать «еще одной дипломатической ноты, еще одной резолюции ООН, еще одной встречи», всегда можем колебаться и откладывать. Хотя Уолцер признает нравственную силу аргумента последнего средства — «политические лидеры должны переступить этот порог [объявления войны] лишь с большой неохотой и трепетом» — он подозревает, что это чаще «лишь оправдание, чтобы бесконечно откладывать применение силы». В результате, говорит он, «я всегда отвергал тот аргумент, что сила является последним средством»¹⁶.

Но когда негосударственные акторы утверждают, что прибегают к терроризму как последнему средству, Уолцер подозревает их в нечестности. Для таких людей «не так-то просто прийти к „последнему средству“». Чтобы это сде-

16. Walzer, *Arguing about War*, 88, 155, 160.

лать, им действительно надо перепробовать все (а это много) и не единожды. Даже «в условиях тирании и войны», как он настаивает, «совершенно неясно, когда» угнетенные действительно «исчерпывают все возможные средства». Уолцер признает, что сходный аргумент может быть применен и к правительственным чиновникам, но ими в его понимании являются те, кто «убивает заложников или бомбит деревни», а не те, кто говорит о том, что они должны идти на войну¹⁷. Таким образом, Уолцер учитывает возможность того, что правительствам, со всей их властью, приходится бежать наперегонки со временем, но при этом он настаивает на том, что у террористов и людей, которых они, по их утверждениям, представляют, всегда есть уйма времени.

Что же это за великая держава, которая придает такое значение воображаемым картинам собственной гибели? Почему, несмотря на все рассуждения об осторожном и рациональном использовании силы, подобные державы так быстро к ней прибегают? Возможно, потому что в идее бедствия, в мужественном противостоянии и предотвращении катастрофы есть что-то глубоко притягательное. Ведь бедствия и катастрофы могут побудить нацию, по крайней мере, в теории, обратиться к своим самым глубоким нравственным и политическим резервам, испытать себя на поле боя и за его пределами. Какими бы холодными адептами силовой политики ни считало себя большинство лидеров и теоретиков, война остается великим романом эпохи, полигоном для личности и страны.

Можно лишь гадать, почему напряженная жизнь кажется столь привлекательной, но одна из возможных причин заключается в противостоянии тому, что консерваторы со времен Великой французской революции считали пороками либерально-демократической культуры: свободным нравам и ослабленной воле, подчинению страстей разуму, рвения правилам. В качестве противовоядя мертвящему влиянию современности в виде рассудка, бюрократии, рутины, анонимии, скуки — война представляет великий ответ современно-

17. Ibid., 53.

сти самой себе. «Война неизбежна», заявлял Ицхак Шамир, не потому что она обеспечивает безопасность, а потому что «без нее жизнь человека не имеет цели»¹⁸. Хотя это представление распространено среди представителей всех политических взглядов, прежде всего оно является идеалом консервативного Контрпросвещения, нашедшего наиболее полное выражение в годы фашистского триумфа (по словам Муссолини, «война предназначена для мужчин, как материнство предназначено для женщин»), и, как оказывается, вновь процветающего в наше время¹⁹.

Пожалуй, нигде за последнее время этот романтизм не проявлялся так ярко, как в неоконсервативных рассуждениях при администрации Буша-младшего о предвоенных разведывательных действиях, о способах ведения войны в Афганистане и Ираке и о применении пыток. В жалобах неоконсерваторов перед началом войны на разведку США можно было услышать отдаленное эхо нападок Карлейля на «Механический век» («все по правилам и просчитанному плану») и стенаний Шатобриана о том, что «определенные выдающиеся способности гения» будут «утрачены, а воображение, поэзия и искусства погибнут»²⁰. Перл был не одинок в своей неприязни к тому, что Херш называет «восприимчивостью разведсообщества к представлениям о доказательстве, принятых в общественных науках». До того как он стал министром обороны, Дональд Рамсфельд критиковал разведаналитиков за отказ использовать воображение, «чтобы их предположения не ограничивались имеющимися у них неопровержимыми доказательствами». Став главой министерства обороны, он высмеивал стремление аналитиков «прилизать всю информацию и подать ее на блюдецке». Его сотрудники насмеялись над стремлением военных к «дающей основания для действий разведке» и поиску информации, достаточно надежной для оправда-

18. Цит. по: Avi Shlaim, *The Iron Wall: Israel and the Arab World* (New York: Norton, 2001), 501.

19. Цит. по: Robert O. Paxton, *The Anatomy of Fascism* (New York: Knopf, 2004), 156.

20. Thomas Carlyle, «Signs of the Times», в *A Carlyle Reader*, ed. G. B. Tennyson (New York: Cambridge University Press, 1984), 34; Шатобриан цит. по: Roger Boesche, *The Strange Liberalism of Alexis de Tocqueville* (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1987), 84.

ния политических убийств и других превентивных актов насилия. Дэвид Брукс проклинал «безжизненные сводки анонимных специалистов» и хвалил аналитиков, способных выносить «нестандартные суждения» с опорой на «историю, литературу, философию и теологию»²¹.

Война Рамсфельда против жестко регламентированной культуры и стремление военных избегать риска выявило глубокую антипатию к закону и порядку — традиционно не связываемую с консерваторами, но вполне знакомую любому историку Европы XX века (на самом деле любому историку консервативной мысли в целом). Издав секретную директиву о том, что террористы должны быть пойманы или убиты, Рамсфельд старался изо всех сил, чтобы напомнить своим генералам, что цель состоит не «просто в том, чтобы арестовать их в ходе операций правоохранительных органов». Помощники убедили его поддержать операции подразделений спецназа США, которые могли наносить молниеносные удары без одобрения генералов. Иначе, как они предупреждали, «решения об этих операциях будут приниматься на заседаниях различных комитетов». Один из советников Рамсфельда жаловался на то, что военные были «клинтонизированны», что могло означать что угодно: от чрезмерного следования букве закона до изнеженности. (В годы правления Буша внутри оборонного истеблишмента шла непрекращающаяся борьба вокруг мачистского этикета.) Джеффри Миллер, человек, который ввел в оборот выражение «гитмоизировать»²², уволил одного генерала из Гуантанамо за «мягкость — чрезмерную заботу о благополучии пленных»²³. Теперь кажется очевидным, что неоконсерваторы увязли в Ираке из-за великой идеи: причем этой идеей была не демократизация Ближнего Востока, хотя, несомненно, она имела определенную популярность, и даже не идея создания американской империи, а скорее из-за их

21. Hersh, *Chain of Command*, 16, 209, 220, 267; David Brooks, «The Art of Intelligence», *New York Times*, April 2, 2005.

22. Глагол «гитмоизировать» («Gitmo-ize») образован от аббревиатуры Гуантанамо (ГТМО), американской военно-морской базы на Кубе. — *Прим. перес.*

23. Hersh, *Chain of Command*, 13, 17, 62, 265, 271. Дополнительные примеры см. также: Mayer, *Dark Side*, 36, 41–43, 69, 80, 124–125, 132, 161, 241.

собственного представления о себе самих как о смелой и неустрашимой армии. Пристальный взгляд неоконсерваторов, как и вечно аутичного правящего класса Америки, гораздо в большей степени устремлен внутрь, чем вовне: на свою неутолимую жажду самоутверждения, на то, чтобы продемонстрировать, что никто и ничто не сможет ограничить их воображение и их действия — даже те правила и нормы, которые, как они считают, являются даром их страны всему миру.

Если «Пытка», сборник статей под редакцией Сэнфорда Левинсона, верно передает современные настроения, то неоконсерваторы в Белом доме Буша — далеко не единственные, кто находится в плену романтических представлений об опасности и катастрофе. Компанию им составляют университетские профессора. Каждую ученую дискуссию о пытке — не исключая статьи, собранные в «Пытке», — открывает так называемый сценарий с часовой бомбой. Сюжет примерно таков: в густонаселенной местности установлена бомба, которая должна взорваться в ближайшем будущем; правительство не знает точно, где или когда, но знает, что погибнет много людей; однако в плену у него есть человек, установивший бомбу, или тот, кто знает, где она установлена; пытка — единственный способ вовремя получить информацию, необходимую для предотвращения катастрофы. Как же поступить?

Интересный вопрос. Учитывая, что его так часто задают от имени реализма, мы могли бы рассмотреть несколько фактов прежде, чем отвечать на него. Во-первых, насколько мы знаем, никто в Гуантанамо, Абу-Грейбе или любой другой тюрьме в международном архипелаге Америки не подвергался пыткам ради обезвреживания бомбы с часовым механизмом. Во-вторых, в разгар войны в Ираке, от 60 до 90% всех удерживаемых в американском плену находились там по ошибке либо не представляли никакой угрозы обществу. В-третьих, многие представители разведки США высказывались против пыток как раз потому, что считали, что они не позволяют получить точную информацию²⁴. Таковы

24. Hersh, *Chain of Command*, 40; Christian Parenti, *The Freedom: Shadows and Hallucinations in Occupied Iraq* (New York: New Press, 2005), 141.

факты, и все же они редко, если вообще попадают в эти абстрактные упражнения в моральном реализме.

Статьи в «Пытке» ставят еще одно препятствие перед сторонниками реализма: никто из авторов, поддерживавших применение пыток Соединенными Штатами, никогда не обсуждает те или иные типы пыток, действительно применяемых Соединенными Штатами. Ближе всего мы подходим к этому вопросу в статье Джин Бетке Эльштайн, где она пишет:

Являются ли выкрики оскорблений формой пытки? Пощечина? Лишение сна? Избиение до потери сознания? Подведение электродов к мужским или женским гениталиям или анусу? Вырывание ногтей? Отрезание уха или груди? Все мы, конечно, назвали бы любое насилие из этого списка — от избиения до отрезания частей тела — формой пытки, и потому сочли бы его неприемлемым. Тут не о чем спорить. Но вернемся к пытке лишением сна и пощечинам. Принадлежат ли они к той же категории пытки, что и ампутация и сексуальное насилие? Есть и те, кто отнес бы к пыткам и оскорбления с криком. Но это, конечно, лишило бы понятие всякого смысла²⁵.

Различая ужасное и приемлемое, Эльштайн ни разу не упоминает о деталях Абу-Грейба или «Доклада Тагубы», в итоге представляя список «допустимого и недопустимого» столь же нереальным, как и сама бомба с часовым механизмом. Даже ее список табу условен и приблизителен: в нем упускаются из виду уже совершенные преступления, уступая место гипотетическим. Эльштайн отвергает подключение электродов к чьему-либо заду. А как насчет банана? Она против отрезания ушей и грудей. А как насчет «слепящего света и выливания фосфорной краски на задержанных»? Она осуждает сексуальное насилие. Как насчет того, чтобы заставить мужчин мастурбировать или носить женское нижнее белье на голове? Она поддерживает «одиночное заключение и сенсорную депривацию». Как насчет «шлюхи в коробке», когда заключенных запикивают в грузовик и возят по Багдаду при температуре +50 °С? Она поддерживает «психологи-

25. Jean Bethke Elshstain, «Reflections on the Problem of „Dirty Hands“», в *Torture*, ed. Sanford Levinson (New York: Oxford University Press, 2004), 79.

ческое давление», приводя в подтверждение своей позиции цитату из статьи о том, что «угроза применения силы обычно ослабляет или подавляет сопротивление гораздо более эффективно, чем само применение силы». Как насчет угрозы изнасилования? Когда речь заходит об исламистах, Эльштайн приводит пример обезглавливания Дэниела Перла, а когда об американцах, она размышляет об искусстве «стоматолога»-Оливье из «Марафонца»²⁶. Не удивительно, что «тут не о чем спорить»: здесь просто нет никакого *тут*²⁷.

Нереалистичность анализа Эльштайн нельзя назвать чем-то присущим только ей. Даже те авторы, которые одобряют применение пыток, но остаются разборчивыми в вопросе о них, не в состоянии избежать подобных абстракций. В действительности, чем они разборчивей, тем больше абстракций они готовы принять. Сэнфорд Левинсон, например, часто обращается к предложению Алана Дершовица о том, чтобы обязать государственных чиновников получать судебный ордер на применение пыток к подозреваемым в террористической деятельности. Надеясь сделать реальность пыток и боль жертв зримыми и конкретными, Левинсон настаивает на том, что «лицо, которое государство предлагает пытать, должно находиться в суде, чтобы судья не смог укрыться за абстракцией». Однако затем Левинсон просит нас рассмотреть «возможность того, что любой, в отношении кого выдан ордер на пытку, получал значительную компенсацию в качестве „справедливого возмещения“ за отрицание его или ее права не подвергаться пытке»²⁸. Только что выступив против абстракции, Левинсон прибегает к ве-

26. Elshain, «Reflections on the Problem», 80, 85–86; Hersh, 22; Mark Danner, *Torture and Truth: America, Abu Ghraib, and the War on Terror* (New York: New York Review Books, 2004), 4, 6, 13, 240, 248, 262, 292, 514, 538.

27. Сэнфорд Левинсон, редактор «Пыток», пишет, что все собранные в книге статьи, включая статью Эльштайн, были написаны до разоблачений Абу-Грейба. Хотя по его словам, «несомненно, многие из авторов желали бы отредактировать некоторые свои высказывания», никто из них этого не сделал. Он также отмечал «горький факт, что понадобилось бы гораздо меньше правки, чем можно было бы ожидать». Семь лет спустя я не нашел никаких свидетельств, что Эльштайн внесла какие-то изменения в свою статью. Levinson, «Acknowledgments», in *Torture*, 20.

28. Levinson, «Contemplating Torture», in *Torture*, 37.

личайшей из них — деньгам — как компенсации за самый вопиющий случай отрицания прав.

Нереалистичность этих дискуссий может показаться привычной, но лишь потому, что их питали те же потоки консервативного романтизма, которые циркулировали вокруг и внутри Белого дома в годы президентства Буша. Несмотря на ордера Дершовица и поправки Левинсона, статьи в поддержку пыток полны враждебности по отношению к тому, что Эльштайн называет то «фетишизмом морального кодекса», то «манией правил», то тем, что мы могли бы просто назвать «верховенством права»²⁹. Но там, где Белый дом Буша стремился добиться полного освобождения от законов и правил — и здесь теоретики отличаются от практиков, — сторонники пыток стремятся сделать из палачей поборников правил.

На то есть две причины. Во-первых, та, которую подробно излагает Уолцер в знаменитой статье 1973 года, переизданной в «Пытках», и которая заключается в том, что абсолютный запрет пыток делает возможной — или заставляет признать нас — проблему «грязных рук». Как и чрезвычайное положение, бомба с часовым механизмом заставляет лидера избрать одно из двух зол, бороться с дьяволом пыток и дьяволом невинно убиенных. Там, где другие моралисты подтвердили бы запрет на применение пыток и позволили бы невинным погибнуть или приняли бы в расчет утилитарные соображения и дали ход применению пыток, Уолцер полагает, что и абсолютисты, и утилитаристы слишком быстро умывают руки, а совесть их слишком быстро очищается. Вместо этого он желает «отказаться от „абсолютизма“, не отвергая при этом реальности нравственной дилеммы» и признать одновременный характер необходимости — и зла — пыток. Зачем? Чтобы дать пространство для маневра моральному лидеру, как он объясняет в «Рассуждениях о войне», «который знает, что он не может сделать то, что должен — и в конце концов делает». На кону здесь общеизвестная трагедия двух зол или двух конкурирующих благ, а также напоминание о том, что мы должны «запачкать руки, делая то, что должны делать», и что «дилемма

29. Elshtain, «Reflections on the Problem», 83, 86.

грязных рук — отличительная особенность политической жизни»³⁰. Именно к ней Уолцер и хочет привлечь внимание: к дилемме, а не решению. Если бы палачи были свободны от всех правил, кроме полезности, или ограничены правовым абсолютизмом, то не было бы никакой дилеммы, никаких грязных рук и нравственных мук. Палачам следует запретить ссылаться на Канта и Бентама — и предоставить нам полемизировать с мрачным духом Контрпросвещения, который настаивает на том, что единый моральный кодекс, единый набор «вечных принципов», «следуя которым человек только и может стать мудрым, счастливым, добродетельным и свободным», попросту невозможен³¹.

Но есть еще одна причина, почему некоторые авторы настаивают на запрете применения пыток, который, как они полагают, также должен быть нарушен. Как еще удержат дрожь переступания запрета, возбуждение от прометеевского преступления? Как пишет Эльштайн в своей критике предложения Дершовица об ордерах на пытки, лидеры «не должны пытаться легализовать» пытку. «Они не должны стремиться нормализовать ее. И не должны изобретать ее замысловатые оправдания. Табуированная и запретная, экстремальная природа этого типа физического принуждения должна быть сохранена, чтобы она никогда не стала рутинизированной и не превратилась лишь в еще один привычный для нас способ решать дела». В предложении Дершовица возражения у Эльштайн вызывает не рутинизация пытки, а *рутинизация* пытки, возможность возвращения к «тому же моралистическому легализму», который, как она надеялась, нарушения табу на пытку смогли бы подорвать³². И этот аргумент отдает консервативным Контрпросвещением, которое всегда подозревало, мы снова приводим слова Берлина, что «свобода влечет за собой нарушение правил, быть может, даже совершение преступления»³³.

30. Michael Walzer, «Political Action: The Problem of Dirty Hands», в *Torture*, 62–63; Walzer, *Arguing about War*, 45.

31. Isaiah Berlin, «The Counter-Enlightenment», в *Against the Current: Essays in the History of Ideas* (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2001), 3; Исая Берлин. *Подлинная цель познания*. М.: Канон+, 2002, с. 264.

32. Elshstain, «Reflections on the Problem», 83–84.

33. Isaiah Berlin, «The Apotheosis of the Romantic Will», *The Crooked Timber of Hu-*

Но если запрет на применение пыток должен поддерживаться, что делать стране с палачами, которые его нарушили и, в конце концов, преступили закон? Естественно, страна должна предать их суду; «следовательно», по словам Эльштайн, «должен, если потребуется, быть готовым обосновать необходимость того, что он или она совершили и, в зависимости от обстоятельств, понести наказание»³⁴. Возможно, в качестве самого фантастического поворота и так уже вполне фантастической дискуссии, несколько писавших о пытке авторов — включая даже Генри Шу, в остальном неизменного противника этой практики — воображают открытый судебный процесс над палачом, сходный с процессом над участником акции гражданского неповиновения, который нарушает закон во имя большего блага и сдается на милость правосудия. Ведь лишь через открытый судебный процесс, как пишет Левинсон, мы сможем «укрепить парадоксальное представление о том, что следует осуждать акт правонарушения, даже если мы приходим к заключению, что в определенной ситуации он на самом деле был бы вполне оправданным», то есть то представление, как он признает, которое слегка отличается от комментария Адмирала Майорга, одного из самых грязных вояк Аргентины: «День, когда мы перестанем осуждать пытки (хотя мы их и применяли), день, когда мы станем бесчувственными к матерям, потерявшим своих сыновей-партизан (хотя они были партизанами), — будет днем, когда мы перестанем быть людьми»³⁵.

Теперь нам должно быть ясно, почему мы используем слово «театр» для обозначения и искусства драматургии и искусства государственного управления. Как и театр, национальная безопасность — аттракцион. Как и актеры, политические акторы склонны к звездной болезни, самолюбованию и одержимости тем, что напишут в журналах завтра — или через столетие. Кому-то трудно представить, например, как Лайза Минелли играет Генри Киссинджера, но мне кажется, что этот пример — вовсе не натяжка.

manity (New York: Vintage, 1992), 229; Исайя Берлин. *Подлинная цель познания*, с. 692.

34. Elshtain, «Reflections on the Problem», 87.

35. Levinson, «Contemplating Torture», 23, 38; Henry Shue, «Torture», в *Torture*, 58; Walzer, «Political Action», 72.

Да, а что насчет интеллектуалов, консультирующих этих лидеров, или философов, анализирующих их дилеммы? Они — драматурги или критики, руководители или публика? Я не вполне уверен, но слова их величайшего духовного предшественника могут дать нам подсказку. «Я люблю свой родной город больше, чем свою собственную душу!» — восклицал Макиавелли, главный классический учитель жесткого подхода в делах государства³⁶. Замените «родной город» на «ребенок», а «свою собственную душу» на «себя», и вы получите оправдание любой злонамеренной матери, от ветхозаветной преступной Ревекки до умопомрачительной Розы из фильма «Джипси».

36. Machiavelli, letter to Vettori (April 16, 1527), in *The Letters of Machiavelli*, ed. Allan Gilbert (New York: Capricorn, 1961), 249.

Глава 10.

Потомакская лихорадка¹

КАК ПИСАЛ Джон Чивер, 1948 год был «годом, когда каждого в Соединенных Штатах беспокоила гомосексуальность». И более других — федеральное правительство, которое, по слухам, наводнили геи и лесбиянки. Казалось бы, внимание Вашингтона должно было быть сосредоточено на других вещах — скажем, на Советском Союзе или коммунистических шпионах. Но в 1950 году советники президента Трумэна предупредили его, что «страну больше волнуют гомосексуалисты в правительстве, чем коммунисты». Исполнительная власть отреагировала немедленно. В том же году госдепартамент увольнял «извращенцев» по одному в день, что более чем в два раза превышало число тех, кого подозревали в симпатиях коммунистам. В итоге обвинения в гомосексуальности привели к четверти с половиной всех увольнений в госдепартаменте, Министерстве торговли и ЦРУ. Лишь 25% писем поклонников Джозефа Маккарти содержали жалобы на «проникновение красных»; остальных беспокоила «сексуальная развращенность»².

Так называемая Лавандовая угроза длилась от 1947 года до 1970-х, и тысячи людей лишились работы. Это было упрямством в унижении — и одновременно забавой. Дело в том, что люди, отвечавшие за очистку Потомака от лесбия-

1. Впервые опубликовано в: Corey Robin, «Was he? Had he?» *London Review of Books* (October 19, 2006): 10–12.

Потомакская лихорадка — столичная «лихорадка» (в частности, опьянение властью, известностью), поскольку столица США, Вашингтон, расположена на р. Потомак. — *Прим. перев.*

2. David K. Johnson, *The Lavender Scare: The Cold War Persecution of Gays and Lesbians in the Federal Government* (Chicago: University of Chicago Press, 2004), 2, 19, 55, 138.

нок, были поразительно невежественны в отношении своих жертв. Так, сенатору Клайду Хоуи, главе первой комиссии Конгресса, расследовавшей данную угрозу, даже пришлось узнавать у своего советника: «Вы не могли бы сказать, а чем вообще могут заниматься друг с другом две женщины?» А сенатор Маргарет Чейз Смит спросила одного свидетеля из комиссии Хоуи, не существует ли «быстрого анализа типа рентгена, который бы показал все эти вещи?»³

Официальным основанием чисток было то, что гомосексуалисты были незащитны перед шантажом и легко могли стать советскими шпионами. Однако следователи так и не нашли никаких примеров подобного шантажа во время холодной войны. Самое большее, чем они могли похвастаться, — это один сомнительный случай, произошедший перед Первой мировой войной, когда русские, как считалось, использовали гомосексуальность одного важного австрийского шпиона, чтобы заставить его работать на них⁴.

Реальное оправдание выглядело еще более сомнительным: поскольку геи не вписывались в общество, их патология делала их чрезвычайно восприимчивыми к коммунистической пропаганде. Многие консерваторы также полагали, что коммунистическая партия была движением, состоящим и предназначенным для либертинов, а Советский Союз служил пристанищем свободной любви и гражданского брака. Геи, заключали они, не могли устоять перед соблазном свободы от буржуазных ограничений. Проводя параллели с упадком Римской империи, Маккарти видел в гомосексуальности культурное вырождение, которое могло лишь ослабить Соединенные Штаты. Она была, как говорилось в одном таблоиде, «атомной бомбой Сталина»⁵.

Как могла страна, противостоявшая столь многим иностранным угрозам, оказаться настолько сбитой с толку? (Это не просто вопрос для историков: на протяжении первого десятилетия XXI века, то есть тогда, когда Соединенные Штаты предположительно столкнулись с угрозой самому своему существованию, военные США приложили

3. Ibid., 1, 4–5, 102–103, 114.

4. Ibid., 9–10, 108–109.

5. Ibid., 16, 31–37.

немало усилий, чтобы очистить свои ряды от геев и лесбиянок. По состоянию на 2009 год из армии за гомосексуализм было уволено, по крайней мере, шестьдесят арабговорящих геев⁶. Один случай был выявлен, когда следователи спросили солдата, принимал ли он когда-либо участие в самодеятельном театре.) Почему в ситуации, когда у Советов была ядерная бомба, а война в Корее была в самом разгаре, госсекретарь Дин Ачесон выступал перед Конгрессом, доказывая свою гетеросексуальность и гетеросексуальность своих «напудренных дипломатов»⁷? Неужели у него не было более важных дел, кроме как устраивать у себя буйные вечеринки политиков и журналистов,

напоминающие «мальчишники», с реками скотча и бурбона и приветливыми женщинами, «чья личность не была установлена». Как заметил один сенатор, «мне это чем-то напомнило жаркую пору привлечения новых членов в студенческие братства». Дин Ачесон пытался казаться «своим», шлепая сенаторов по спине. Как сообщал один журналист, «его волосы были взъерошены, галстук сбился набок. Церемонность и педантизм в манерах и речи, которые многих из нас отталкивали, просто испарились. Казалось, он даже не напмадил усы»⁸.

«Лавандовая угроза» представляет поучительную притчу о пресловутом балансе между свободой и безопасностью, столь раздражающем нас сегодня. Она наводит на мысль о том, что нам не только редко удастся достичь равновесия между свободой и безопасностью, но что сама метафора баланса может быть глубоко несовершенной.

Первая проблема этой метафоры кроется в предположении, что безопасность есть очевидное и ясное понятие, не омраченное идеологией и личным интересом. Поскольку безопасность выгодна всем и представляет собой, по выражению Джона Стюарта Милля, «жизненно важный инте-

6. Аарон Белкин в личной беседе 10 декабря 2010 года.

7. Johnson, *Lavender Scare*, 70–72.

8. *Ibid.*, 72

рес», без которого «никто не может обойтись», она свободна от политики⁹. И однако же, как писал Арнольд Уолферс много лет тому назад, безопасность — «двусмысленный символ», который «может и не иметь какого-то определенного значения»¹⁰. Под лозунгами защиты внешне нейтральных и универсальных ценностей политические элиты получают возможность и даже стимул следовать активистским и идеологическим курсом, который в обычных обстоятельствах им сложно было бы обосновать.

Действия правительства США в ходе войны против террора лишь подтверждают это положение. Согласно двум официальным комиссиям, одной из причин того, почему разведслужбы США не предвидели 11 сентября, стала междоусобица, мешавшая общей информированности. «Препятствия обмену информацией были скорее бюрократическими, чем правовыми», и они не были связаны «с конституционными принципами надлежащего судопроизводства, подотчетности или сдержек и противовесов»¹¹. И хотя правительство грубо пренебрегало конституционными принципами, оно не сделало ничего для того, чтобы избавиться от этих бюрократические барьеров. Согласно сообщениям в СМИ, даже Министерство внутренней безопасности, которое дол-

9. John Stuart Mill, *Utilitarianism* (New York: New American Library, 1974), 310.

См. также: John Dunn, «Political Obligation», in *The History of Political Theory and Other Essays* (New York: Cambridge University Press, 1996), 66–90; Bernard Williams, *In the Beginning Was the Deed: Realism and Moralism in Political Argument*, ed. Geoffrey Hawthorn (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2005), 3. Милль говорил скорее о безопасности отдельных людей, нежели народов или государств. Но его аргумент о личной безопасности часто относят и на счет народов и государств. См.: Michael Walzer, *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations* (New York: Basic Books, 1992, 1977), 51–73, 74–108; Barry Buzan, *People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1983), 18–35; Richard Tuck, *The Rights of War and Peace: Political Thought and the International Order from Grotius to Kant* (New York: Oxford University Press, 1999).

10. Arnold Wolfers, «National Security as an Ambiguous Symbol», *Political Science Quarterly* 67 (December 1952): 481.

11. David Cole and James. X. Dempsey, *Terrorism and the Constitution: Sacrificing Civil Liberties in the Name of National Security* (New York: New Press, 2002, 2006), x, 210. См. также: Jane Mayer, *The Dark Side: The Inside Story of How the War on Terror Turned into a War on American Ideals* (New York: Doubleday, 2008), 16–17, 34–36.

жно было объединять конкурирующие ведомства, «погрязло в бюрократии» и «дефиците стратегического планирования»¹².

Кроме того, в контртеррористическом сообществе широко распространено мнение о том, что превентивный арест и заключение подозреваемых в терроризме мешают сбору разведанных. Однако начиная с 11 сентября правительство Соединенных Штатов неуклонно обращается к подобной стратегии. За два года после 11 сентября федеральные власти задержали 5000 иностранцев. С 2006 года ни один из них не был «признан виновным в каком-либо террористическом преступлении»¹³.

Действующая модель проста: меры, которые должны улучшить безопасность, не предпринимаются, а те, что предпринимаются, либо вовсе не способствуют безопасности, либо ставят ее под угрозу. Этому парадоксу есть несколько объяснений, в числе которых ограниченные интересы разведывательной бюрократии. Однако ключевым фактором является то, что консерваторы воспринимают национальную безопасность сквозь призму своей непрекращающейся *Kulturkampf* против 1960-х годов. Подобные представления, как мы увидели в годы Буша, влияют на политику республиканцев, но также сказываются и на демократах, которые вечно обороняются от обвинений в том, что они недостаточно воинственны.

Обратимся к карьере Джона Эшкрофта, первого генерального прокурора Буша, помогавшего разработке множеству драконовских мер, принятых во время войны против террора. Будучи генеральным прокурором Миссури, Эшкрофт едва не был привлечен к суду — обычно это не самый хороший карьерный ход в американской политике — за препятствование проводимой по приказу суда десегрегации школ в Сент-Луисе и Канзас-Сити. На посту сенатора он получил почетную степень Университета им. Боба Джонса, в котором запрещались межрасовые знакомства, и дал дружеское интервью *Southern Partisan*, журналу, симпатизи-

12. John Solomon, «Bureaucracy Impedes Bomb Detection Work», Associated Press, August 12, 2006.

13. Cole and Dempsey, *Terrorism*, 177–178, 234. Also see Mayer, *Dark Side*, 12–13, 105–106, 116, 119, 156, 166, 177.

ровавшему Старой Конфедерации. Подобно библейским королям, его отец прошел через миропомазание, когда он стал губернатором, а затем сенатором. Убежденный в том, что пятнистые кошки — знак дьявола, Эшкрофт, занимая должность генерального прокурора, будто бы проинструктировал свою команду, чтобы в Международном суде в Гааге не было ни одной¹⁴.

Своеобразные представления Эшкрофта отражают более широкое недовольство его партии политической культурой, завещанное либо навязанное Соединенным Штатам в 1960-х и 1970-х. В эти годы либералы и левые не только низвергли легализованные расовые и половые иерархии; они также попытались обуздать органы безопасности. Они ограничились исполнительной властью, выступили в защиту проактивной судебной власти, расширили права инакомыслящих и преступников и отделили правоохранительную деятельность от сбора разведданных. И хотя эти реформы оказались недолговечны — они в значительной мере были свернуты Рейганом и Клинтоном, — правовое наследие 1960-х стало символизировать собой более широкую культуру свободы, к которой консерваторы испытывали отвращение, а либералы — любовь.

Консерваторы предпочитают избегать любых разговоров о «первопричинах» терроризма, но когда речь заходит о декадентском либерализме, который якобы препятствовал способности правительства противостоять злодеям у себя в стране и за ее пределами, они готовы сделать исключение. Конституционные права, как настаивал Эшкрофт после 11 сентября, являются «оружием, используемым для убийства американцев». Террористы «эксплуатируют нашу открытость». По мнению республиканского сенатора Оррина Хэча, террористы «только этого и хотят: использовать все наши традиционные механизмы обеспечения исполнения надлежащей правовой процедуры, чтобы ее же и затянуть»¹⁵. Для консерваторов 11 сентября было небесной карой за тридцатилетнее предательство — как будто атаки на Пен-

14. Nancy V. Baker, *General Ashcroft: Attorney at War* (Lawrence: University Press of Kansas, 2006), 5, 8, 36, 45, 54.

15. Baker, *General Ashcroft*, 67, 82, 106, 108.

тагон и Всемирный торговый центр были делом не рук аль-Каиды, а следствием зачитывания преступникам их прав — и блестящей возможностью двинуться в противоположном направлении: расширить власть президента за счет Конгресса и судов и размыть границы между сбором разведданных, политическим надзором и правоохранительной деятельностью¹⁶.

Эта синергия национальной безопасности и консервативного страха едва ли является чем-то новым. «Лавандовая угроза» отразила общее неприятие сексуальной свободы и изменения гендерных ролей после Нового курса и Второй мировой войны. Как утверждали консерваторы, рузвельтовское государство всеобщего благосостояния истощило энергию страны и подорвало патриархальные устои. Вместо крепких отцов семейств и жестких мужей, контролирующих своих жен и детей, балом правили сюсюкающие бюрократы и женоподобные социальные работники. Вторая мировая война лишь осложнила проблему: когда мужчины на фронте, а женщины на заводах, мужской авторитет неизбежно слабеет. Ссылаясь на эти «социальные и семейные беспорядки», Дж. Эдгар Гувер утверждал, что «присущий военному времени дух импульсивности и вседозволенности привел к упадку нравов среди людей всех возрастов»¹⁷.

Вашингтон был центром этой культурной революции. Стремительно растущий город для молодых неженатых мужчин в 1930-х и 1940-х, он имел крайне ограниченный рынок жилья, что заставляло мужчин селиться вместе, а женщинам давало массу возможностей зарабатывать себе на жизнь в государственном секторе. Все это вкупе с анонимными местами знакомств вроде парка Лафайета (прямо напротив Белого дома) и компании толерантных женщин-коллег из федеральной бюрократии позволило гомосексуалистам превратить Вашингтон в «совершенно гейский город». Гувер вырос в Вашингтоне, когда тот был расистским захолустьем Старого Юга, и, несмотря на свою собственную неоднозначную сексуальность, был не в восторге от этих изменений¹⁸.

16. Mayer, *Dark Side*, 34, 41, 47, 52, 55-67.

17. Johnson, *Lavender Scare*, 56.

18. *Ibid.*, 42-56.

После войны консерваторы сеяли панику вокруг проблемы гендерных ролей. Согласно Чиверу, «значительный акцент в качестве меры защиты был сделан на мужественности, атлетизме, охоте, рыбалке и консервативной одежде, но при этом жена иногда задумывалась о том, чем именно ее муж занимался в охотничьем лагере, а муж гадал, с кем он делил жесткую хвойную постель. Был ли он? Что делал? Хотел ли? Довелось ли ему?» Разжигая подобную панику, консерваторы искусно обращали публику против правительства, делавшего геям чуть ли не каждого. Как они утверждали, Новый курс был Голубым курсом, а Америкой правили «педики и педоправдолюбцы»¹⁹. Из-за этого нечестивого союза демократов, коммунистов и голубых Соединенные Штаты теперь оказались уязвимыми перед Советским Союзом.

Сегодняшние консерваторы полагают, что десятилетия внутренних реформ, движимых на этот раз чрезмерной заботой о Конституции, породили безжизненное общество, которому не хватает воли и средств для противостояния угрозам извне. Поэтому после 11 сентября Буш пообещал, что не будет «никаких уступок. Никакой двусмысленности. И бесконечной судебной волокиты». Поэтому же Эшкрофт возмущался и из-за концепции, согласно которой правительство США должно было зачитать аль-Каиде «права, нанять пафосного адвоката, привезти их в Соединенные Штаты и создать новый кабельный канал „Усама ТВ“»²⁰. Не ясно, кто предлагал подобную политику, но то, что Эшкрофт посчитал необходимым ее осудить, указывает на то, что же именно он считает проблемой, говоря о безопасности. Консерваторы, бесспорно, считают, что Закон о патриотизме 2001 года²¹, а также другие ограничения гражданских свобод смогут защитить американский народ — от терроризма или нет — другой вопрос.

19. Ibid., 55, 90.

20. Baker, *General Ashcroft*, 67.

21. Законодательный акт, расширяющий полномочия федерального правительства по расследованию террористической деятельности и преследованию лиц, подозреваемых в такой деятельности. Принят вскоре после террористических актов 11 сентября 2001 года. — *Прим. перев.*

Существует и вторая проблема с идеей баланса между свободой и безопасностью. С тех пор как ведение войны стало делом народов, а не королей, пространство безопасности неуклонно расширялось, выходя за пределы казарм и штабов. Фридрих II вел войну, как писал Лукач, «таким способом, чтобы гражданское население ее вообще не замечало». Современная война исподволь проникает во «всю жизнь нации»²². Она требует полной мобилизации ресурсов страны и активную поддержку своих граждан. Ограничение свободы в большинстве отдаленных частей общества может таким образом быть оправдано как законный акт национальной обороны. Можно усмотреть явную и непосредственную опасность в политэкономии страны, ее школах и поп-культуре, даже в ее кроватях, и решить подавить свободу для предотвращения угрозы. Когда либералы и консерваторы отстаивают приоритет безопасности перед свободой в военное время, они не просто поддерживают вводимые государством ограничения того, что могут сообщать СМИ о военных; они также санкционируют подавление любого проявления инакомыслия во всем социальном порядке.

Рассмотрим надзор Агентства национальной безопасности (АНБ) над телекоммуникационным трафиком в Соединенных Штатах, первые сообщения о котором появились в *New York Times* в 2005 году. Как пишет Джеймс Райзен, который помог пролить свет на эту историю, АНБ — «крупнейшая организация в разведсообществе Соединенных Штатов, вдвое больше, чем ЦРУ, и поистине доминирующая и наиболее влиятельная служба электронного слежения в мире». Благодаря секретному предписанию Буша 2002 года, она «теперь ведет прослушивание пятисот человек в каждый данный момент времени в Соединенных Штатах и потенциально имеет доступ к телефонным разговорам и электронной почте миллионов. И все это без судебных ордеров и практически без независимого контроля»²³.

Администрация Буша оправдывала эту программу, которая была, пожалуй, «самой крупной разведывательной

22. Georg Luacs, *The Historical Novel* (Boston: Beacon, 1962), 22–23.

23. James Risen, *State of War: The Secret History of the CIA and the Bush Administration* (New York: Free Press, 2006), 39, 44.

операцией внутри страны с 1960-х годов», тем, что для осуществления мониторинга международных сообщений между террористами необходимо было прослушивать местные коммуникации. «Определители звонков из Кливленда в Чикаго... могут также фиксировать звонки из Исламабада в Джакарту», вследствие чего «теперь трудно сказать, где заканчивается внутренняя телефонная система и начинается международная сеть». Администрация президента уполномочила АНБ вести секретное сотрудничество с телекоммуникационными компаниями для отслеживания международного трафика, поощряя также слежение и в самих Соединенных Штатах. Если они уже этим занимаются, АНБ и его сотрудники в частном секторе вскоре могут начать шпионить не только за Америкой, но и за Европой и Азией²⁴.

Расширение области безопасности на все сферы общества приносит больше, чем ограничение свободы в теории: оно также поддерживает консервативные силы политического подавления. Влиятельные консерваторы утверждают, что национальное единство — главное орудие в войне и что оппозиция подрывает военные усилия, а также что диссиденты опасны, вредоносны и вероломны. После победы антивоенного кандидата Неда Ламонта над Джо Либерманом на внутрипартийных выборах в сенат от Коннектикута в 2006 году вице-президент Чейни заявил, что избрание Ламонта только подбодрит «типов из аль-Каиды», которые «ставили на то, что в конце концов им удастся сломить волю американского народа»²⁵.

Закон о патриотизме, принятый Конгрессом полтора месяца спустя после 11 сентября, заходит в приравнивании инакомыслия с подрывной деятельностью настолько далеко, что допускает, что противники войны с террором являются не просто пособниками террористов, но, быть может, даже самими террористами. Параграф 802 этого Закона определяет «внутренний терроризм» как «акты, опасные для человеческой жизни, являющиеся нарушением уголовного права», и которые, «по-видимому, направлены на то, чтобы... повлиять на политику правительства путем запугивания

24. Ibid., 50–52.

25. <http://thinkprogress.org/chenev-teleconference>, accessed April 8, 2011.

или применения силы»²⁶. Подобное, столь широкое и нечеткое, определение легко может быть использовано против, например, участников несанкционированной демонстрации (протестующие могут создавать препятствия для скорой помощи или техники других чрезвычайных служб)²⁷. После того как осенью 2003 года участники антивоенной демонстрации вызвали волну беспорядков в Портленде, штат Орегон, члены законодательного собрания штата составили соответствующий антитеррористический законопроект. Они определили терроризм как, среди прочего, любой акт, при котором «по крайней мере один из его участников» создает помехи «торговле или транспортным системам штата Орегон»²⁸.

Во время национального съезда Республиканской партии США в сентябре 2004 года, департамент полиции города Нью-Йорк арестовал 1800 участников антивоенной демонстрации с различными обвинениями, большинство из которых были позже сняты. Оправдывая эти аресты, мэр города, Майкл Блумберг, сказал: «Кто-то считает, что мы не должны позволять людям выражать свою позицию. Ведь именно это, если вдуматься, и сделали террористы 11 сентября. Сейчас мы имеем дело с другим типом терроризма, но не приходится сомневаться в том, что эти анархисты боятся дать людям высказаться»²⁹.

Поскольку война мобилизует все сферы общества, защитники общественного порядка утверждают, что любой подрыв этого порядка — со стороны, скажем, бастующих профсоюзов — угрожает военным планам, как и оппозиция самой войне. На этом основании в 1950 году Верховный Суд поддержал правительство, которое отказало в мерах по охране труда для профсоюзов, возглавляемых коммунистами. Эти профсоюзные лидеры, как утверждал суд, могли использовать свою власть «во времена внешнего или внутренне-

26. http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=107_cong_public_laws&docid=f:publ056.107.pdf, accessed April 8, 2011.

27. Nancy Chang, *Silencing Political Dissent: How Post-September 11 Anti-Terrorism Measures Threaten Our Civil Liberties* (New York: Seven Stories Press, 2002), 44–45.

28. <http://www.leg.state.or.us/03reg/pdf/SB742.pdf>, accessed April 8, 2011.

29. Randal C. Archibold, «Protesters Try to Get in Last Word before Curtain Falls», *New York Times*, September 3, 2004.

го кризиса», призывая к «политическим забастовкам», и разрушить коммерческую деятельность³⁰. В январе 2003 года канцелярия Тома Делэя, тогдашнего лидера большинства в Конгрессе, направила сторонникам Национального фонда «За право на труд», бизнес-группы, стремящейся освободить Америку от профсоюзов, письмо с призывом о пожертвовании средств. Заявляя, что рабочее движение «представляет явную и непосредственную угрозу для безопасности Соединенных Штатов внутри страны и для наших вооруженных сил за ее пределами», письмо осуждало «больших профсоюзных боссов... готовых навредить свободолюбивым рабочим, военным планам и экономике, чтобы добиться еще большей власти!»³¹

Республиканцы в Конгрессе также тесно работали с Бушем, чтобы отказать 170 000 служащим в Министерстве национальной безопасности в праве на создание профсоюзов и в гарантиях защиты для тех, кто сообщал о нарушениях и злоупотреблениях в работе своих ведомств. И хотя многие из них были конторскими служащими, а работникам, например, Министерства обороны не было отказано в таких правах, администрация заявила, что упразднение подобных прав и гарантий сделает министерство «столь же ловким и агрессивным, как и сами террористы». После того как Конгресс принял антипрофсоюзный законопроект в ноябре 2002 года, представитель канцелярии Белого дома заявил, что он послужит образцом для всех федеральных служащих³².

Экспансивная природа безопасности позволяет правительству не только разворачивать такие орудия, но и делиться ими с работодателями в частном секторе, которые зачастую находятся в лучшем положении для применения и злоупотребления ими. Поскольку работодатели не подпадают под действие ограничений Первой поправки, они обычно свободно используют свою власть нанимать и увольнять, повышать и понижать в должности, подавлять инакомыслящих. Например, в маккартистскую эпоху правитель-

30. *American Communications Assn. v. Douds*, 339 U. S. 382 (1950).

31. Corey Robin, *Fear: The History of a Political Idea* (New York: Oxford University Press, 2004), 190.

32. *Ibid.*

ство бросило в тюрьмы по политическим мотивам около двухсот человек. Но в пределах от 20 до 40% рабочей силы было подвергнуто проверке на предмет идеологического несоответствия, что включало поддержку борьбы за гражданские права и профсоюзы³³.

Последствия этого аутсорсинга репрессии особенно заметны в медиа, поскольку пресса США практикует определенную форму цензуры, которая должна вызывать зависть у любого тирана. Безо всякого участия правительства неформального давления и новостного карьеризма достаточно для того, чтобы заставить репортеров стоять по стойке смирно. Бывший диктор CBS Дэн Разер утверждает, что консерваторы «уже давно у вас в телефоне и электронной почте». В результате «вы говорите себе: „Знаете, я думаю, мы правы с этим сюжетом. Я думаю, мы видим его в верном свете, но нам лучше вернуться к нему в другой день“»³⁴. Те, кто стоит внизу лестницы, быстро понимают что к чему. Телерепортер Сэм Дональдсон, освещавший жизнедеятельность Белого дома в годы правления Рейгана, рассказывает Эрику Болерту:

Сегодня уже не все руководители поддерживают своих репортеров. Так что если вы — репортер в Белом доме, который думает о своей карьере и переживает за то, что боссу могут позвонить насчет вас, возможно, вы будете поговорчивее³⁵.

Журналисты, опасаящиеся за свою карьеру, вряд ли будут критиковать свое правительство во время войны. Они и не критиковали. Тед Коппель с ABC, один из самых агрессивных интервьюеров, признает, что «мы были слишком смиренными перед войной» в Ираке. Диктор PBS, Джим Лерер говорит: «Было бы очень непросто вести дебаты [об оккупации Ирака] ... Вам бы пришлось плыть против течения». И те немногие журналисты, которые решили пойти против течения, были немедленно наказаны. По сообще-

33. Ralph S. Brown Jr., *Loyalty and Security: Employment Tests in the United States* (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1958), 181; Griffin Fariello, *Red Scare: Memories of the American Inquisition* (New York: Avon, 1995), 43.

34. Gary Younger, «Between a Crisis and a Panic», *Guardian*, March 21, 2005.

35. Eric Boehlert, *Lapdogs: How the Press Rolled Over for Bush* (New York: Free Press, 2006), 17.

нию *Newsday*, покритиковав прессу за ее освещение войны, боссы Эшли Бэнфилд «вызвали ее на ковер», и ее карьера в NBC закончилась. Один репортер из *Wall Street Journal* описал в личном письме ужасную ситуацию в Ираке: редакторы сняли ее с задания и отозвали из страны³⁶.

Последняя проблема, связанная с идеей баланса между свободой и безопасностью, состоит в том, что в ней ошибочно допускается, что выгоды и бремя свободы и безопасности будут одинаково распределены между всеми членами общества. Однако всегда есть определенные члены общества, зачастую самые маргинализованные и презируемые — геи и левые во время холодной войны, арабы и мусульмане (и опять-таки геи и левые, пусть и в меньшей степени) сегодня, — которых заставляют отказаться от своих свобод, чтобы остальные могли наслаждаться безопасностью. В действительности, именно из-за того, что эти группы бесправны, а не потому что они опасны, власть имущие могут требовать от них несения всех издержек. (И хотя в Америке 2% мужчин в возрасте от 18 до 21 арестовываются за вождение в пьяном виде, Верховный суд постановил, что этот факт не оправдывает запрет покупать алкоголь людям этого возраста. Гораздо менее 2% арабов и мусульман в Соединенных Штатах участвуют в террористической деятельности, но правительство США отказало этим группам в гораздо более фундаментальных правах)³⁷. Таким образом метафора баланса между свободой и безопасностью скрывает фундаментальный дисбаланс прав между определенными группами общества; неравные издержки приходится нести в обмен на неравные выгоды.

В «Неравном правосудии» (1999) Дэвид Коул превратил стереотипное представление о том, что с белыми и/или богатыми американцами полицейские и суды обращаются лучше, чем с черными и/или бедными гражданами, в поразительную теорию о двойной системе правосудия в Америке. Предоставление максимальных прав всем гражданам

36. Ibid., 210–211, 268, 278–279.

37. Cole and Dempsey, *Terrorism*, 221–222.

дорого обошлось бы с точки зрения безопасности, замечает он, а отказ в предоставлении этих прав означал бы высокую цену с точки зрения свободы. И что же делает Америка? Она делает и то и другое: формально предоставляя права всем, она систематически отказывает в них черным и бедным. Белая богатая Америка получает максимальную свободу и безопасность и «уклоняется от непростого вопроса о том, какой объем конституционной защиты мы могли бы себе позволить, если бы мы были готовы обеспечить равное предоставление ее всем гражданам»³⁸.

Во «Враждебных иностранцах» и «Терроризме и конституции» Коул распространяет эту идею и на не-граждан в военное время. Начиная с Закона об иностранцах 1798 года первым позывом Америки при столкновении с угрозой извне было ограничение прав иммигрантов. Привлекательность подобных мер сходна с привлекательностью двойной системы уголовного права. Это «политически заманчивый способ опосредовать промежуточное положение между свободой и безопасностью. Граждане не обязаны отречься от своих прав», чтобы быть — или чувствовать себя — защищенными. Не-граждане же лишаются своих прав, а поскольку они «не имеют права прямого голоса в демократическом процессе, с помощью которого можно выразить свои возражения», мало кто жалуется³⁹.

После 11 сентября меры безопасности, которые могли затронуть всех граждан — такие как Операция TIPS⁴⁰, в которой работники коммунальных служб, служб доставки и другие рабочие должны были следить за согражданами, или пентагоновская программа Полного информационного контроля, масштабный проект по контролю за общественными и частными компьютерными материалами — были быстро заблокированы, даже ведущими республиканцами. Однако меры, затрагивавшие не-граждан, в особенности мусульман и арабов, получили всемерную общественную под-

38. David Cole, *No Equal Justice: Race and Class in the American Criminal Justice System* (New York: New Press, 1999), 7.

39. David Cole, *Enemy Aliens: Double Standards and Constitutional Freedoms in the War on Terrorism* (New York: New Press, 2003), 4-5.

40. TIPS — аббревиатура операции *Terrorism Information and Prevention System* (Система информационного предупреждения терроризма). — Прим. перев.

держку. Возможно, поэтому спустя год после событий 11 сентября, лишь 7% американцев полагали, что им пришлось пожертвовать основными правами и свободами⁴¹.

Но есть одно различие между обращением с иностранцами в военное время и обращением с черными и бедными — в мирное. Меры военного времени, примененные к не-гражданам, в конце концов сказываются и на мерах против американских граждан, в особенности, либералов или прогрессистов. В 1942 году федеральное правительство поместило японских не-граждан и японских американцев в лагеря для интернированных лиц (исходя из предположения, что даже если они и были гражданами, их расовое происхождение делало из них иностранцев). Несколько лет спустя ФБР составило секретный список из 12000 граждан, подлежащих задержанию в случае чрезвычайного положения в стране — инициатива, ратифицированная в 1950 году с принятием Закона о внутренней безопасности, который действовал вплоть до 1971 года⁴². Остается лишь гадать, произойдет или нет нечто подобное во время войны с террором, но пока все имеющиеся факты малоутешительны.

Более подробный анализ метафоры позволяет увидеть, что на весах находятся совсем не свобода и безопасность, а власть и бесправие. Таким образом, консерваторам крайне важно использовать данную метафору, поскольку она скрывает и защищает их естественных сторонников. На самом деле вопрос состоит в следующем: почему либералы их в этом поддерживают?

Возможно, потому что либералы сами придумали эту идею. Именно либералы первыми начали утверждать, что люди должны обладать свободой высказывания и делать, что они хотят, пока они не наносят вред кому-то другому. Либеральные демократии должны использовать принуждение лишь при наказании за причинение вреда, включая угрозы безопасности страны. Вариации этой идеи можно найти в рассуждениях Локка о веротерпимости, которой мож-

41. Ibid., 6, 18.

42. Ibid., 91-101.

но поступиться лишь для «обеспечения сохранности имущества как каждого гражданина, так и всего государства»; в теории о свободе Милля, которая может быть ограничена только для предотвращения вреда; и в защите свободы слова Оливером Уэнделлом Холмсом, которая может быть урезана лишь ввиду «явной и непосредственной опасности»⁴³.

Проблема этих рассуждений заключается в том, что практически невозможно определить вред (опасность, угрозу) нейтральным образом. Всякое определение вреда и национальной безопасности основывается на идеологических допущениях о природе человека, морали и хорошей жизни. И в этом отношении либералы так же виноваты, как и консерваторы. Единственное различие в том, что они часто обладают меньшей властью для того, чтобы действовать в соответствии со своими убеждениями — и чтобы помешать своим оппонентам действовать в соответствии с их убеждениями.

В качестве философского примечания к «Лавандовой угрозе» мы можем вспомнить, что именно тогда, когда Соединенные Штаты проводили чистки геев и лесбиянок, двое англичан — консервативный юрист Патрик Девлин и либеральный философ Г. Л. А. Харт — участвовали в споре, поразительно созвучном событиям по ту сторону Атлантики. Он начался в 1957 году, когда Комитет Вулфендена в Великобритании, среди прочего, порекомендовал перестать считать преступлением гомосексуальный секс по взаимному согласию в частной жизни. Выступая в Британской Академии в марте 1959 года, Девлин выразил негодование по поводу утверждения комитета о том, что существует «сфера частной нравственности и безнравственности, которая, грубо говоря, не является делом закона», и что лишь конкретные акты нанесения ущерба и вреда должны преследоваться законом. Вовсе нет, считает Девлин: «Любое общество основывается на общности идей, причем не только политических идей, но и идей о том, как его члены должны вести и регулировать свою жизнь». Любой вызов этим идеям — неважно, насколько

43. John Locke, *A Letter Concerning Toleration*, ed. James H. Tully (Indianapolis: Hackett, 1983), 46; Джон Локк. *Сочинения*. Т. 3. М.: Мысль, 1988, с. 119; J. S. Mill, *On Liberty*, in *On Liberty and Other Writings*, ed. Stefan Collini (New York: Cambridge University Press, 1989), 13; *Schenck v. United States*, 249 U. S. 47 (1919).

ко частным, случайным или символическим — подрывает целостность общества и представляет собой не меньшую угрозу для гражданского порядка, чем предательство. И точно так же, как предательство может привести к свержению правительства, гомосексуальность может вызвать «ослабление моральных уз», что «часто является первым этапом упадка». Поэтому «подавление порока — точно такое же дело закона, как и подавление подрывной деятельности»⁴⁴.

Реакция Харта была быстрой — он вышел в радиоэфир, дав лекцию по BBC, впоследствии опубликованную в *The Listener* — и яростной⁴⁵. «Просто абсурдно, — заявлял он, — сравнивать гомосексуальное поведение двух взрослых в их частной жизни с предательством или мятежом». Не только абсурдно, но и глупо: Девлин ошибочно считал, что «отклонение от общепринятого морального кодекса обязательно затронет сам кодекс и приведет не просто к его модификации, но и к его уничтожению». Если частные поступки одного человека действительно изменяли представления общества — большое «если», настаивает Харт, — такой сдвиг должен вести не к краху, а к трансформации общественной морали. В таком случае подходящим политическим аналогом гомосексуальному сексу было не предательство, а «мирная смена» формы правления⁴⁶.

Обычно критики считают, что Харт взял верх над Девлином. Большой вопрос... В конце концов Харт так никогда и не дал точного и убедительного определения вреду, и не ясно, был ли он способен предложить его. Что же могло помешать Девлину утверждать, что гомосексуальность была столь же вредоносной, как и предательство — или, как заявляли его американские коллеги, что гомосексуальность и *была* предательством? Едва ли что-то, причем как в политическом, так и в философском смысле. Ибо когда вред не виден отчетливо, кто-то где-то непременно увидит его в лавандовом или розовом цвете — или любом другом популярном цвете радуги.

44. Patrick Devlin, *The Enforcement of Morals* (London: Oxford University Press, 1965), 3, 9, 13–14.

45. Nicola Lacey, *A Life of H. L. A. Hart: The Nightmare and the Noble Dream* (New York: Oxford University Press, 2004), 220–221.

46. H. L. A. Hart, «Immorality and Treason», *The Listener* (July 30, 1959).

Глава 11.

Легко быть жестким¹

Мне нравятся войны. Любая авантюра лучше, чем конторская служба.

Гарольд Макмиллан

НЕСМОТРЯ на поддержку тех, кто среди избирателей или политиков, выступающих за смертную казнь, применение пыток и военные действия, считают себя консерваторами, правые интеллектуалы часто отрицают какое-либо сродство консерватизма и насилия². «Консерваторы, — пишет Эндрю Салливан, — ненавидят войну».

Их внутренняя политика основана на отвращении к гражданским войнам и насилию, и они знают, что свобода всегда оказывается первой жертвой международной войны. Когда страны вступают в войну, и их правительства становятся лишь сильнее, индивидуальные свободы сворачиваются, а обществам, некогда наслаждавшимся плюралистической какофонией свободы, приходится подстраиваться под одну коллективную ноту, чтобы одолеть внешнего вра-

-
1. Впервые опубликовано в: Corey Robin, «Easy to Be Hard: Conservatism and Violence», in *Performances of Violence*, ed. Austin Sarat, Carleen Basler, and Thomas L. Dumm (Amherst: University of Massachusetts Press, 2011), 18–42.
 2. Jim Sidanius, Michael Mitchell, Hillary Haley, and Carlos David Navarrete, «Support for Harsh Criminal Sanctions and Social Dominance Beliefs», *Social Justice Research* 19 (December 2006): 440; Tom Pyszczynski, Abdolhossein Abdollahi, Sheldon Solomon, Jeff Greenberg, Florette Cohen, and David Weise, «Mortality Salience, Martyrdom, and Military Might: The Great Satan Versus the Axis of Evil», *Personality and Social Psychology Bulletin* 32 (April 2006): 525–537; <http://www.gallup.com/poll/101863/Sixty-nine-Percent-Americans-Support-Death-Penalty.aspx>, accessed April 5, 2011; <http://pewforum.org/Politics-and-Elections/The-Torture-Debate-A-Closer-Look.aspx>, accessed April 5, 2011; http://www.sourcewatch.org/index.php?title=McCain_Amendment_No._1977, accessed April 5, 2011; Sean Olson, «Senate Approves Abolishment of Death Penalty», *Albuquerque Journal* (March 13, 2009). Выражаю благодарность Шанг Ха за приведенные цитаты.

га. По сути, состояние перманентной войны, как полагал Джордж Оруэлл, фактически является приглашением к тирании³.

Возводя традицию скептицизма от Оукшотта к Юму, консерватор рассматривает ограниченное правление как продолжение своей веры, а правовое государство — как условие стремления к счастью. Прагматичное и адаптивное, это мироощущение, имеющее, скорее, вид склонности, чем приверженности (и это, как настаивает консерватор, именно мироощущение, а не идеология), не интересуется насилием. При этом его поддержка войны, когда она имеет место, является лишь тягостной уступкой реальности. В отличие от своих левых друзей, консерватор ставит дружбу выше соглашения — он знает, что мы живем и любим посреди великих зол. Злу надо сопротивляться, иногда с помощью насилия. При прочих равных он хотел бы видеть мир без насилия. Однако никаких прочих равных не бывает, и он не может позволить себе видеть мир таким, каким ему хотелось бы, чтобы он был.

Вся история консерватизма — не только как политической практики, которая интересна нам здесь лишь во вторую очередь, но и как теоретической традиции — предполагает что-то иное. Явно не слишком печалюсь и расстраиваюсь из-за насилия, консерватор им даже воодушевляется. Я не имею в виду кого-то конкретно, хотя многие консерваторы, вроде процитированного выше Гарольда Макмиллана или цитируемого ниже Уинстона Черчилля, выказывали по поводу насилия неожиданный энтузиазм. Меня интересуют идеи и аргументы, а не характер и психология. Насилие, как утверждал консервативный интеллектуал, представляет собой один из тех опытов в жизни, благодаря которым мы чувствуем себя как никогда живыми, и насилие — это та деятельность, которая делает жизнь, если можно так выразиться, еще более живой⁴. Подобные аргументы могут выдвигаться с завидной легкостью — «Лишь мертвые

3. Andrew Sullivan, *The Conservative Soul: Fundamentalism, Freedom, and the Future of the Right* (New York: Harper Perennial, 2006), 276–277.

4. Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man* (New York: Harper Collins, 1992), xxiii, 147, 150–151, 255–256, 318, 329; Фрэнсис Фукуяма. *Конец истории и последний человек*. М.: АСТ, 2004.

видели конец войны», как выразился как-то Дуглас Макартур,⁵ — или с основательностью, как в случае Трейчке:

Для историка, живущего в мире воли, сразу же становится ясно, что требование вечного мира совершенно реакционно; он видит, что вместе с войной из истории придется вычеркнуть любое движение и рост. Всегда именно усталые, неглубокие и слабохарактерные периоды заигрывали с мечтой о вечном мире... Однако обсуждать этот предмет дальше не стоит; живущий Бог позаботится, чтобы война постоянно возвращалась как страшное лекарство человеческой расы⁶.

Все эти афоризмы или многословные рассуждения можно свести к следующему: война есть жизнь, а мир — смерть.

Подобное убеждение прослеживается еще в «Философском исследовании о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного» Эдмунда Бёрка. Бёрк развивает представление о личности, отчаянно нуждающейся в негативном стимуле, вроде боли и опасности, которые он ассоциирует с возвышенным. Возвышенное легко можно обнаружить в двух политических формах: иерархии и насилии. Но по причинам, которые мы проясним позднее, консерваторы — что вновь вполне соответствует аргументам Бёрка — часто более благосклонны к последнему. Правило может быть возвышенным, но насилие более возвышенно. Самое возвышенное рождается из их смешения, когда насилие используется ради созидания, защиты или восстановления режима господства и правил. Но как предупреждал Бёрк, испытывать боль и опасность всегда лучше на удалении. Дистанция и размытость усиливают возвышенность: близость и освещенность ее уменьшают. Контрреволюционное наси-

5. Данное высказывание взято из речи Макарура 1962 года в Вэст-Пойнте, приписанное им Платону. Ни один исследователь не встречал подобного высказывания у Платона, но оно действительно есть на стене Имперского военного музея в Лондоне, а также в фильме Ридли Скотта 2001 года «Падение „Черного ястреба“». Наиболее вероятным источником высказывания является Джордж Сантаяна и его «Монологи в Англии» (George Santayana, *Soliloquies in England*. New York: Scribner's, 1924), 102. См. великолепное и детальное исследование Бернард Съюзани: <http://plato-dialogues.org/faq/faq008.htm#note1>, accessed April 8, 2011.

6. *Selections from Treitschke's Lectures on Politics*, trans. Adam L. Gowans (New York: Frederick A. Stokes, 1914), 24–25.

лие может быть Эверестом консервативного опыта, но рассматривать его следует издали. Достаточно приблизиться к вершине, и воздух станет разреженным, а вид заволочут облака. Так что в конце каждой дискуссии о насилии ожидается разочарование.

«Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного» начинается на высокой ноте, с дискуссии о любопытстве, которое Бёрк определяет как «первую и самую простую эмоцию». Любопытная гонка «с одного места на другое... за чем-нибудь новым». Их цели выбраны, их внимание сосредоточено. И затем мир блекнет. Они начинают наткаться на одни и те же вещи; «одни и те же явления часто возвращаются, и воздействие их с каждым возвращением становится все менее и менее приятным». Новизна исчезает: и сколько, в действительности, есть нового в мире? Любопытство «исчерпывает» себя же. Энтузиазм и вовлеченность уступают «отвращению и скуке»⁷. Бёрк переходит к удовольствию и боли, которые должны трансформировать поиски нового в более глубокий и устойчивый опыт. Однако вместо подлинного дополнения к любопытству удовольствие предлагает, по сути, еще больше того же самого: воодушевление момента, за которым следует уныние и недомогание. «Когда оно завершило свой путь», говорит Бёрк, удовольствие «оставляет нас почти там же, где нас посетило». «Удовольствие любого рода быстро приносит удовлетворение; и, когда оно заканчивается, мы впадаем в безразличие»⁸. Более спокойные наслаждения, не столь интенсивные, как удовольствия, также усыпляют. Они порождают самодовольство; мы предаемся «лени и бездействию»⁹. Бёрк обращается к имитации как еще одной потенциальной силе внешнего стимула. При помощи имитации мы учимся манерам и нравам, вырабатываем мн-

7. Edmund Burke, *A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and the Beautiful*, ed. David Womersley (New York: Penguin, 1998, 2004), 79; Эдмунд Бёрк. *Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного*. М.: Искусство, 1976, с. 64.

8. *Ibid.*, 82; там же, с. 67.

9. *Ibid.*, 88; там же, с. 73.

ния и цивилизуемся. Мы открываемся миру, а мир открывается нам. Но у подражания есть и свой наркотик. Привыкнув подражать другим, мы прекращаем совершенствоваться. Мы следуем за той личностью «и так далее по замкнутому вечному кругу». В мире подражателей «не может быть никакого улучшения». Такие «люди должны бы были, как животные, оставаться в конце такими же, какие они сегодня и какими были в начале мира»¹⁰.

Любопытство ведет к скуке, удовольствие к безразличию, наслаждение к апатии, а подражание к стагнации. Так много дверей души выходят на это пространство инерции и уныния, что мы можем заключить, что оно таится не на краю, а в центре ситуации человека. Здесь, в темном углу эго, все действие прекращается, создавая идеальную среду для «меланхолии, подавленности, отчаяния и часто самоубийства»¹¹. Даже любовь, самая проявленная из восторгов, ведет личность обратно к состоянию душевной расслабленности¹². Самоубийство, по-видимому, неизбежная судьба, ожидающая всякого, кто наслаждается миром таким, какой он есть.

Для определенного типа консервативного теоретика подобные пассажи оказываются чем-то вроде вызова. Здесь можно наблюдать впечатляющий разрыв между изобретателем консервативной традиции, формулирующим представление о личности, и самой воображаемой личностью консервативной мысли. Консервативная личность, как мы не раз видели, утверждает, что предпочитает «знакомое неизведанному, опробованное неопробованному, факт загадке, действительное возможному, ограниченное безграничному, близкое далекому, достаток изобилию, просто удобное совершенному, радость сегодняшнего дня блаженству, обещанному где-то в утопическом будущем»¹³. Он не-

10. Ibid., 96; там же, с. 83.

11. Ibid., 164; там же, с. 149.

12. Ibid., 177–178; там же, с. 162–163.

13. Michael Oakeshott, «On Being Conservative», в *Rationalism in Politics and Other Essays* (Indianapolis: Liberty Press, 1962), 408; Майкл Окушотт. *Рационализм в политике*. М.: Идея-Пресс, 2002, с. 66. См. также Walter Bagehot, «Intellectual Conservatism», в *The Portable Conservative Reader*, ed. Russell Kirk (New York: Penguin, 1982), 239–241; Russell Kirk, «What Is Conserv-

равнодушен к вещам, какие они есть, не потому, что он находит их справедливыми или благими, а потому, что он находит их привычными. Он знает их и к ним привязан. Он не желает ни терять их, ни дать их забрать. Наслаждение тем, что он имеет, вместо приобретения чего-то лучшего, его величайшее благо. Но если бы личность из «Философского исследования о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного» удалось убедить в его привязанностях и привычках, она вскоре столкнулась бы с угрозой своего собственного уничтожения, причем, скорее всего, от собственных рук.

Возможно, именно эта смертельная скука, таящаяся прямо под поверхностью консервативного дискурса, объясняет неспособность консервативного политика последовать за консервативным теоретиком. Явно не собираясь отстаивать тихие радости и спокойные привязанности, консервативный политик устойчиво предпочитал активизм неудовлетворенности и выжидательности. Первой инаугурационной речью Рональда Рейгана была хвалебная песнь силе мечты: не маленькой, а большой, героической, мечты о прогрессе и улучшении, и не мечты ради себя самой, а мечты как неизбежного и жизненно важного побуждения к действию. Тремя месяцами позже в обращении к Конгрессу Рейган растолковал свою идею цитатой из Карла Сэндберга: «Ничто не случится, пока не родится мечта». И когда ничего не происходит, либо происходит, но слишком мало или слишком медленно — консерватор от политики безутешен. Рейган едва сдерживался из-за нерешительности политиков: «Старый и удобный способ состоит в том, чтобы убрать немного в одном месте и добавить немного в другом. Что ж, теперь это неприемлемо». Старое и удобное — таково теперь было обвинение, а вердиктом стало «никаких полумер»¹⁴.

atism?» в *The Essential Russell Kirk*, ed. George A. Panichas (Wilmington, Del.: ISI Books, 2007), 7; Roger Scruton, *The Meaning of Conservatism* (London: Macmillan, 1980, 1984), 21–22, 40–43; Robert Nisbet, *Conservatism* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986), 26–27.

14. Ronald Reagan, First Inaugural Address and address before a Joint Session of the Congress (April 28, 1981), в *Conservatism in America since 1930*, ed. Gregory L. Schneider (New York: New York University Press, 2003), 343, 344, 351, 352.

Рейган вряд ли был первым консерватором, действующим во имя невидимого и идеального, в противопоставление материальному и реальному. В своей речи на Республиканском национальном съезде в 1964 году, в которой он заявил о своем выдвижении в качестве кандидата в президенты США, Барри Голдуотер не смог найти более мощного обвинения, адресованного государству всеобщего благосостояния, чем то, что оно сделало страну «успокоенной». Благодаря Новому курсу Соединенные Штаты утратили свой «скорый шаг» и теперь просто «плелись». Спокойное, медленное и однообразное обычно приветствовались консервативными теоретиками, которые видели в них знаки настоящего счастья. Но для консервативного политика все это было злом. Он должен объявлять войну, созывать армии на борьбу с апатией и вялостью, говоря при этом о «деле», «борьбе», «энтузиазме» и «преданности»¹⁵.

Подобное рвение крестоносца не свойственно американскому консерватору. Оно встречается и в Европе, даже в Англии, земле, сделавшей умеренность прозвищем консерватизма. «Разве кто-то выигрывал битву», насмеялась Маргарет Тэтчер, «с лозунгами „Я за Консенсус“?»¹⁶. И еще есть Уинстон Черчилль, ездивший на Кубу в 1895 году, чтобы написать отчет об испанской войне против кубинской независимости¹⁷. Размышляя о разочарованиях своего поколения — поколения опоздавших к Империи и лишенных возможности имперского завоевания (в противоположность управлению), — он прибыл в Гавану. И вот, что он посчитал нужным сказать (оглядываясь в 1930 году на тот опыт):

Умы этого поколения, истощенного, одичавшего, искалеченного и скучающего от Войны, могут не понимать восхитительные и одновременно трепетные чувства, с которыми молодой британский офицер, выросший во время долгого мира, впервые приближался к данному театру действий. Когда в тусклом свете раннего утра я впервые увидел очертания

15. Barry Goldwater, acceptance speech at 1964 Republican National Convention (July 16, 1964), в *Conservatism in America*, 238–239.

16. Hugo Young, *One of Us* (London: Macmillan, 1989, 1991), 224.

17. William Manchester, *The Last Lion: Winston Spencer Churchill: Visions of Glory 1874–1932* (Boston: Little, Brown, 1982), 222–231.

Кубы на темно-синем горизонте, я почувствовал себя так, будто я плыл с Джоном Сильвером и впервые вглядывался в Остров сокровищ. Это было место, в котором происходят реальные вещи. Это было сценой важного действия... Это было место, где могло случиться все. Это было место, где что-то обязательно должно было случиться. Здесь я мог бы оставить свои кости¹⁸.

Каковы бы ни были взаимоотношения между теорией и практикой в консервативной традиции, из «Философского исследования о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного» ясно, что для выживания и процветания личность должна быть пробуждена опытом более витальным и тонизирующим, чем удовольствие и наслаждение. Удовольствие и наслаждение действуют как красота, «расслабляя основы всей системы»¹⁹. В то время как система должна быть гибкой и напряженной. Ум должен стать быстрее, а тело — более упругим. Иначе система размякнет, атрофируется и в конечном итоге умрет.

Но более всего пробуждает подобное возвышенное состояние столкновение с небытием. Жизнь и здоровье приносят удовольствие и наслаждение, но вот что с ними не так: «они не производят такого впечатления» на личность, поскольку «мы не были созданы для покорного принятия жизни и здоровья». Боль и опасность, напротив, «посланники» смерти, «царя ужасов». Они суть источники возвышенного, «сильнейшей» — самой мощной, самой впечатляющей — «эмоции, которую дух способен почувствовать»²⁰. Иными словами, боль и опасность являются генерирующим опытом для личности.

Это объясняется тем, что они обладают противоречивым эффектом минимизации и максимизации наших ощущения себя. Когда мы чувствуем боль и опасность, наша «душа настолько заполнена своим объектом, что не может воспринять никакого другого и, следовательно, не может размышлять о том объекте, который ее занимает». «Движения» нашей души «приостановлены», когда вред или про-

18. Winston Churchill, *My Early Life: 1874–1904* (New York: Scribner, 1996), 77.

19. Burke, *Sublime and the Beautiful*, 177; Бёрк. *Философское исследование...*, с. 162.

20. Ibid, 86; там же, с. 71.

буждаемые им страхи «набрасываются на ум». Столкнувшись с этими страхами, «ум стремится наружу». Когда мы испытываем возвышенное, мы чувствуем себя опустошенными, подавленными внешним объектом огромной и угрожающей силы. Все, что давало нам ощущение внутреннего мира и жизненности, прекращает существовать. Внешнее — все, а мы — ничто. Бог — хороший пример, а также крайнее выражение возвышенного: «Но когда мы размышляем о таком громадном предмете, находясь как бы под крылом всемогущей силы, обладающей к тому же всесторонним вседушием, мы сами съеживаемся, уменьшаясь до ничтожных размеров нашей собственной природы, и тем самым как бы уничтожаем себя в его глазах»²¹.

Парадоксальным образом, мы также ощущаем наше существование так остро, как мы никогда не ощущали его раньше. Во власти страха наше «внимание» пробуждается, а наши «способности... так сказать, вынуждены проснуться». Нас выбивает из колеи. Мы прекрасно осознаем то или иное место и свое присутствие там. До того мы едва замечали себя и наше окружение. Теперь же мы переживаемся через край, живя не только в наших телах и умах, но и в окружающем пространстве. Мы чувствуем «своего рода подъем» — ощущение, что мы больше, что наш периметр раздвинулся». Но это чувство, напоминает нам Бёрк, «более всего ощущается и действует с наибольшей силой тогда, когда, не подвергаясь опасности, мы имеем дело с предметами, вызывающими ужас»²².

Перед лицом возвышенного личность уничтожается, захватывается, подавляется, переполняется; перед лицом возвышенного личность возвышается, возвеличивается, превозносится (усиливается). Но может ли личность действительно занять такие противоположные, почти непримиримые, полюса опыта в одно и то же время? Именно это противоречие, колебание между столь резко расходящимися крайностями и порождает сильное и напряженное ощущение себя. Как писал Бёрк в другом месте, сильный свет похож на насыщенную темноту не только потому, что он

21. Burke, *Sublime and the Beautiful*, 101, 106, 108, 111; там же, с. 86, 91, 93, 96.

22. *Ibid.*, 96, 123; там же, с. 81, 108.

ослепляет и потому приближается к темноте, но также потому, что оба являются крайностями. А крайности, в особенности крайности противоположные, возвышенны, поскольку возвышенное «во всех вещах ненавидит посредственность»²³. Крайность противоположных ощущений, беспощадный перепад от бытия к небытию, приводит к самому интенсивному опыту индивидуальности.

Вопрос, которого Бёрк не ставит и на которой он не дает ответа ни здесь, ни в другой работе, звучит так: какой тип политической формы вызывает одновременность — или колебание между — самовозвеличивания и самоуничтожения? Этой формой может быть иерархия, с ее двойными требованиями подчинения и господства, или насилие, в особенности насилие военного времени, с его жесткой директивой убивать или быть убитым. Возможно, не случайно, что и иерархия, и насилие очень много значат для консерватизма как теоретическая традиция и историческая практика.

Руссо и Джон Адамс обычно не воспринимаются как идеологические коллеги, однако в одном они согласны: устойчивость общественных иерархий объясняется тем, что они гарантируют, что каждый, кроме тех, кто находится в самом низу и на самом верху, имеют возможность править и в свою очередь быть управляемыми. Конечно же, не в аристотелевском смысле самоуправления, но в феодальном смысле взаимного управления: каждый стоит над нижестоящим в иерархии, подчиняясь при этом кому-то вышестоящему. «Граждане позволяют себя угнетать, — пишет Руссо, — лишь постольку, поскольку, увлекаемые слепым честолюбием и вглядываясь больше в то, что у них под ногами, чем в то, что у них над головою, они начинают больше дорожить господством, чем независимостью, и соглашаются носить оковы, чтобы иметь возможность, в свою очередь, налагать цепи на других. Очень трудно привести к повиновению того, кто сам отнюдь не стремится повелевать»²⁴. Жажду-

23. Ibid., 121; там же, с. 106.

24. Jean-Jacques Rousseau, *Discourse on the Origin and Foundations of Inequality among Men*, in *Rousseau's Political Writings*, ed. Alan Ritter and Julia Conaway Bon-

щий власти и ее уже имеющий — не противоположные типы: воля к возвышению предшествует воле покоряться. Более тридцати лет спустя Адамс напишет, что каждый человек жаждет «чтобы за ним наблюдали, с ним считались, уважали, ценили, любили и восхищались»²⁵. Чтобы быть оцененным, нужно, чтобы вас увидели, а лучший способ показать себя — это возвыситься над своим кругом. Даже американский демократ, рассуждал Адамс, скорее будет править жестокостями, чем лишит того, кто стоит над ним, чего-либо. Его страсть — это страсть к превосходству, а не равенству, и пока он обеспечен аудиторией людей малых, он будет удовлетворен и своим невысоким статусом:

Не только беднейший механик, но человек, живущий на общественный счет, даже простые уличные бродяги... ищут себе поклонников и кичатся своим превосходством, которые они имеют, или воображают, что имеют, над другими... Когда какой-нибудь несчастный уже не в силах привлечь внимание мужчины, женщины или ребенка, он должен быть уважаем в глазах собаки. «Кто тогда будет меня любить?» — патетически воскликнул один из них, умиравший с голоду, чтобы прокормить своего мастиффа, обращаясь к сострадательному прохожему, который посоветовал ему убить или продать животное²⁶.

Можно увидеть в этих описаниях социальной иерархии очертания возвышенного: растоптанная верхами, возвеличенная низами личность превозносится и миниатюризируется, вовлекаясь в практики правления. Но вот загвоздка: как только мы становимся уверенными в нашей власти над другим существом, считает Бёрк, нижестоящие по отношению к нам теряют свою способность угрожать или вредить нам. Личность теряет возвышенность. «Лишите» человека «способности причинять боль», и «вы лишите ее всего возвышенного»²⁷. Львы, тигры, пантеры и носороги возвы-

danella (New York: Norton, 1988), 54; Жан-Жак Руссо. *Об общественном договоре. Трактаты*. М.: КАНОН-пресс, 1998, с. 134.

25. John Adams, *Discourses on Davila*, in *The Political Writings of John Adams* (Indianapolis: Hackett, 2003), 176.

26. *Ibid.*, 183–184.

27. Burke, *Sublime and the Beautiful*, 108; Бёрк. *Философское исследование о происхождении наших чувств возвышенного и прекрасного*, с. 96.

шенны не потому, что являют собой великолепные образцы силы, а потому что они могут и будут убивать нас. Рогатый скот, лошади и собаки также сильны, но им недостает инстинкта убийцы или этот инстинкт у них подавлен. Их можно заставить служить нам, а в случае собак, даже любить нас. Поскольку подобные создания, какими бы сильными они ни были, не могут угрожать или причинить нам вред, они не могут быть возвышенными. Они — объекты презрения, а «презрение всегда сопутствует той силе, которая подчинена и безвредна»²⁸.

Вокруг нас постоянно находятся животные, обладающие значительной силой, но безвредные. Мы никогда не ищем в их среде возвышенного: оно посещает нас в мрачном лесу и в огромной пустыне... Когда сила только приносит пользу и применяется для нашей выгоды или удовольствия, она никогда не бывает возвышенной; ибо все, что может действовать приятно для нас, должно действовать в соответствии с нашим желанием, оно должно подчиняться нам и поэтому никогда не может быть причиной величественной и целиком захватывающей нас идеи²⁹.

Так что по крайней мере половина опыта социальной иерархии — не опыта в качестве управляемых, которому сопутствует возможность быть уничтоженным, униженным, подвергнуться угрозам или пострадать от вышестоящего, а опыта легкого управления другим, — несовместима с возвышенным и даже ослабляет его. Убежденные в нашей силе и власти, мы погружаемся в тот же покой и комфорт и начинаем размягчаться так же, как при пароксизмах удовольствия. Убежденность в порядке имеет столь же ослабляющий и изнуряющий эффект, что и любовная страсть.

Намеки Бёрка на опасности, подстерегающие устоявшийся порядок, отражают удивительную черту консерватизма: устойчивый, пусть и не признаваемый, дискомфорт от уже созревшей власти, авторитета, ставшего удобным и безопасным. Начиная с самого Бёрка, консерваторы выражают острое беспокойство относительно судеб правящих классов,

28. Ibid., 109; там же, с. 97.

29. Ibid.; там же, с; 96.

настолько уверенных в своем месте под солнцем, что они утрачивают саму способность править: их воля к власти улетучивается, а их физическая и духовная власть ослабевает.

Как мы увидели в Главе 1, Бёрк полагает, что Старый порядок прекрасен. Но поэтому он еще и «застоем, инертен и робок». Он не способен защитить себя от «вторжения способных», поскольку способности отошли новым людям власти, которых порождает революция. Финансовые круги, вступившие в союз с революцией, сильнее, чем круги землевладельческие, поскольку они «более открыты для любой авантюры» и «более расположены к новым, каким бы то ни было предприятиям»³⁰.

Старый порядок прекрасен, статичен, слаб; революция уродлива, динамична, сильна. «Это пугающая правда, — признает Бёрк во втором из своих „Писем о цареубийственном мире“, — но это правда, которую нельзя скрыть; в способности, ловкости и ясности своих взглядов якобинцы превосходят нас»³¹.

Жозеф де Местр в своем осуждении Старого порядка был менее тактичен, чем Бёрк, возможно, потому, что принял его недостатки ближе к сердцу. Задолго до революции, как он утверждает, лидерство Старого порядка зашло в тупик. Естественно, правящие классы неспособны были понять, а тем более сопротивляться внезапному натиску. Бессилие, физическое и интеллектуальное, было — и остается — величайшим грехом Старого порядка. Аристократия не в состоянии понять происходящее и не способна действовать. Какая-то часть знати, может, и была полна благих намерений, но не могла довести все до конца. Но она пуста и глупа. У нее есть добродетель, но нет доблести. Аристократия «выглядит нелепой во всем, что она предпринимает». Духовенство погрязло в роскоши и богатстве. Монархия раз за разом выказывала нехватку воли «качать», которая является отличительной чертой настоящего правителя³². Столкнувшись с подобным разложением — неизбежным

30. Burke, *Reflections on the Revolution in France*, ed. J. C. D. Clark (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2001), 207–208, 275.

31. Burke, *Letters on a Regicide Peace*, ed. E. J. Payne (Indianapolis: Liberty Fund, 1999), 157.

32. Joseph de Maistre, *Considerations on France*, trans. and ed. Richard A. Lebrun

следствием веков пребывания у власти, Местр заключает — то, что контрреволюция еще не торжествовала (пишет он в 1797 году), даже к лучшему. Старому порядку понадобится еще несколько лет в запустении, чтобы избавиться от тлетворного влияния своей когда-то прекрасной жизни:

Восстановление королевской власти мгновенно ослабило бы все пружины государства. Черная магия, которая действует ныне, исчезла бы как туман пред солнцем. Доброта, милосердие, правосудие, все кроткие и мирные добродетели сразу же явились бы снова и принесли бы с собой некую общую мягкость во нравах, некую легкость, полностью противоположную угрюмой жестокости революционной власти³³.

Век спустя схожие рассуждения о *belle époque* будут высказаны Жоржем Сорелем. Обычно Сореля не относят к правым — вспомним, что даже консерватизм Бёрка остается спорным вопросом³⁴, — а его главная работа «Размышления о насилии» часто воспринимается как вклад, пусть и незначительный, в марксистскую традицию. Однако начинал Сорель как консерватор, а кончил как протофашист, и даже во время его увлечения марксизмом его больше волновали упадок и витальность, а не эксплуатация и справедливость. Критика, которую он обрушивает на французский правящий класс в конце XIX века, не отличается от критики Бёрка и Местра конца XVIII века. Он даже проводит явные сравнения: французская буржуазия, пишет Сорель, стала «настолько же опустившейся, как знать XVIII века». Она олицетворяет собой «аристократию, в высшей степени просвещенную, жаждущую жить в мире». Когда-то буржуазия была расой воинов. Это были «смелые предприниматели»,

(New York: Cambridge University Press, 1974, 1994), 4, 9–10, 13–14, 16–18, 100; Жозеф де Местр. *Рассуждения о Франции*. М.: РОССПЭН, 1997, с. 15.

33. Ibid, 17; там же, с. 33. Другие примеры см.: Jean-Louis Darcel, «The Roads of Exile, 1792–1817», and Darcel, «Joseph de Maistre and the House of Savoy: Some Aspects of His Career», in *Joseph de Maistre's Life, Thought, and Influence: Selected Studies*, ed. Richard A. Lebrun (Montreal: McGill-Queen's University Press, 2001), 16, 19–20, 52.

34. Ср.: David Bromwich, «Introduction», in Edmund Burke, *On Empire, Liberty, and Reform: Speeches and Letters*, ed. David Bromwich (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2000), 10; Jan-Werner Muller, «Comprehending Conservatism: A New Framework for Analysis», *Journal of Political Ideologies* 11 (October 2006): 360.

«основатели новой промышленности» и «первооткрыватели». Они стояли во главе «гигантских предприятий», были проникнуты «духом бодрости, неутомимости и неумолимости», прокладывая железные дороги, покорявшим континенты и творившим мировую экономику. Сегодня же они робки и трусливы и отказываются от самых элементарных шагов для защиты своих собственных интересов против профсоюзов, социалистов и левых. Вместо того чтобы применить насилие против бастующих рабочих, они отступают перед угрозами насилия со стороны рабочих. Им не хватает страстности, пыла их предков. Трудно не прийти к выводу, что «буржуазия рано или поздно осуждена на смерть»³⁵.

Карл Шмитт сумел оформить презрение Сореля к слабости правящих классов в целую политическую теорию. Согласно Шмитту, буржуа был таким — не склонным к риску, эгоистичным, незаинтересованным в проявлениях отваги или насильственной смерти, жаждущим мира и безопасности, поскольку капитализм был его призванием, а либерализм — его верой. Ни тот ни другой не давал ему основной умереть за государство. Наоборот, и тот и другой давал весьма веские основания не умирать за государство. Выгода, свобода, прибыль, права, собственность, индивидуализм и другие подобные понятия в итоге создали один из самых эгоцентричных правящих классов в истории, класс, который пользовался привилегиями, но не считал себя обязанным эти привилегии защищать. В конце концов предпосылкой либеральной демократии было отделение политики от экономики и культуры. А значит, можно гнаться за барышом, выгодой, не нарушая при этом баланса сил. Буржуазия, однако, сталкивалась с врагом, который прекрасно видел взаимосвязь между идеями, деньгами и властью и понимал, что экономическое устройство и интеллектуальные аргументы были содержанием политических баталий. У марксистов было основополагающее политическое различие «друга» и «врага»; у буржуазии его не было³⁶. Одно

35. Georges Sorel, *Reflections on Violence*, ed. Jeremy Jennings (New York: Cambridge University Press, 1999), 61–63, 72, 75–76; Жорж Сорель. *Размышления о насилии*. М.: КРАСАНД, 2011, с. 14, 21, 22, 24.

36. Carl Schmitt, *The Concept of the Political*, trans. George Schwab (New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1976), 22, 48, 62–63, 65, 71–72, 74, 78.

время дух Гегеля обитал в Берлине; с тех пор он давным-давно «перекочевал в Москву»³⁷.

Сорель нашел одно исключение из этого правила капиталистического упадка: «бароны-разбойники»³⁸ Соединенных Штатов. В лице Карнеги и Гульдов американской промышленности Сорель полагал, что увидел «неукротимую энергию, смелость, основывающуюся на верной оценке своих сил, холодный расчет, — все качества, присущие великим полководцам и капиталистам». В отличие от изнеженной буржуазии Франции и Британии, миллионеры Питтсбурга и Питтсона «ведут до конца дней каторжную жизнь тружеников, вовсе не стремясь, подобно Ротшильду, походить своим временем препровождением на светских джентльменов»³⁹.

Духовный коллега Сореля по ту сторону Атлантики, Тедди Рузвельт, был не столь расположен к американским промышленникам и финансистам. (Бёрковское беспокойство по поводу правящих классов объединяла европейских и американских консерваторов). Как заявлял Рузвельт, капиталист рассматривает свою страну как «кассу», всегда сопоставляя «честь страны и славу флага» с «временным перерывом в бизнесе». Он не «готов размениваться на мелочи», вроде защиты страны. Его заботит «лишь то, поднимаются или падают в цене акции»⁴⁰. Он не выказывает интереса к государственным делам ни у себя в стране, ни за рубежом, если только они не вторгаются в его собственные дела. Не случайно, как утверждал Рузвельт, вероятно, намекая на Карнеги, такие люди выступали против великой имперской экспедиции, каковой была испано-американская война⁴¹. Самодовольные и устроенные, уверенные в своем богатстве, благодаря успехам в борьбе с рабочими предыду-

37. Schmitt, *Concept of the Political*, 63.

38. Барон-разбойник (во второй половине XIX века — американский капиталист, наживший состояние нечестным путем; позднее — бизнесмен, готовый пойти на все ради обогащения).

39. Sorel, *Reflections on Violence*, 75; Сорель. *Размышления о насилии*, с. 24–25.

40. Theodore Roosevelt, address to Naval War College (June, 2, 1897), in *Theodore Roosevelt: An American Mind. Selected Writings*, ed. Mario R. DiNunzio (New York: Penguin, 1994), 175–176, 179.

41. Roosevelt, address to Hamilton Club of Chicago (April 10, 1899), and *An Autobiography*, in *Theodore Roosevelt*, 186, 194.

щих десятилетий и выборам 1896 года, они не были людьми, на которых можно рассчитывать в деле защиты страны или даже их самих. «Однажды у нас может появиться горькая причина, — говорил Рузвельт, — считать, что богатая страна, ставшая вялой, робкой или неуклюжей, превратится в легкую добычу» для других, более воинственных народов. Опасность, с которой сталкиваются правящие классы — и правящая нация, ставшая «искусной в коммерции и финансах», — заключается в том, что она «утрачивает боевую доблесть»⁴².

Рузвельт не был первым американским консерватором, которого беспокоила мягкотелость правящих классов и незрелость иерархий. Не был он и последним. На протяжении 1830-х, как мы видели в первой главе, когда аболиционисты начали добиваться успехов, Джон С. Кэлхун был вне себя от ярости из-за благостной и добровольной тупости своих сотоварищей с плантаций. Они обленились, разъелись и стали самодовольными, столь откровенно наслаждаясь привилегиями и положением, что не могли заметить приближающуюся катастрофу. Или, если и видели, то не могли ничего предпринять для ее предотвращения, поскольку их политические и идеологические мускулы уже давным-давно атрофировались⁴³. Барри Голдуотер тоже выражал презрение к республиканскому истеблишменту⁴⁴. А в 1990-х — если перескочить вперед еще на три десятилетия — можно было услышать правых наследников Рузвельта, изливавших те же проклятия в адрес американских капиталистов на хозяев мира с Уолл-стрит и «гикнутых» предпринимателей из Силиконовой долины⁴⁵.

Для того чтобы правящие классы были энергичны и крепки, заключал консерватор, их члены должны быть испытаны и тренированы. Не только их тела, но умы и даже их души. Вторя Мильтону: «Я не могу воздавать хвалу той

42. Roosevelt, Naval War College address, 174.

43. John C. Calhoun, «Speech on the Reception of Abolitionist Petitions» (February 6, 1837), in *Union and Liberty: The Political Philosophy of John C. Calhoun*, ed. Ross M. Lence (Indianapolis: Liberty Fund, 1992), 476.

44. Barry Goldwater, *The Conscience of a Conservative* (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1960, 2007), 1.

45. Fukuyama, *End of History*, 315–318, 329; см. также: наст. изд., глава 8.

трусливой монашеской добродетели, которая бежит от испытаний и воодушевления, никогда не идет открыто навстречу врагу и незаметно уходит с земного поприща, где венюк бессмертия нельзя получить иначе, как подвергаясь пыли и зною»⁴⁶, — Бёрк полагает, что в борьбе и трудностях, в противостоянии лишениям и страданиям рождаются более сильные и добродетельные личности.

Великие добродетели обращены преимущественно на опасности, наказания и тревоги и проявляются, скорее, тогда, когда необходимо предотвратить наихудшее зло, а не раздавать милости; в силу этого они в высшей степени почтенны, но отнюдь не доставляют удовольствия. Менее великие добродетели обращены на помощь, милость, терпимость и в силу этого более приятны, хотя и ниже по своему достоинству. Те лица, которые закрадываются ползком в сердца других людей, которые избираются спутниками их более нежных минут, освобождающими их от тревог и забот, никогда не обладают блестящими качествами или сильными добродетелями⁴⁷.

Возможно, мы наблюдаем здесь истоки склонности консерваторов к войне (warfare), нежели государству всеобщего благосостояния (the welfare state), но это тема для отдельного разговора. Но там, где Мильтон и другие придерживающиеся схожих взглядов республиканцы полагают, что нечистоплотность и испорченность — удел самодовольных и устроенных, Бёрк обнаруживает еще более ужасный призрак расточительства, вырождения и смерти. Если власть имущие хотят таковыми оставаться и дальше, или если они вообще хотят остаться в живых, их власть и даже надежность их собственного существования должны постоянно получать вызовы, угрозы и противостоять им.

Одной из самых поразительных — хотя, как я надеюсь, теперь вполне понятной — черт консервативного дискурса яв-

46. John Milton, *Aeropagitica*, in *Complete Poems and Major Prose*, ed. Merritt Y. Hughes (New York: Macmillan, 1957), 728; Джон Мильтон. Ареопагитика. Речь о свободе печати от цензуры, обращенная к парламенту Англии (1644) // *Современные проблемы*. Вып. 1. М. — Новосибирск, 1997, с. 17.

47. Burke, *Sublime and the Beautiful*, 145; Бёрк. *Философское исследование...*, с. 137.

ляется одержимость врагами консерваторов (и признание их большой ценности), особенно в том, что касается применения насилия против них самих и их союзников. Наиболее восторженные комментарии де Местра в его «Размышлениях о Франции» обращены к якобинцам, чьей жестокой воле и любви к насилию — их «черной магии» — он явно завидует. Благодаря их усилиям Франция была очищена, чтобы вновь занять достойное место в семье народов. Именно они сплотили народ против иностранных захватчиков, что было «дивом», которое мог сотворить «один лишь адский гений Робеспьера». В отличие от монархии, у Революции есть воля карать⁴⁸.

Но с точки зрения берковского возвышенного рассуждения де Местра на этом и останавливаются. Революция омолаживает Старый порядок, лишая его власти и очищая народ с помощью насилия. Для системы она становится очищающим потрясением. Но де Местр никогда не рассматривает или по крайней мере никогда не обсуждает живительное воздействие, которое может оказывать на лидеров Старого порядка отвоевание власти у революции. И, переходя к описанию того, как, по его мнению, будет происходить контрреволюция, решающая битва оказывается удивительно скучной и совершается почти без стрельбы. «Как произойдет контрреволюция, если она случится?» — задается вопросом Местр. «Может быть, четыре или пять человек дадут Франции короля». Не слишком похоже на мужественный, зрелый преобразенный правящий класс, сражающийся за власть...⁴⁹

Местр никогда не изучал «реставрационные» возможности борьбы между Старым порядком и революцией; для этого мы должны обратиться к Сорелю. И хотя в борьбе между правящими и управляемыми конца XIX века Сорель занимал более двусмысленную позицию, чем де Местр, его оценка влияния насилия над правящими со стороны управляемых была вполне однозначной. Как утверждает Сорель, французская буржуазия утратила свой боевой дух, но этот

48. Maistre, *Considerations on France*, 14, 16, 18–19; с. 31, 33. См. также: Darcel, «The Apprentice Years of a Counter-Revolutionary: Joseph de Maistre in Lausanne, 1793–1797», in *Joseph de Maistre's Life, Thought, and Influence*, 43–44.

49. Maistre, *Considerations on France*, 77; 128.

дух жив среди рабочих. Их полем боя является их рабочее место, оружием — всеобщая стачка, а целью — свержение государства. Больше всего Сореля вдохновляет как раз последнее, поскольку желание свергнуть государство символизирует лишь безразличное отношение рабочих к завоеваниям. Они не только не стремятся к более высокой зарплате и иного рода улучшениям своего благосостояния; наоборот, они преследуют самую невероятную цель — свержение государства посредством всеобщей забастовки. Именно эта невероятность и дистанция между средствами и целями делает насилие пролетариата столь примечательным. Пролетариату подобны гомеровским воинам, поглощенным величием битвы и равнодушным к целям войны: да кто вообще когда-либо свергал государство посредством всеобщей забастовки? Их насилие — это насилие ради насилия, без оглядки на издержки, выгоды и расчеты между ними⁵⁰. Как поколением позже писал Эрнст Юнгер, «дело не в том, за что мы сражаемся, а в том, как мы сражаемся»⁵¹.

Но захватывает Сореля не пролетариат, а эффект обновления, который он может оказать на буржуазию. Может ли насилие всеобщей забастовки «вернуть буржуазии ее прежний пыл, который исчезает»? Конечно, энергия пролетариата могла бы вернуть буржуазии внимание к ее собственным интересам и угрозам, созданным для этих интересов ее уходом из политики. Для Сореля, однако, более соблазнительна возможность того, что насилие рабочих сможет «возвратить [классу буржуазии] те воинственные качества, которыми он некогда обладал», вынудив «класс капиталистов вести ожесточенную промышленную кампанию». Иными словами, посредством борьбы против пролетариата буржуазия может вновь обрести жестокость и страстность. Ведь страстность — это все. От одной страстности — этого паразитического безразличия к зову рассудка и соображениям корысти — сможет пробудиться и вся цивилизация, утопающая в материализме и самодовольстве. Правящий класс, которому управляемые угрожают насилием, сам обрел вкус

50. Sorel, *Reflections on Violence*, 63, 160–161; Сорель. *Размышления о насилии*, с. 88.

51. Цит. по: William Pfaff, *The Bullet's Song: Romantic Violence and Utopia* (New York: Simon and Schuster, 2004), 97.

к насилию — что, по сути, гарантирует гражданскую войну во Франции⁵².

Ведь для консерватора, каким бы умеренным он ни был, обновленная страсть всегда означала перспективу гражданской войны. Ведь между простыми примерам католического реакционера вроде де Местра и протофашиста вроде Сореля стоит более сложный, но в итоге более важный пример Алексиса де Токвиля. Его дрейф от умеренности Июльской монархии к реваншизму 1848 года показывает, как легко и неумолимо берковский консерватор будет переходить от прекрасного к возвышенному, а музыка осторожности и умеренности — в марш насилия и злобы⁵³.

Публично представляя себя законченным реалистом, разборчивым и благоразумным, не терпящим энтузиазма любого сорта, Токвиль на самом деле был тайным романтиком. Он признавался своему брату, что ему передалось «пожирающее нетерпение» их отца и его «потребность в глубоких и устойчивых чувствах». Разум, говорил он, «всегда был для меня клеткой», в которой он «скрежетал зубами». Он тосковал по «виду баталий». Вспоминая о Французской революции, которую он не застал (он родился в 1805 году), он оплакивал конец Террора, утверждая, что «настолько подавленные люди не только не смогут достичь великих добродетелей, но и, похоже, стали почти неспособными и на великие преступления». Даже Наполеон, бич всех консерваторов, умеренных и либералов, заслужил восхищение Токвиля как «самый необычный человек, появившийся в мире за последние столетия». Но кто, например, мог найти вдохновение в парламентской политике июльской монархии, этом «маленьком демократическом и буржуазном котелке супа?»

Тем не менее, однажды нацелившись на карьеру в политике, именно в этот котелок буржуазного супа Токвиль и прыгнул. Как и можно было ожидать, он не пришелся ему по вкусу. Токвиль мог произносить слова об умеренности, ком-

52. Sorel, *Reflections on Violence*, 76–78, 85; Сорель. *Размышления о насилии*, с. 26–27.

53. Здесь и далее кратко излагаются идеи из моей книги: Corey Robin, *Fear: The History of a Political Idea* (New York: Oxford University Press, 2004), 88–94; Кори Робин. *Страх: история политической идеи*. М.: Территория будущего, 2007, с. 107–115. Источники приводимых здесь цитат см. в указанной работе.

промиссе и верховенстве права, но они не трогали его. Без угрозы революционного насилия политика просто не была величественной драмой как в 1789–1815 годах. «Наши отцы наблюдали такие потрясающие вещи, что по сравнению с ними все наши деяния кажутся заурядными». Политика умеренности и компромисса вызвала умеренность и компромисс; она не породила политики, по крайней мере, не в понимании Токвиля. Во время 1830-х и 1840-х «более всего мы... нуждались в самой политике». Не было «поля боя, на котором бы могли встретиться соперничающие партии». Политика была «лишена... всякой оригинальности, реальности, а потому и всех подлинных страстей».

А затем настал 1848 год. Токвиль не поддерживал революцию. Он даже был среди ее самых громогласных противников. Он выступал за полную приостановку гражданских свобод, что, как он радостно объявил, было сделано «с еще большей энергией, чем при монархии». Он приветствовал разговоры о диктатуре — для защиты того самого режима, который он поносил на протяжении двух десятилетий. И ему нравилось все: насилие, ответное насилие, борьба. В деле защиты умеренности перед лицом радикализма Токвилю представился шанс применить радикальные меры ради умеренных целей, и не вполне ясно, что именно вызвало у него большее возбуждение.

Позвольте же мне сказать, что, когда я начал аккуратно исследовать глубины моего сердца, я с некоторым удивлением обнаружил определенное чувство облегчения, что-то вроде счастья вперемешку со всеми печальями и страхами, которые породила революция. Я переживал за это ужасное событие в истории моей страны, но явно не за себя; напротив, казалось, я дышал свободнее, чем до катастрофы. Тогда я чувствовал, что задыхаюсь в атмосфере парламентарного мира, который только что был уничтожен: я нашел его полным разочарований, в котором находились и другие, и я сам.

Самозванный поэт временного, утонченного и сложно-го, Токвиль был полон энтузиазма пробудить мир, разделенный на два лагеря. Робкие парламенты распространяли унылое замешательство; гражданская война навязала стране бодрящую ясность разделения на черное и белое. «Здесь не оставалось места для душевных колебаний: по эту сторону лежало спасение страны; по ту — ее разрушение... Путь

действительно казался опасным, но ум был так устроен, что его больше страшила не опасность, а сомнения». Для этого члена правящего класса возвышенное, исходя от насилия низших классов, дало возможность избежать удушающей красоты жизни на буржуазном Парнасе.

Френсис Фукуяма, пожалуй, глубже других современных авторов изучил эту консервативную линию аргумента о насилии. Однако в отличие от де Местра или Токвиля и Сореля, писавших в разгар сражений, исход которых не был предрешен, Фукуяма пишет с комфортной позиции победителя. На дворе 1992 год, капиталистические классы одолели своих социалистических противников в долгой гражданской войне короткого XX века. Не слишком захватывающее зрелище, по крайней мере, для Фукуямы. Ведь революционер был одной из немногих фигур «тимоса» XX века. Человек тимоса подобен рабочему Сореля: он рискует своей жизнью ради неочевидного принципа, его не заботят собственные материальные интересы и волнует лишь честь, слава и ценности, за которые он сражается. После странных, но кратких почестей бладсам и крипсам как людям тимоса, Фукуяма с теплотой вспоминает таких людей цели и силы, как Ленин, Троцкий и Сталин, «стремящиеся к чему-то чистому и высокому», с «высокой твердостью, умением видеть, беспощадностью и интеллектом». Благодаря их отказу приспособиться к реалиям своего времени, они были «самыми свободными и потому самыми человечными из живущих». Труднообъяснимо, но так или иначе эти люди и их последователи проиграли гражданскую войну двадцатого века силам «человека экономического». А экономический человек суть «истинный буржуа». Такой человек никогда не будет готов «встать перед танком или цепью солдат» за какое-либо дело, даже свое собственное. И хотя экономический человек — победитель, война не обновляет его и восстанавливает его первоначальные силы, а делает лишь еще более буржуазным. Такой консерватор, как Фукуяма, может лишь досадовать на триумф экономического человека и пришедшую с ним «жизнь рационального потребления, скучную жизнь, наконец»⁵⁴.

54. Fukuyama, *End of History*, 148, 180, 304–305, 312, 314, 328–329, 454.

Не будучи чем-то уникальным, разочарование Фукуямы в действительном — в противовес ожидаемому и воображаемому — влиянию насилия на распущенный правящий класс все же кажется весьма символичным. «Цели сражения и плоды завоевания никогда не совпадают, — отмечал Э. М. Форстер в „Поездке в Индию“. — Последние имеют свою ценность, и лишь святой может отвергнуть их, но их намек на бессмертие исчезает, лишь только они оказываются в руках»⁵⁵. Глубоко внутри консервативного дискурса заложен элемент упадка, который невозможно удержать. И хотя консерватор обращается к насилию как способу освобождения себя или правящих классов от мертвящей скуки и смягчающей атрофии, приходящей с властью, практически каждое столкновение в консервативном дискурсе с реальным насилием вызывает разочарование.

Вспомним Тедди Рузвельта, рассуждавшего о материализме и слабости капиталистического класса Америки. Где, задавался вопросом он, в современной Америке можно найти пример «напряженной жизни» с возбуждением от трудностей и опасностей, с борьбой за прогресс? Возможно, в войнах за рубежом и завоеваниях, которые Америка предприняла в конце столетия. Однако даже здесь Рузвельта подстерегает разочарование. Хотя его сообщения об испано-американской войне были полны бесстрашия и бравады, внимательное изучение его авантур на Кубе показывает, что на самом деле его тамошние подвиги были фиаско. В одном случае он наблюдал, как его солдаты убили двух испанских солдат: «Это были единственные испанцы, павшие от прицельного огня моих людей, — писал он, — если не брать в расчет двух партизан в лесу». Во втором он возглавляет армию, которая его не слышит и не следует за ним. Неудивительно, что в своих оценках он весьма мрачен, оставляя унылые комментарии об одном из армейских командиров на Кубе, некоем генерале Уилере, который «прошел через слишком много тяжелых боев в гражданскую войну, чтобы воспринимать нынешние сражения всерьез»⁵⁶.

55. E. M. Forster, *A Passage to India* (New York: Harcourt, 1924), 289.

56. Roosevelt, *The Rough Riders*, in *Theodore Roosevelt*, 30–32, 37. One might also point to Roosevelt's Naval War College address, where several thousand words in praise of manliness and military preparedness come to a climax in a call for

В кровавых предприятиях, следовавших за испано-американской войной, однако, Рузвельт сумел ощутить настоящее блаженство оставшегося в живых человека. Для Рузвельта и его земляков захват Америкой Филиппин и других мест были примерным повторением гражданской войны, этого благородного крестового похода незапятнанной добродетели. «Наше поколение сталкивается с иными задачами, чем те, с которыми имели дело наши отцы, — заявлял он в 1899 году, — и горе нам, если мы не сумеем их выполнить!.. Мы обязаны исполнить свой долг на Гавайях, Кубе, в Порто [sic] Рико и на Филиппинах». Здесь — на островах Карибского моря и Тихого океана — произошло слияние крови и замысла, воплощения которого он ждал всю жизнь. Задача имперского подъема, образования местного населения в «духе борьбы за цивилизацию», была тяжелой и жестокой и налагала на Америку миссию, которая должна была отнять в лучшем случае годы. Если имперская миссия будет успешной — и даже если провалится, — это создаст подлинный правящий класс в Америке, закаленный в боях, более благородный и менее алчный, чем подручные Карнеги⁵⁷.

Это была прекрасная мечта, но она не вынесла бремени реальности. Хотя Рузвельт надеялся, что люди, управлявшие Филиппинами, будут «избраны за свои способности и честность» и станут править «провинциями от имени всей нации, которую они представляли, и ради всего народа, к которому они придут», он беспокоился, что колониальные захватчики Америки будут происходить из того же класса жадных финансистов и промышленников, из-за которого он сам обратил свой взор за границу. Так что его хвалебные песни империализму закончились на мрачной ноте — предостережением, даже приговором. «Если мы позволим нашей администрации на Филиппинах стать добычей испорченных политиков, если мы не сможем соответствовать высочайшему стандарту, мы будем виновны не только в безнравственности, но и в откровенном недомыслии, и нам придется

the United States to build a modern navy that might well never be used. *Theodore Roosevelt*, 178.

57. Roosevelt, Hamilton Club address, *Theodore Roosevelt*, 185, 188.

вступить на путь, проделанный Испанией и окончившийся для нее горьким унижением»⁵⁸.

Но хотя этот сон и закончился плохо, Рузвельт, по крайней мере, мог сослаться на то, что он это предвидел, чего нельзя сказать об итальянских фашистах, которые десятилетиями тешили себя иллюзией того, что им удалось отвоевать власть у левых, что свидетельствовало об их неспособности смириться с разочарованием. Годами фашисты отмечали марш на Рим 1922 года, считая его суровым и славным триумфом воли над трудностями. 28 октября, день вступления чернорубашечников в Рим, стало национальным праздником; оно было объявлено первым днем фашистского Нового года после принятия в 1927 году нового календаря. История о приезде самого Муссолини — в пресловутой черной рубашке — повторялась с благоговением. «Государь, — по слухам, сказал он, — простите мне мое одеяние. Я прибыл с поля боя». На самом же деле Муссолини прибыл накануне поездом из Милана, где его постоянно видели в театре, проспав всю дорогу в комфортабельном вагоне. Единственная причина, по которой он оказался в Риме, заключалась в том, что робкий истеблишмент во главе с королем позвонил ему в Милан с просьбой сформировать правительство. Все обошлось без стрельбы⁵⁹. Де Местр не написал бы лучше.

Схожий феномен можно наблюдать и в ходе войны против террора. Хотя многие видят в администрации Буша и неоконсерватизме отход от подлинного консерватизма,⁶⁰ неоконсервативный проект имперского авантюризма описывает беркианскую дугу насилия от начала до конца. Я уже писал в главе 8, что неоконсерваторы видели в 11 сентября и в войне против террора возможность, позволяющую избежать декадентского и удушающего мира и благополучия клинтоновских годов, которые, как они считали, ослабили американское общество. Погрязнув в комфорте, американцы — и, самое главное, их лидеры — по сути, утратили волю, желание и способность управлять миром. Затем случилось

58. Roosevelt, Lincoln Club address of February 1899, and Hamilton Club address, *ibid.*, 182, 189.

59. 169; Robert O. Paxton, *The Anatomy of Fascism* (New York: Knopf, 2004), 87–91.

60. Из свежих работ см., например: Sam Tanenhaus, *The Death of Conservatism* (New York: Random House, 2009).

11 сентября, и внезапно стало казаться, будто им удалось вернуть утраченное.

Теперь, конечно, от этой мечты не осталось и следа, но следует упомянуть об одной ее отличительной черте, которая привносит определенную новизну в долгую сагу о консервативном насилии. По мнению многих консерваторов, а не только неоконсерваторов, одной из недавних причин американского декаданса, восходящей к временам суда Уоррена и революции правых в 1960-х, является либеральная одержимость правовым государством. В глазах консерватора эта одержимость приобретает множество форм: настаивание на соблюдении надлежащей судебной процедуры в уголовном процессе; склонность отдавать приоритет судебным решениям перед законодательством; акцент на дипломатии и международном праве, а не военных действиях; попытки ограничить исполнительную власть посредством судебного и законодательного контроля. Какими бы несвязанными ни казались эти симптомы, консерваторы видят в них одну и ту же болезнь: культуру правил и законов, постепенно делавшую недееспособной и безжизненной «белокурую бестию», то есть американскую власть. То были знаки ницшеанского нездоровья, а 11 сентября стало его неизбежным следствием.

Чтобы предотвратить новое 11 сентября, эту культуру прав и правил необходимо было отвергнуть и повернуть на 180 градусов. Как становится ясно из отчетов Сеймура Херша и Джейн Майер, война против террора — с ее обращением к пыткам, нарушением Женевских конвенций, отказом от ограничений международного права, нелегальной слежкой и рассматриванием терроризма сквозь призму войны, а не преступления и наказания — отражает эти консервативные настроения в той же, если не в большей, мере, что и действительные события 11 сентября и необходимость предотвращения нового нападения⁶¹. «Она мягки — слишком мягки», — говорит Джерри Бойкин, ныне генерал-лейтенант в отставке, о Соединенных Штатах до и после 11 сентября. Сделать их тверже — значит не просто предпринять опас-

61. Seymour Hersh, *Chain of Command: The Road from 9/11 to Abu Ghraib* (New York: Harper Collins, 2004); Jane Mayer, *The Dark Side: The Inside Story of How the War on Terror Turned into a War on American Ideals* (New York: Doubleday, 2008).

ные и тяжелые военные действия, но преступить правила — и культуру правил, — которые и сделали их мягкими. Соединенные Штаты должны научиться «жить на грани», говорит бывший директор Агентства национальной безопасности США Майкл Хэйден. «Нет ничего, что мы не могли бы сделать, ничего, что не могли бы попробовать», — услужливо добавляет бывший директор ЦРУ Джордж Тенет⁶².

Величайшая ирония войны против террора заключается в том, что, вовсе не освобождая белокурую бестию, война сделала закон и юристов гораздо более важными, чем можно было представить. Как сообщает Майер, за применение пыток, необузданную исполнительную власть, отказ от соблюдения Женевских конвенций и т. д. выступали не ЦРУ или военные; ключевую роль здесь сыграли такие юристы Белого дома и министерства юстиции, как Дэвид Аддингтон и Джон Йу. Вовсе не будучи макиавеллистскими виртуозами трансгрессивного насилия, Аддингтон и Йу были фанатиками закона и настаивали на обосновании своего насилия при помощи права. Кроме того, юристы внимательно следили за практикой пыток. Как писал Тенет в своих мемуарах, «несмотря на то что вам мог внушить Голливуд, в подобных ситуациях [поимка, допрос и пытки Абу Зубейда, отвечавшего в аль-Каиде за вопросы логистики] вы не зовете крутых парней, вы вызываете юристов». Каждая пощечина, каждый удар в живот, каждое сотрясение тела — и гораздо, гораздо более страшные вещи — сначала должны быть одобрены «шишками» различных разведывательных управлений, после обязательных консультаций с адвокатами. Майер сравнивает практику пыток с игрой «Мама, а это можно?» Как утверждает один следователь, «прежде чем вы сможете притронуться к ней [жертве пыток], вы должны послать телеграмму: „Он отказывается от сотрудничества. Запрос разрешения сделать X“. И разрешение будет дано со словами: „Разрешается шлепнуть его один раз по животу ладонью“»⁶³.

Вместо того чтобы освободить «белокурую бестию», позволив ей бродить и охотиться, где ей вздумается, снятие запрета на применение пыток и несоблюдение Женевских

62. Mayer, *Dark Side*, 69, 132, 241.

63. *Ibid.*, 55, 120, 150, 167, 231, 301.

конвенций сделали ее или по крайней мере юристов, держащих ее за поводок, более беспокойной. Как далеко она может зайти? На что способна? Каждый акт насилия, как показывает следующий обмен мнений между двумя пентагоновскими юристами, превращается в семинар на юридическом факультете:

Что означают «световая депривация и слуховое раздражение»? Можно ли поместить заключенного в совершенно темную камеру? Если да, можно ли его держать там в течение месяца? А дольше? А до тех пор, пока он не ослепнет? Что именно сделали власти по части эксплуатации фобий? Можно ли содержать арестанта в гробу? Как насчет использования собак? Крыс? Как далеко может зайти следователь? Пока человек не сойдет с ума?⁶⁴

Потом возникает вопрос относительно сочетания одобренных техник пытки. Может ли следователь не кормить заключенного и одновременно понижать температуру в его камере? Когда усиление болевых ощущений пересечет никем не установленную границу?⁶⁵ Как учил Оруэлл, возможности для жестокости и насилия столь же бесчисленны, сколь бездонно воображение, их порождающее. Но армии и современные силовые управления суть необъятная бюрократия, а бюрократия нуждается в правилах. Отмена правил не освобождает Прометея; она лишь увеличивает оплачиваемые юристам часы.

«Никаких уступок. Никакой двусмысленности. Никакого крючкотворства». Таким было обещание Джорджа Буша-младшего после 11 сентября и его описание того, как будет вестись война против террора. Как и многие другие заявления Буша, оно оказалось пустым обещанием. А крючкотворство победило. Но — и это решающий момент — вовсе не уменьшающее насилие со стороны государства адвокатское крючкотворство оказалось вполне совместимо с насилием. В ходе войны, уже пропитанной разочарованием и крушением иллюзий, неизбежно приходящее осознание того, что правовое государство на деле способно санкцио-

64. Mayer, *Dark Side*, 223.

65. Ibid.

нирывать бессмысленное насилие и смерти, тем самым лишая их всего возвышенного, должно было стать для консерватора величайшим разочарованием.

Если бы они были внимательными читателями Бёрка, неоконсерваторы — подобно Фукуяме, Рузвельту, Сорелю, Шмитту, Токвилю, Местру, Трейчке и многим другим американским и европейским правым — предвидели бы это крушение иллюзий. Бёрк определенно его предвидел. Даже когда он писал о возвышенных эффектах опасности и боли, он тем не менее настаивал на том, что в случае, если эти опасность и боль «слишком близки» — то есть если они становятся реальностью, а не остаются фантазией, если они «вызваны угрозой немедленной гибели человека», — от их возвышенности не останется и следа. Они бы перестали «вызывать восторг» и тонизировать и стали бы просто ужасными⁶⁶. Идея Бёрка заключалась не просто в том, что в конце концов, никто на самом деле не хочет умирать или что никто не любит мучительную боль. Она заключалась в том, что всякое возвышенное зависит от расплывчатости и неясности: если подойти к нему слишком близко — не важно, объект это или опыт, — увидеть и почувствовать его в полной мере, он потеряет свою загадку и ауру. Все становится привычным. «Слишком большая ясность», исходящая от непосредственного опыта, «в известной степени является врагом всякого, какого бы то ни было, энтузиазма»⁶⁷. «Наше восхищение вызывается незнанием вещей, и главным образом это же незнание возбуждает наши аффекты. Знание самых невероятных причин и знакомство с ними приводят к тому, что они почти совершенно не воздействуют на нас»⁶⁸. Как заключает Бёрк, «выражение „ясная идея“ означает идею чего-то небольшого, только иначе выраженную»⁶⁹. Если познакомиться со всем, включая насилие, слишком хорошо,

66. Burke, *Sublime and the Beautiful*, 86, 92, 165. Бёрк, *Философское исследование*, с. 72, 83, 159.

67. *Ibid.*, 104; там же, с. 91.

68. *Ibid.*, 105; там же, с. 92.

69. *Ibid.*, 106; там же, с. 93–94.

оно утратит все свои атрибуты — обновление, трансгрессию, возбуждение, благоговение, которые вы приписали этому, когда оно было лишь идеей.

Ранее большинства Бёрк понял, что для того, чтобы оставаться возвышенным, насилие должно быть возможностью, объектом фантазии — фильмом ужасов, видеоигрой, военным очерком. Ведь реальность насилия (в отличие от его репрезентации) была не в ладах с требованиями возвышенного. Реальное насилие, в отличие от воображаемого, приводит к тому, что объекты и тела оказываются слишком близко. Насилие освобождает тело от завес; насилие знакомит противников друг с другом лучше, чем когда-либо прежде. Насилие развеивает иллюзию и тайну, делая вещи тусклыми и однообразными. Вот почему, описывая в своих «Размышлениях о революции во Франции» о пленении Марии-Антуанетты революционерами, Бёрк старается подчеркнуть ее «почти нагое» тело и так легко переходит к метафорам одеяний — «покровы, украшающие жизнь», «гардероб нравственности», «старомодность» и так далее, — чтобы обрисовать событие⁷⁰. Бедой насилия со стороны революционеров, по Бёрку, была не жестокость, а неожиданное просвещение.

После 11 сентября многие — и по праву — жаловались на то, что сами консерваторы — или их сыновья и дочери — лично не участвовали в войне против террора. Для левых такое неучастие служит симптомом классовой несправедливости в современной Америке. Но в этой истории есть и дополнительный элемент. Пока война с террором остается идеей — горячей темой в блогах, провокативной публицистикой, эпизодом сериала «24», — она предстает возвышенной. Но как только война с террором становится реальностью, она оказывается такой же печальной и безрадостной, как и обсуждение налогового кодекса или поездка в управление регистрации транспортных средств.

70. Burke, *Reflections*, 232, 239; Бёрк, *Размышления*, с. 172.

Заключение

КОНСЕРВАТИЗМ господствовал в американской политике на протяжении последних четырех десятилетий. Точно так же, как республиканские администрации Дуайта Эйзенхауэра и Ричарда Никсона подтверждали устойчивость Нового курса, демократические администрации Билла Клинтона и Барака Обамы подтвердили устойчивость рейганизма. Обе наши партии продолжают поддерживать нерегулируемый капитализм и имперское могущество. Полностью согласуясь с изложенной в этой книге идеей о частной жизни власти, наиболее зримым стремлением «Великой старой партии»¹ после промежуточных выборов 2010 года стало ограничение прав работников и прав женщин. Хотя успех правых в этих кампаниях вовсе не гарантирован, тот факт, что республиканцы нацелились на последний редут профсоюзного движения и на Американскую федерацию планирования семьи, указывает на то, как много они уже достигли. И возможно, конец и цель долгого похода правых против XX столетия уже не за горами.

Успех правых, однако, не является безусловным. Как уже давно заметили консерваторы, между левыми и правыми существует диалектическая синергия, в которой прогресс первых подстегивает инновации вторых. «По иронии, впрочем, далеко не единичной в истории, — писал Фрэнк Мейер, интеллектуальный архитектор коалиционной стратегии, объединившей либертарианское и традиционалистское крыло современного консерватизма, — подобный взрыв креативной энергии на интеллектуальном уровне» у правых «случился

1. «Великая старая партия» — неофициальное название Республиканской партии США. — *Прим. перев.*

одновременно с устойчивым распространением влияния либерализма в практической политической сфере». По другую сторону Атлантики, Роджер Скратон, более традиционный представитель британских тори, написал, что «во времена кризиса... консерватизм способен на многое», а Фридрих Хайек заметил, что защита свободного рынка «начинала буксовать, когда он пользовался наибольшим влиянием», и «продвигалась вперед», когда «он подвергался атакам»². Действительно, так об идеях писали интеллектуалы; консервативные политики могли оценивать перспективу обменять еще четыре года на несколько хороших книг совершенно иначе. Даже в этом случае, если судьба партии действительно связана с силой ее идей — не истиной ее идей, а с резонансом и релевантностью идей, их культурной применимостью и способностью перемещаться по политическому ландшафту, — правых должен беспокоить такой успех их идей. Как давным-давно предупреждал Бёрк, победа может быть просто полустанком перед смертью.

В ряде свежих книг, написанных консерваторами о самих себе, говорится, что многие правые действительно обеспокоены состоянием консервативных идей³. Однако большинство подобных попыток самокритики, по-видимому, мотивировано простым страхом поражения на выборах. Ориентированные главным образом на избирательный цикл или на поддержку и осуждение определенной политики, они не замечают того, что консерватизм, как и любая партия, может проиграть выборы, но при этом продолжать

-
2. Frank Meyer, «Freedom, Tradition, Conservatism», в *In Defense of Freedom and Related Essays* (Indianapolis: Liberty Fund, 1996), 15; Roger Scruton, *The Meaning of Conservatism* (London: Macmillan, 1980, 1984), 11; Friedrich A. Hayek, *The Constitution of Liberty* (Chicago: University of Chicago Press, 1960), 7.
 3. David Frum, *Comeback: Conservatism That Can Win Again* (New York: Doubleday, 2008); Ross Douthat and Reihan Salam, *Grand New Party: How Republicans Can Win the Working Class and Save the American Dream* (New York: Doubleday, 2008); Mickey Edwards, *Reclaiming Conservatism: How a Great American Political Movement Got Lost — and How It Can Find Its Way Back* (New York: Oxford University Press, 2008); John J. Dilulio Jr., *Godly Republic: A Centrist Blueprint for America's Faith-Based Future* (Berkeley: University of California Press, 2007); Michael J. Gerson, *Heroic Conservatism: Why Republicans Need to Embrace America's Ideals (and Why They Deserve to Fail if They Don't)* (New York: Harper Collins, 2007); Andrew Sullivan, *The Conservative Soul: Fundamentalism, Freedom, and the Future of the Right* (New York: Harper Perennial, 2006).

контролировать общественное мнение. Еще более важно то, что эти авторы не понимают, что провал является неиссякаемым источником обновления консерваторов. Они воображают, что консерватизм может быть просто заново открыт или переделан под нужды меняющегося электората или изблюбленные темы для обсуждения его теоретиков. Однако так консерватизм не работает. Ему необходимо поражение; неудача, провал — его самый сильный источник вдохновения. Неудача не в романтическом смысле, сформулированном в своей оде поражению Эндрю Салливаном, но в угрожающем и мобилизующем смысле⁴. Утрата — действительная социальная утрата, власти и положения, привилегии и престижа — есть залог успеха консервативного обновления. Сегодня же правые страдают не от потери, а от успеха, и пока значительная господствующая группа в обществе вынуждена терпеть утрату — того же рода, что испытывали рабочие на протяжении 1930-х, сторонники господства белых в течение 1960-х или мужья в 1970-х, — консерватизм будет оставаться философски слабым и дряблым. Политически сильным, но интеллектуально отжившим.

Это заставляет задуматься о долгосрочных перспективах «движения чаепития», последнего варианта правого популизма. Вдохнуло ли «движение чаепития» новую жизнь в консерватизм? Или же, как и «новая политика» конца 1960-х и начала 1970-х, «движение чаепития» явилось последней искрой отработанной силы, а ее неистовая энергия представляет собой только упадок более широкого движения, частью которого оно является? Невозможно сказать наверняка, но это довольно очевидно: пока есть социальные движения, требующие большей свободы и равенства, будут существовать и противодействующие им правые. За исключением движения за права геев, сегодня не существует никаких опасных левых общественных движений. Как только они возникнут, появятся и новые правые — не те правые, которым нужно изобретать пугало, вроде «социализма» Обамы, а те, которым придется сразиться с настоящими чудовищами. А пока мы можем объяснить нынешнее состояние правых не их неразвитым воображением или чрезмерным

4. Sullivan, *Conservative Soul*, 9.

унынием — как это делают некоторые⁵, — а их ошеломляющим успехом.

Современный консерватизм вышел на сцену XX века, чтобы нанести поражение великим общественным движениям левых. И пока все говорит о том, что он своей цели достиг. А добившись своего, он может уходить. Уйдет ли он и какой ценой — покажет время.

5. George Packer, «The Fall of Conservatism», *The New Yorker* (May 26, 2008).

Научное издание

КОРИ РОБИН
РЕАКЦИОННЫЙ ДУХ
Консерватизм от Эдмунда Бёрка
до Сары Пэйлин

Главный редактор издательства **Валерий Анашвили**
Научный редактор издательства **Артем Смирнов**
Выпускающий редактор **Елена Попова**
Корректор **Наталья Селина**
Художник серии **Валерий Коршунов**
Верстка **Сергея Зиновьева**

Издательство Института Гайдара
125993, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1

Подписано в печать 29.10.12. Тираж 1000 экз.
Формат 60×90/16. Гарнитура Баскервиль. Заказ № 1597
Отпечатано в ППП Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6



КОРИ РОБИН преподает политические науки в Бруклинском колледже и аспирантуре Городского университета Нью-Йорка. Его книга «Страх: история политической идеи» (М.: Территория будущего, 2007) в 2005 году получила премию Американской ассоциации политических наук в номинации «Лучшая первая книга по политической теории». Вторая книга Робина «Реакционный дух», вышедшая в 2011 году и посвященная истории консервативных идей, вызвала бурное обсуждение среди ученых, журналистов и политических блогеров. Робин живет в Бруклине с дочерью, женой и множеством кошек и ведет свой блог: <http://coreyrobin.com/>

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНСТИТУТА
ГАЙДАРА

